

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



31100034299522

Э

«Жизнь —
она там,
где нас ждут».

АБГАРЯН



**Люди,
которые
всегда со мной**

Роман о старших,
о близких,
которые всю жизнь
поддерживают нас



Эксклюзивная новая классика

УДК 821. 161. 1
ББК 84 (2Рос = Рус) 6
А13

Серия «Эксклюзивная новая классика»
Иллюстрации: *Сона Абгарян*
Художественное оформление: *Е. Ферез*

Абгарян, Наринэ

А13 Люди, которые всегда со мной / Наринэ Абгарян.—
Москва: Издательство АСТ, 2017.— 346, [1] с.—
(Эксклюзивная новая классика).

ISBN 978-5-17-101626-5

«Люди, которые всегда со мной» — это семейная сага, история нескольких поколений одной семьи. История людей, переживших немало тяжелых испытаний, но сохранивших в сердце доброту, человечность и любовь друг к другу. Роман о старших, о близких, которые всю жизнь поддерживают нас — даже уже уйдя, даже незримо — и делают нас теми, кто мы есть.

© Наринэ Абгарян, 2014
© Сона Абгарян, иллюстрации, 2014
© ООО «Издательство АСТ», 2017

ПРЕДИСЛОВИЕ



Армянское нагорье видело на своем веку много прекрасного: языческие капища — с жертвенными хороводами, обращенными к солнцу крашенными хной ладонями жрецов и жриц; острокупольные апостольские храмы — в бедном убранстве, аскетичные, в годы чужеродного владычества молчаливые, но несогбенные; домотканые ковры — шелковые или тяжелой шерстяной пряжи, огромные, с карминными разводами вортан кармира¹; рвущие душу песнопения — песнь пахаря, песнь зари, песнь урожая, песнь провожающих на войну, песнь встречающих с войны. Песнь убаюкивающая и песнь про-

¹ Кошениль, маленькие червецы, обитающие в корнях растений, из которых получали насыщенную алую краску. Карминный алый так и называли – вортан кармир.

буждающая. Песнь исцеляющая и песнь оплакивающая...

Армянское нагорье насквозь пропитано кровью и слезами. Много горя оно повидало на своем веку: бесконечные войны — выматывающие, несправедливые, жестокие; междоусобицы — братоубийственные, разрывающие страну на части. Каждый завоеватель, будь то Сасанидская Персия, монголо-татары или Оттоманская Турция, неизменно придерживался одной и той же тактики — покори́в страну, переселял местное население на новые территории — лишенный исторических корней народ быстрее ассимилируется и теряет свою национальную самобытность. Опустевшие земли заселялись тюркскими кочевыми племенами.

Особенно тяжело пришлось во времена правления персидского шаха Аббаса I. По свидетельству историков, Аббас I угнал в глубь Персии практически все население Армении, а крупные армянские города просто стер с лица земли. Он был предусмотрительным правителем и понимал, что люди всегда будут возвращаться, если есть куда вернуться.

Единственными, кто не подчинился указу шаха, были армяне Карабаха. Карабахские мелики — князья — собрав свой народ, ушли в неприступные горы и организовали такое мощное сопротивление, что персидский шах махнул рукой — шайтан с ними, пусть живут в своих скалистых ущельях, все равно помрут с голода.

С голода карабахцы не погибли. Через какое-то время они покинули ущелья, спустились в низины и

организовали Карабахское ханство — пять княжеств, объединенных в Хамсу¹. Карабахская Хамса оказалась не по зубам кочевникам — они раз за разом штурмовали неприступные земли и с большими потерями, несолоно хлебавши, отступали. Постепенно в мятежный край стали стекаться армяне, которые, спасаясь от нашествия, прятались в высокогорьях — Тавушском и Лорийском. Теснимые набегами тюркских племен, они стягивались к единственному непокоренному бастиону — восточному осколку когда-то огромной и могучей Великой Армении — Нагорному Карабаху. Их принимали с распростертыми объятиями, обеспечивали жильем, едой и оружием.

В один промозглый февральский день с севера, с ущелья горы Мургуз, прибыл груженный нехитрым скарбом обоз — восемнадцать больших телег. Просить пристанища приехали четыре тавушских рода — Мелкумяны, Меликяны, Атояны и Меликбекяны. Из ста пятидесяти человек до места добрались восемьдесят семь, остальные погибли от холода, голода и болезней — переход через ледяной перевал оказался долгим и мучительным. На протяжении двух веков Карабах был их пристанищем — до той поры, пока войска Российской империи не вторглись в Закавказье и не отвоевали у Персии его значительную часть. Приход русских ознаменовал конец многовекового унижительного рабства.

В начале XIX века его императорское величество Александр Первый, а затем и его брат Николай

¹ От армянского «хамс» — пять.

Первый, в попытке сделать предсказуемым и управляемым подбрюшье Российской империи, затеяли грандиозный проект — этническое размежевание и переселение закавказских народов с мест их так называемого вынужденного проживания в места исторические: С первой волной переселенцев домой вернулись потомки тех четырех тавушских родов. Они привезли с собой карабахский диалект, кухню и традиции. Под развалинами старой крепости они воздвигли свои новые сакли — старые были разрушены кочевниками. И потянулись из каменных печей к небесам прозрачные дымные пряди, и завели петухи свою победную песнь зари, и застучали тяжеленные молоты кузнецов — мужчины рода Меликян испокон века были хорошими оружейниками, лучшими в Тавуше. И заплелась в причудливый узор шерстяная пряжа — женщины рода Мелкумян создавали знатные ковры «технахундж», ярко-желтые по всему полю и темно-узорчатые по центру, с бесконечным вплетением знаков и символов по украшенным шелковой бахромой краям.

И вновь появился на ладони мира стертый когда-то до основания городок Берд, названный в честь старой полуразрушенной крепости, что возвышалась на вершине рыжей горы. Ибо «крепость» в переводе на армянский — «берд».

ДЕВОЧКА



Петухи кричали так неистово, словно, заново сотворивши мир, спешили поделиться со всеми радостной вестью. Утро стояло ясное и чистое, проведи рукой по макушкам кипарисов — и наберешь полную горсть прохладной росы. Яркие в густой южной ночи звезды к рассвету обиженно взмывали ввысь, в стремительно бледнеющие небеса, и, тускло мерцая, исчезали в бескрайней высоте.

Нехотя отступала утренняя дымка: цепляясь за колючие ветви маличника, клубясь марлевым равным покрывалом над кривеньким деревянным чаштоколом, она низко стелилась над самой землей и, обреченно отступая к ущелью, растворялась навсегда, оставляя на пологих камнях влажные недолгие следы.

Густо замычала корова — это соседка Вардик вывела свою Маришку из темного хлева. Маришка привычно потянется к забору, толкнет лбом калитку, выйдет на улицу и побредет вдоль по неровной узкой дороге в сторону речки. Там, внизу, на старом низеньком мосту уже собралось небольшое стадо. Древний пастух, сидя поодаль на большом, торчащем среди буйно зацветшего просвирняка камне, пыхтит самокруткой. Над седыми, пожелтевшими от табачного дыма усами нависает горбатый нос, из-под кустистых бровей глядят выцветшие от возраста глаза, сухонькая голова покрыта теплой шерстяной шапкой. Перекатываются с тихим шорохом в огрубевших пальцах камни четок — шур-шур, шур-шур. Тридцать три полустертых продолговатых камня да строгий крестик, свисающий с самого края.

Маришка неспешным шагом дойдет до обрыва, свернет с каменистой дороги к кромке и станет осторожно спускаться по козьей тропе. Старик пастух, жуя самокрутку, невозмутимо будет наблюдать ее медленный ход. В какой-то миг на остром каменном повороте Маришка споткнется, остановится и беспомощно замычит. Стадо заволнуется, пойдет беспокойной рябью и тревожно замычит в ответ.

Тогда лежащая у ног пастуха огромная кавказская овчарка Найда с человеческим вздохом поднимется на лапы и потрусит вверх по тропинке. Она коротко гавкнет, в два длинных прыжка достигнет Маришки, аккуратно подцепит зубами веревку, свисающую с ее шеи, и требовательно дернет вниз. Маришка еще раз замычит и послушно пойдет за

Найдой, ступая по самой кромке тропы и тяжело ходя крутыми боками.

— Безрогая ты скотина, вот ты кто такая, Маришка.— Старик поднимется, отряхнет колени, с трудом выпрямит спину.— Спотыкаешься на одном и том же выступе, иех! Цо! Цо! — призывно поцокает он стаду и медленно пойдет на восход — мимо развалин старой крепости, мимо виноградника, мимо пшеничного большого поля, туда, где под лучами просыпающегося солнца шелково простираются бескрайние поля. Стадо будет преданно идти рядом, иногда заходить вперед и нехотя расступаться, пропуская редкие утренние машины.

— Здравствуйте, уста Амбо! — станут здороваться водители, почтительно притормаживая рядом.— Как здоровье?

— Здравствуй и доброй тебе удачи,— важно будет отвечать им старик,— на работу небось?

— На работу, а как же!

— Вот и мы на работу.— И пастух, тяжело опираясь на корявую палку, побредет дальше. Навстречу ему уже вовсю розовеет небо, переливаясь по самому краю золотой гладью, еще чуть — и появится огненный бок солнца. Медленно, словно нехотя, оно выкатится из-за горизонта, на секунду замрет на круглом плече холма, а потом рывком поднимется высоко, исходя благотворным теплом.

— Охаааа-ай,— старик остановится, заслонит ладонью глаза,— охааай! Пусть слава Твоя будет вечной, Господь-джан! — И повторит еще раз, уже шепотом, словно заклинание: — Пусть слава Твоя будет вечной!

И Господь ответит ему, обернувшись птичьим щebetом, ласковым ветром, звонкой волной бегущей среди камней речки:

— Пусть слава твоя будет вечной, Амбо-джан.

УТРО

Мама спускается по ступенькам, прихватывает кончиками пальцев тяжелые металлические перила, шлепки весело стучат по ее пяткам. Мама в моей косынке, она сложила ее несколько раз вдоль в длинную широкую ленту и обвязала смешным узлом надо лбом. Я иду следом и бурчу. Не то что мне не нравится, что она ходит в детской косынке с синими колокольчиками по голубому полю, я просто глухо раздражаюсь, даже не знаю почему. Хочется держать маму за подол платья и не отпускать. Поэтому я хмурюсь, но ничего не говорю, только иду следом и вздыхаю про себя.

— Прекрати душераздирающе вздыхать,— говорит мама,— лучше заведи у меня бидончик.

Бидончик эмалированный, белый, с букетом желтых цветов на оттопыренном толстеньком боку. Я поднимаю крышку и заглядываю внутрь. Пусто. Еще бы не пусто, последнее молоко сегодня пустили на кашу. Я честно пыталась ее съесть. Но она невозможно гадкая на вкус! Хотя по виду совсем не скажешь: белая густая гладкая масса, а по центру — растаявший островок сливочного масла. Очень здо-

рово представлять, что ложка — это лезвие конька, и чертить ею на белом катке замысловатые бороздки. Тогда по этим бороздкам тоненьким ручейком бежит желтое растаявшее масло. Красота красотой, а есть невозможно.

Иногда так бывает. Снаружи одно, а внутри — совсем обратное. И не поймешь, зачем оно так устроено.

Мама расстраивается, когда я не ем. Говорит, что я ее в гроб вгоню своим упрямством. А еще говорит, что я так с голоду помру, и в школу меня не возьмут. Очень надо. Небось в школе тоже кормят манной кашей! Ну какой бесчеловечный человек ее придумал, эту манную кашу? Почему бы ему что-нибудь хорошее на завтрак было не придумать? Мороженое или конфеты? Опять же печенье?

— Не греми так бидоном,— говорит мама,— и смотри под ноги.

Мы идем покупать молоко к соседке Вардик, у которой корова Маришка. Маришка уже давно пасется в поле, тетя Вардик с утра подоила ее и выпустила за ворота — к стаду. А молоком она приторговывает, чтобы прокормить семью. Потому что муж тети Вардик, дядя Леван, совсем не работает. У него больные ноги. Он ходит с большим трудом, и я боюсь к нему подходить. Ведь при ходьбе он качается так, словно его заносит сильным ветром то в одну, то в другую сторону. Того и гляди упадет. Вот я и боюсь к нему подходить, вдруг он как-то не так качнется и свалится на меня? Дядя Леван весь из себя бородатый, и лицо у него такое, как бы сказать... Морщинистое лицо, некрасивое. Но глаза добрые-добрые. Он мне

из хлебного мякиша слепил фигурку с шестью выступающими краями, она немного нескладная, но очень забавная и смахивает на юлу. А самое забавное в этой фигурке то, что, как бы ты ни старался и с какой бы силой ни запускал ее в пол или в стену — выступающие края не ломаются и даже не мнутся. Не понимаю, откуда взрослые такое придумывают.

Они вообще умные, эти взрослые, вот если бы еще манную кашу не придумывали! Ей-богу, словно никогда детьми не были. Вырастают и забывают все свои детские невкусности.

Дядю Левана я люблю и всегда здороваюсь с ним через забор. А тетя Вардик мне совсем не нравится. У нее громкий колючий голос и голубые прозрачные глаза. Они смотрят будто сквозь тебя, и взгляд из них холодный-холодный. А по центру торчит маленький черный круг зрачка. Такое впечатление, словно кто-то злой сидит в ее голове и через зрачки следит за тобой. Неприятное ощущение, очень. Мне почему-то кажется, что мама тоже не любит тетю Вардик и ходит к ней с большой неохотой. Если только дома вдруг нет молока, а в магазине оно уже закончилось. Такое часто бывает, продуктовый у нас маленький, и там всегда длинные очереди. Не успел вовремя — и уже не купишь ни молока, ни какого-нибудь другого продукта. Сыра, например.

Мы идем сначала по нашему двору, потом по саду нани¹ Тамар: мимо низенькой яблони, потом мимо обмотанных газетой подсолнухов. Они смотрятся очень

¹ Прабабушка.

смешно, эти подсолнухи — высокий зеленый стебель с торчащими большими листьями и мятый газетный узел вместо семечкового круга. Подсолнухи обматывают, чтобы птицы не склевали семечки. Нани Тamar берет у нашего деда прочитанные газеты, которые называются «Правда», и завертывает ими большие головки подсолнухов, а края газет стягивает суровой ниткой. И стоят подсолнухи, словно болеют ангиной, с обмотанными горлом и головой. Только птички иногда попадают такие смысленные, они выклевают в газете дыру, и если вовремя не спохватиться, то пиши пропало, нет твоих семечек, как не бывало. И я по этому поводу знаете чего думаю? Что каждый в этом мире хочет есть, и ничего с этим не поделаешь.

В общем, идем мы мимо подсолнухов, мимо кустов роз, мимо вишни, мимо черной туты, последние ягоды, большие, тяжелые, так и просятся в рот, только кто их станет есть, все уже устали от туты. Так что мы идем дальше, я гремлю бидончиком, а мама что-то напевает себе под нос, у мамы красивый голос; когда она поет, все замолкают и с удовольствием слушают. Жаль, она очень редко поет.

Потом мы поворачиваем к старой каменной печи — она большая и уютная, с кривенькой крышей и тяжелой металлической заслонкой. Эта заслонка словно кляпом закрывает выгнутый подковой рот печи. Когда бабушка Тата печет хлеб, она сначала жарко растапливает печку, потом, как только дрова выгорают, выгребают в сторону угли и раскладывает внутри большие круглые хлеба. От печи несет таким жаром, что Тата отворачивается и дышит мелко-

мелко. И тут главное не путаться под ногами, чтобы она успевала сначала длинной деревянной лопатой раскладывать взошедшие круги теста, а потом вытаскивать хрустящие ароматные караваи.

Сразу за печкой узкая тропинка, резко повернув направо, упирается в деревянный перекошенный забор. Нужно встать возле этого забора и позвать тетю Вардик. Тогда она выйдет из дома, заберет у нас бидон и вернет через несколько минут, доверху наполненный молоком. Дом у тети Вардик каменный, двухэтажный, с большой застекленной верандой и деревянным балконом. Во дворе пусто, и это хорошо. Значит, они наконец привязали своего Гектора. Гектор — большой дворовый пес, почему-то очень злой, он кидается на всех, а особенно — на детей. Позавчера погнался за мной, я испугалась и побежала, потом споткнулась и растянулась в пыли. Гектор подскочил и страшно лаял мне прямо в затылок. Если бы не Витька, который вынырнул откуда-то из-за угла и отвлек его на себя, то пес, наверное, укусил бы меня.

Теперь я боюсь Гектора и редко одна выхожу за калитку.

— Вардик-тёооо-тя?! — зовет мама.

— Иду! — Тетя Вардик выходит на порог, руки у нее большие и мокрые. Она привычным жестом цепляет край фартука, вытирает ладони, забирает бидон и семенит к дому.

— Мам? — Я дергаю маму за подол платья.

— Да.— Мама смотрит на меня сверху вниз, густая челка лезет в глаза, над челкой смешным узлом то-

порщится моя синяя косынка. Когда-то у мамы были длинные-предлинные волосы, а теперь они совсем короткие.

— А зачем ты все-таки повязала косынку?

Она поправляет челку и смеется.

— Тебе не нравится? Сейчас модно носить такие узлы на голове, вот и я не отстаю от новой моды. Что скажешь?

Когда мне говорят «что скажешь», я сразу надуваюсь как индюк. Мне нравится, что у меня спрашивают мнения. Слово я уже совсем взрослая и много чего умного знаю. Вот и сейчас, важно надувшись, я отвечаю маме:

— Ну если тебе нравится, то ходи с этим узлом на голове.— И, чуть подумав, добавляю: — Мне тоже нравится!

— Вот спасибо.— Мама наклоняется и прижимается щекой к моей щеке.— Ты моя девочка!

Я крепко обхватываю ее за шею и, хоть понимаю, что говорить об этом неправильно, но все равно шепчу:

— Мам, а почему ты ночью плакала?

Мама резко освобождается, выпрямляется и снова смеется. Только смех у нее теперь совсем не лучезарный, а такой, знаете ли, грустный смех, деланный.

— И ничего я не плакала, дочка, просто мне снился плохой сон, вот я и проснулась от страха.— И она делает беспечное лицо.

— А что тебе снилось?

— Представляешь, а я уже забыла!

— Совсем-совсем не помнишь? — Я хожу босоножкой по траве.— Неужели все забыла?

— Все забыла, совсем все! Наверное, это хорошо, да? Что скажешь?

И тут я снова надуваюсь от гордости, и у меня мигом вылетает из головы следующий вопрос, который я хотела задать: «А почему тогда папа тебя шепотом отчитывал и говорил: „Зачем винить себя в том, в чем нет твоей вины“?»

Но тут приходит тетя Вардик и протягивает нам бидончик.

— Спасибо,— говорит мама, расплачивается за молоко, берет меня за руку, и мы идем обратно через сад нани Тамар.

Тетя Вардик не отвечает, я аж затылком чувствую, как она смотрит нам вслед своим долгим колючим взглядом, по-курьи склонив набок круглую голову. Дома мама поднимает крышку бидона, и у нее делается беспомощное лицо:

— Опять разбавляла молоко водой, вон какое си-
нюшное.

— Не обижайся на нее, дочка.— Тата достает из шкафчика эмалированную кастрюлю, красную в белый горох, и ставит на плиту.— Ей же надо как-то детей кормить.

— Пусть тогда молоко дороже продает. Обманывать зачем?

— Не знаю.— Тата заливает в кастрюлю молоко и ставит на маленький огонь, попутно объясняя мне: чтобы молоко не пригорело, его всегда разогревают на маленьком огне, запомнишь? — Потом она обо-

рачивается к маме, мама стоит у окна, задумчиво смотрит во двор, узел платка смешно топорщится у нее на голове, и Тата какое-то время глядит на этот узел, потом вздыхает и говорит: — Ты во всем ищешь правду, дочка. Отпусти. Есть вещи, которые нужно воспринимать как данность. Проще смириться.

— Не могу,— говорит мама и продолжает смотреть во двор.

ДЕНЬ

Я спряталась от всех за домом и плачу. Ну то есть не совсем, конечно, плачу, можно даже сказать, что совсем не плачу, так просто жалобно скулю.

Сегодня пеструшки заклевали мою любимую курочку. Насмерть заклевали. И никто, никто из взрослых за нее не заступился! Стояли и смотрели, как ее добивают. А потом нани взяла ее за лапки, унесла куда-то, а с гребешка капала кровь, и голова беспомощно моталась туда-сюда. Даже не хочу знать, куда она ее унесла! Небось на ужин будет куриный суп. Ой-ой, ужас какой! От обиды я снова начинаю ходить кругами и жалобно скулить.

Наш дом стоит на отвесном склоне холма. Чтобы как-то удержать сползающую в ущелье плодородную землю, люди прорубили в скале такие большие ступеньки. На одной ступеньке уместились наш дом с большим двором и старым тутовым деревом, а слева от нашего дома притулился дом нани Тамар.

На «ступень» ниже раскинулся большой фруктовый сад, там растут яблони, и груши, и слива ренклюд, и айва, и ореховые деревья, и даже голубые ели растут. В дальнем углу сада Тата развела огород с грядками кинзы, базилика, петрушки и укропа и с обязательным котемом¹. Потому что если в сезон зелени к обеду не подадут котем, то дедушка в знак протеста уходит из-за стола. Уж не знаю, что он в нем такого нашел! Я пробовала несколько раз — пахучая, острая на вкус зелень, ничего особенного, но вот поди ж ты, дед ее очень любит, с сыром или без, и сильно расстраивается, если ее нет на столе.

За огородом, сразу за грядками с зеленью, находится курятник. Днем пеструшки, самодовольно квохча, ходят окрест, ковыряются в земле, а с наступлением темноты спят на деревянных жердочках. В углу курятника стоят две коробки, наполненные сеном. В эти коробки куры несутся. Моя обязанность ежедневно ходить в курятник с маленькой эмалированной миской — ни на что другое эта миска уже не годится, потому что эмаль по дну отбита, так вот, моя обязанность ходить в курятник и проверять, снесли ли курочки яйца. Иногда пеструшки отказываются нестись в ящички, зловредничают, прячут яйца по разным кустам, и тогда мне приходится ходить по периметру сада и выискивать их.

Петух у нас жутко драчливый и крикливый, но вообще невероятный красавец. Нежно-золотистый, с разноцветным большим хвостом и гребешком, гордо

¹ Водяной салат.

нависающим над левым глазом. Этот нависающий гребешок придает петуху залихватский пиратский вид. Он периодически взлетает на деревянный забор и кричит оттуда победным криком свое «кукареку», а куры бегают кругом всполошенными стайками. Иногда я подбираю во дворе зеленые и синие петушиные перья, хорошенько промываю, сушу и храню в ящичке письменного стола. Когда я болею или погода плохая и меня не выпускают во двор, я вытаскиваю какое-нибудь перо, усаживаюсь за стол, беру лист бумаги и вожу по нему, делая вид, что пишу. Ну как в фильмах, которые показывают по телевизору, где маркизы или какие другие графы важно сочиняют письма или диктуют указы про «отрубите ему голову».

Несколько дней назад нани Тамар купила на базаре курочку. Вернулась и зовет меня, выходи, мол, посмотри, какая красота. Я выскочила из дому, на ходу цепляя босоножки, и полетела вниз по крутым ступенькам веранды.

— Осторожно,— испугалась нани,— не споткнись!

— Не споткнусь,— успокаиваю я, а сама изо всех сил бегу к ней,— что у тебя в сумке?

— А вот что.— Нани Тамар открывает авоську и вытаскивает оттуда маленькую кипенно-белую курочку, такую всю из себя принцессу — аккуратный гребешок, бежевый клюв и тоненькие коротенькие лапки.

Наши пеструшки коричнево-оранжевые, с темными вкраплениями перьев по бокам и в хвосте, достаточно поджарые, и лапки у них ловкие — они

умеют быстро бегать и даже немного, в несколько коротких взмахов, летать. А эта курочка вся такая кругленькая, и ходит медленно, с достоинством, и хвост у нее пышнее, чем у наших пеструшек.

Я ее сразу полюбила.

— А можно это будет моя курочка?

— Можно, конечно,— кивнула нани и выпустила курочку в сад.— Как ты ее назовешь?

— Я придумаю,— обещала я.

Петух при виде новой курочки торжественно растопырился всеми перьями, взлетел на забор и победно закукарекал. Он у нас всегда был очень любвеобильным и чуть ли не ежеминутно покрывал какую-нибудь зазевавшуюся пеструшку. Пеструшки, истово квохча, выскакивали потом из-под него и убежали в другой конец сада — приглаживать выбившиеся перышки и приходиться в себя от такого беспардонного обращения.

С появлением беленькой курочки петух прекратил обращать внимание на пеструшек и кинулся любовничать только с ней. По первости пеструшки встретили беленькую курочку дружелюбно. А потом, поняв, что петух вдруг заделался однолюбом и никого вокруг больше не замечает, подняли жуткий переполох и стали гонять соперницу по двору. Тата отбивала ее, как могла, запирала пеструшек с петухом в курятник и оставляла курочку одну гулять по огороду. Петух раздраженно кукарекал и ревниво следил желтым влюбленным глазом за новой курочкой, а пеструшки заходились в гневном клекоте.

Сегодня Тата открыла курятник и выпустила кур. Они, недовольно бурча, разбрелись по двору, а истосковавшийся петух снова погнался за новенькой курочкой. Пеструшки недобро наблюдали эту картину, но ничего не предпринимали, чем и усыпили Татину бдительность. Однако в обед, когда все сидели за большим кухонным столом, во дворе поднялся невероятный шум, мы выскочили на веранду и застали ужасную картину: пеструшки, коварно обступив со всех сторон мою курочку, клевали ее в гребешок и рвали когтями бока.

Я кинулась во двор спасать ее, но Тата не дала мне это сделать, она схватила меня в охапку и прижала к себе:

— Тут ничего не поделаешь, все равно ее убьют.

И все молча наблюдали, как пеструшки добивают мою курочку. Потом они победно разошлись, оставив на поле боя свою окровавленную жертву. Я поискала глазами маму. Она стояла в дальнем углу веранды и, обняв себя крест-накрест руками, смотрела во двор.

— Вы заметили, как себя вел петух? — Тяжело ступая, по лестнице поднималась нани — на переднике, прямо под карманом, темнело меленькое влажное пятнышко. — Он ничего не сделал, чтобы защитить курочку, взлетел на забор и со стороны наблюдал, как ее добивают. — Нани встала, уперлась руками в бока, покачала головой. — А сейчас ходит по двору, словно ничего и не было.

— Все как у людей, — вздохнула Тата и взяла меня за руку, — все как у людей. Пойдем. Обед стынет.

ВЕЧЕР

Мы с Витькой ковыряемся у него во дворе. Разгоняем жучков, которых у нас называют «турки́ зати́к» — «турецкие божьи коровки». Жучки вылезли на залитую вечерним солнцем бетонную плиту. На этой плите Витькина бабушка сушит отяжелевшую от стирки, остро пахнущую овчиной шерсть или большие подносы фруктов и ягод. У Витькиной бабушки самые вкусные в округе сухофрукты. Кизил, например, даже после долгой сушки под палящим солнцем сохраняет мягкость и сочность.

Сейчас бетонная плита пуста, и по ней шустро бегают турки затики. Они небольшие, продолговатые, с темным рисунком на красной панцирной спинке и, в отличие от обычных божьих коровок, не летают. Мы брезгливо отгоняем их к краю плиты большим листом лопуха и сталкиваем вниз.

Витька живет через две дороги от нашего дома, на локте той улицы, которая огибает ущелье северной стороной. Эта улица, резко заворачивая, упирается острым углом в скалу, а потом долго скатывается вниз, в сторону развалин старой часовни.

К часовне часто ходят старушки. Они зажигают на обломках покрытых лишайником хачкаров¹ желтые тонкие свечки и долго потом стоят, заслонив ладонями от ветра слабый огонек. Ведь если вы о чем-то

¹ Крест-камень.

попросили Бога, а свеча погасла не догорев, то Он не услышит вашей молитвы.

Наши старушки все как на подбор маленькие, морщинистые, согбенные, но живые и в движениях очень быстрые. Головы их покрыты легкими летними косынками, узкая, в засборенный рукав кофта заправлена в длинную, тяжелого полотна юбку. Поверх юбки обязательно повязан фартук с тремя карманами по краю. Под тяжелую верхнюю юбку надеваются два-три подъюбника, на ногах — простые чулки или вязаные домашние носки, чаще всего разноцветные в полоску, и черные туфли, немилосердно изношенные по каменистым дорогам, на плоской неудобной подошве. В дождливые дни, когда узкие дороги становятся непролазными от жирной, липучей слякоти, поверх этих стоптанных туфель надеваются большие калоши.

Я люблю наблюдать за старушками, особенно когда они приходят в часовню. Они долго стоят над мигающими в наступающих сумерках свечами, впалый рот произносит какие-то тихие слова, ветер треплет темную одежду и выбившиеся из-под легкого платка седые, заколотые простеньким деревянным гребнем поредевшие косы. Мама говорит, что каждая такая старушка — намоленный храм.

Витькина бабушка считает, что по молодости и по глупости никто в Бога не верит, и лишь к старости люди понимают, что всю жизнь, даже не зная того, постоянно вели внутренние разговоры с Ним. Я иногда осекаюсь на полуслове и проверяю себя — с людьми я разговариваю или, может быть, еще и с Богом? По-

лучается, что только с людьми, потому что Бог меня не слышит. Думаю, тут моя вина. Если бы я умела правильно разговаривать с Ним, Он бы услышал меня и сделал так, чтобы мама не переживала и чтобы не плакала по ночам.

Витькина бабушка добрая и ласковая, я ее очень люблю. Она воспитывает Витьку одна, то есть они одни-одинешеньки на целом белом свете, и никого у них больше нет. Потому что Витькин папа погиб на войне с душманами.

В самой большой комнате, что на втором этаже их дома, висит его портрет, обвязанный по краю черной шелковой лентой. Витькина бабушка подходит к портрету, гладит его ладонью и говорит:

— Цавд танем¹.

Тихо говорит, шепотом. Если я рядом, то обязательно подхожу и беру ее за руку. Так мы и стоим, она тихонечко приговаривает: «Цавд танем»,— и гладит морщинистой ладонью портрет по зачесанным набок кудрявым волосам, по большим, как у Витьки, немного навывкате, светлым глазам, по высоким скулам, по подбородку. Потом привстанет на цыпочки и поцелует. А я держу ее за руку. Чтобы она не очень плакала.

Где Витькина мама — никто не знает. Нани Тamar называет ее кукушкой и каждый раз морщится, когда кто-то говорит о ней. Я не совсем понимаю, что плохого в кукушках. Иногда по телевизору показывают мультики, от которых потом долгое время горечь

¹ Возьму твою боль (арм.).

во рту, потому что они невеселые. Недавно показывали мультфильм, где одна мама болела и просила у своих детей воды, а они заигрались и воды ей так и не принесли. И тогда мама превратилась в кукушку и улетела далеко, а дети опомнились, бежали за ней и звали обратно, а она не вернулась.

Я после этого мультфильма какое-то время плакала, потом надела мамин жакет и ходила так по дому. А когда мама вернулась с работы, я ей первым делом водички принесла и говорю: «Мам, если ты вдруг заболеешь, то я всегда буду тебе водички приносить, ты не думай».

А мама обняла меня и говорит: «Какая ты у меня умная девочка».

Не то что я такая умная, просто не хочу, чтобы мама превращалась в кукушку и улетала от меня.

Так вот, когда нани назвала Витькину маму кукушкой, я какое-то время ходила задумчивая, потом пошла к Витьке. Он увлеченно терзал во дворе большой кусок брезента, который притащил со свалки. Я несколько минут молча наблюдала за ним, а потом говорю: Витька, говорю, а ты вообще своей маме воду приносил?

А он пожимает плечом и ничего не отвечает. Он вообще ничего не говорит, когда про маму спрашивают. Молчит, словно воды в рот набрал. Но и я редко о ней спрашиваю, можно даже сказать — почти не спрашиваю, понимаю, что он переживает.

Поэтому я постояла немного рядом, а потом пошла к Витькиной бабушке и говорю:

— Бабушка Лусинэ, а Витькина мама когда-нибудь болела?

Витькина бабушка не умеет сразу отвечать на вопросы: Она первым делом ведет тебя умыться, поливает из большого железного ковшика и следит, чтобы ты тщательно смыла все мыло. Пока вытираешь руки полотенцем, она на кухне накрывает нехитрый стол — хлеб, сыр, зелень. Достает из холодильника банку с молоком, наливает в стакан, усаживает тебя на высокий деревянный стул и говорит:

— Ешь.

И ты начинаешь есть. А что тебе еще остается делать? И вот, когда ты сидишь с набитым ртом, и у тебя на лице пышно цветут молочные усы, она переспрашивает:

— И чего ты хотела у меня узнать?

— Витькина мама болела? — повторяю я, вгрызаясь зубами в хрустящую горбушку хлеба.

— Болела, конечно. А зачем тебе это? — удивляется она.

— А Витька ей приносил воды, когда она болела?

— Нет. Он был очень маленький, когда его мама от нас уехала.— Бабушка Лусинэ тяжело встает, подходит к окну и нарочито сердито отчитывает внука: — Виктор, брось ты наконец этот кусок брезента, сколько можно возиться!

— Тати¹, я хочу конуру смастерить. Если смастерю, заведем себе Джульбарса?

Витька всю жизнь мечтает о гампре², и чтобы звали его обязательно Джульбарс. Только гампры очень много едят, и я даже не представляю, как они

¹ Бабушка.

² Гампр — армянский волкодав. Порода собак, ведущая происхождение с Армянского нагорья.

его прокормят, если заведут. Сами еле-еле концы с концами сводят.

Витькина бабушка ничего не говорит, она какое-то время наблюдает за внуком, потом захлопывает окно и оборачивается ко мне:

— Его мама уехала, когда ему восемь месяцев было. Он еще ходить не умел, только на четвереньках ползал. А зачем ты это спрашиваешь?

— Просто так.— Я отщипываю от сыра небольшой кусочек, задумчиво жую.— Я уже наелась, можно пойду с Витькой поиграю?

— Можно.

Вот так я и узнала, что мамы уходят не только потому, что дети им воды не приносят. Иногда у мам случаются какие-то другие причины, видимо, такие важные, что они бросают своих детей, как кукушки. Надо же, вот и я назвала Витькину маму кукушкой. Хоть в мыслях, но назвала. Главное, ему не проговариваться, а то он обидится, а обижать я его не хочу.

Наступил ранний вечер, и тень от дома хоть и тянется по всему двору, но кажется совсем прозрачной, не такой густой, какой она получается, когда кругом уже ночь и горят редкие уличные фонари. А пока светло и бетонная плита хранит в себе тепло солнечных лучей, по ней бегают турки затики. Мы их сбрасываем с плиты и нещадно давим туфлями. Потому что люди утверждают, что они ядовитые. Витька говорит, что совсем они не ядовитые, вон он тыкал пальцем им в панцирную спинку — и ничего, выжил.

— И зачем тогда их называют турки, если они не ядовитые? — водит плечом Витька.

— «Турки» означает «ядовитое»? — спрашиваю я. Витька старше и умнее, ему уже восемь лет, и он много чего знает.

— «Турки» означает «нельзя», — шмыгает носом Витька. — Мне так бабушка сказала.

— А сбиваем мы их зачем? — Я заносу над очередным жучком ногу.

— Потому что так надо.

И мы какое-то время давим жучков, их удивительно много, они повсюду и лезут из всех щелей. Мы их давим и давим, а я думаю, что турецким у нас называют все плохое. Если человека хотят оскорбить, говорят — он как турок, если кто-то совершает что-то нехорошее, говорят — бессовестный, как турок. Недавно папа меня ругал за то, что я упрямяюсь.

— Ты почему такая непослушная, я же с тобой человеческим языком разговариваю, а не турецким! — возмущался папа.

Вот ведь, и он туда же!

— Витька, а отчего мы так турок не любим? — Я заносу ногу над новым жучком, но в последний момент отдергиваю — передумываю его давить.

Витька откидывает в сторону лист лопуха и смотрит на меня своими прозрачными глазами.

— Тати говорит, что они нам очень плохое сделали. Хотели убить всех — но не успели. Забрали у нас дома, земли. Все забрали. Вот мы их и не любим.

НОЧЬ

В темноте я делаюсь совсем беззащитной. Поэтому, когда ложусь в постель, обкладываюсь со всех сторон игрушками. Тут и зайчик с растопыренными пуговичными глазами: один глаз синий, другой зеленый. Раньше он был просто зеленоглазым, но потом одна пуговица оторвалась и потерялась, и мама пришила другую пуговицу. Зеленой пуговицы не нашлось, вот она и взяла синюю. И зайчик стал разноглазым, но мне так даже больше нравится. Тут и кукла, большая, с бантом в пышных волосах, я пририсовала ей маминым красным лаком для ногтей щечки, и она вообще стала красавицей. Правда, мама меня потом отругала за то, что я игрушку испортила и лак извела, но для красоты мне ничего не жалко, ни своего не жалко, ни мамино. Тут и книжка со сказками — про Золушку, про Красную Шапочку, очень я люблю читать эту книжку, правда, не все буквы еще знаю, поэтому некоторые слова по памяти произношу.

В темноте мне страшно, поэтому я держусь одной рукой за лапку зайчика, другой держусь за куклу, а на груди у меня лежит книжка. Теперь меня никто не достанет, потому что я со всех сторон защищенная.

— Завтра нани отведет меня снимать страх, — нарочито громким шепотом рассказываю я игрушкам, таким громким шепотом, чтобы услышал тот, кто прячется за шкафом и посылает мне ужасные сны. — Она была у какой-то старухи-знахарки, и та велела меня

завтра приводить. Велела взять небольшой кусок мяса и булавку. Этой булавкой знахарка будет тыкать в мясо и читать молитву. Нани предупредила, что, как только она начнет тыкать булавкой в мясо, на меня нападет зевота, и чтобы я не пугалась, потому что так из меня будут страхи выходить.

А потом, когда знахарка вдоволь начитается своих молитв, мы сходим с нани на перекресток трех дорог и похороним там кусок заговоренного мяса. Мы долго с ней придумывали, где бы нам найти такой перекресток, а потом вспомнили, что напротив здания милиции как раз пересекаются три дороги. Там, правда, светофоры, и машин много, но нани так просто никогда не сдается. Она пожала плечом и говорит: «Ты постоишь на тротуаре, а я быстренько закопаю мясо. Это хорошо,— говорит,— что дороги у нас незаасфальтированные, а то как бы я асфальт ковыряла?»

Деду нани велела ничего не говорить. Да я и сама не стала бы рассказывать. А то дед у меня о-го-го какой строгий и сердится, когда нани говорит про Бога или про духов.

— Все это ерунда,— сердито шуршит дед своими газетами.— Нет никаких духов, и нечего ребенку голу не пойми чем забивать!

А нани упрямо поджимает губы и ничего ему не отвечает. Но делает все по-своему. У нас в семье все жутко упрямые. А потом удивляются, в кого это я такая уродилась.

И я разговариваю так, с зайчиком, с куклой, с книжкой разговариваю и смотрю в окно, на выкатив-

шийся из-за высоких холмов желтый круг луны, на звезды — огромные, мерцающие, далекие, слушаю ласковое пение сверчков, и глаза у меня сами собой закрываются.

Если немного, совсем чуть-чуть, подтянуться на руках, чтобы улечься животом на широкий подоконник, то можно увидеть, как она развешивает во дворе белье. Стоит в профиль, короткие волосы заправлены за уши, непокорная челка лезет в глаза. Боцман путается под ногами, бегаёт кругами и сердито обливает каждую каплю воды.

А она расправляет на веревке белье и, улыбаясь, что-то ласковое говорит ему.

Я знаю, она — самая красивая женщина на свете.

Мне не слышно, что она говорит, я елжу животом по подоконнику, чтобы придвинуться ближе. Очень хочется туда, во двор, но мне не дали шоколадки, и я играю в обиженную девочку. Я успела даже поплакать. Правда, мне это быстро надоело, и я стала играть в куклы. Но каждый раз, услышав чьи-то шаги, я принималась громко завывать и не умолкала, пока шаги не стихали. Мне немного стыдно за то, что я так глупо себя веду.

Иногда я упрямяюсь и ничего не могу с собой поделать.

— Дочка, пойдешь со мной во двор?

Обиженно молчу.

Ушла. Теперь вон вывешивает стирку, а я наблюдаю за ней из окна. Мне хочется сбежать по ступенькам вниз и нырнуть в пахнущее стиральным порош-

ком и крахмалом белье, я даже чувствую его влажное прикосновение к своему лицу. Кругом жара, а под тенью мокрого белья прохладно, оно висит себе, висит, а потом подует ветер, пододеяльники наполнятся его дыханием, расправят крылья и полетят куда-то в небеса. И я полечу, зацепившись за краешек, только меня и видели.

А то не дали мне конфет, видите ли.

Я слезаю с подоконника, выглядываю в дверь. Никого. Прокрадываюсь в ее комнату, нерешительно топчусь на пороге. Там, на комод, — большая деревянная шкатулка. Я знаю, что лежит в этой шкатулке, но сразу никогда не подхожу, боюсь. Сначала какое-то время переминаюсь на пороге, привыкаю. Потом подбегаю, рывком поднимаю крышку и достаю большую пушистую косу. Волос русый, вьющийся в крупный локон. Коса тяжелая и немного мертвая. Я держу ее какое-то время на вытянутых руках, потом расстилаю на кровати и ложусь рядом.

Зачем я это делаю — не знаю. Просто лежу тихо-нечко рядом и думаю.

Она ее отрезала под корень и ходит с короткой стрижкой. И я знаю почему. Но делаю вид, что не знаю. Потому что я как-то ее спросила, не осталось ли фотографии девочки, а она окаменела вся, и губы сразу сделались бледные-бледные. И я поняла, что не надо об этом говорить. И не говорю, ведь я большая, хоть и веду себя как маленькая, капризничаю, например, или не ем ничего, ну, может, клубники поем, опять же яблок. Варенье еще люблю. Если я не ем, она

говорит — тогда не получишь конфет. И я обижаюсь и ухожу в свою комнату. Упрямлюсь.

Что-то в этом мире не так, я знаю.

А еще у нее янтарные бусы, и в одной крупной бусине можно разглядеть прозрачное крылышко какого-то насекомого. Она говорит, что капнула смола, оторвала крылышко, и застыло оно в камне. И я смотрю на это крылышко и думаю, что насекомое, наверное, всю жизнь потом горевало. Еще бы — летал-летал, и вот на тебе, остался без крылышка и уже не летаешь.

У насекомых тоже случаются беды.

А потом я вдруг понимаю, что больнее не тогда, когда крылышко оторвали, а когда сам его оторвал. Вот как она себе косу отрезала. Горе было таким большим, что она растерялась, побежала по комнатам, увидела свое отражение в зеркале — по плечам рассыпались тяжелые русые волосы, а разве это правильно, когда такое горе страшное, а по плечам волосы, и она заплела их в косу и отрезала под корень.

И хранит теперь ее в шкатулке. Не знаю, зачем хранит.

И я лежу вот так, думаю, а потом вдруг слезаю с кровати и засовываю косу за пазуху.

И бесшумно спускаюсь во двор, и иду, сначала медленно, не оборачиваясь, потом быстрее, и наконец срываюсь в бег, и мчусь мимо деревянного забора, мимо высоких кипарисов, мимо кустов зацветшего просвирняка, мимо сиреневых цветов лалазар, прикоснулся — и все руки в пятнах,

вниз по пологому склону, через две дороги, через сад бабушки Лусинэ, она умеет печь настоящую карабахскую гату, которую замешивают на сливках и пекут в золе и называют кркени, но сейчас не об этом, сейчас главное не останавливаться, потому что, если остановиться, можно испугаться того, что задумал,

поэтому я мчусь дальше, через овраг, мимо кривой калитки, мимо развалин старой часовни, вдоль небольшой роци, и дальше, дальше, туда, где шумит разбуженная вчерашним ливнем речка, мимо дома старьевщика, мимо пшеничного поля, мимо виноградника, а вот и он, старый каменный мост, под ним гулко шумит речка, и мне страшно так, как если бы все умерли, и я осталась одна,

поэтому я зажмуриваюсь, вытаскиваю из-за пазухи косу и швыряю ее вниз, в белые воды, в самую безвозвратную глубину, и приговариваю — так тебе и надо, так тебе и надо, а потом наблюдаю, как она уплывает, обвиваясь длинной змеей вокруг камней, но теперь мне совсем не страшно, и я стою на том мосту, надо мной — прозрачное небо, подо мной — быстрая река, и я говорю себе тихо-тихо, но как бы обращаюсь ко всем, потому что одной мне очень больно с этим жить, вы знаете, шепотом говорю я, у меня была старшая сестра, а теперь ее нет.



1

— Зо-я те-тя! Зо-я те-тя!

Высокие железные ворота закрыты на массивную задвижку, ржавчина выступила из-под облупленной зеленой краски кое-где большими разводами, а где-то — затейливым точечным узором. В нескольких местах ворота погнуты, как от удара. Одну вмятину, ту, что справа, еще не успевшую покрыться бурыми пятнами ржавчины, поставил соседский мальчик Пашка.

«Бу-буммммм!» — загудело на всю округу, когда он, разбежавшись, швырнул в ворота камень.

Вера поежилась, вспоминая, как старая Зоя сыпала проклятиями, стоя над вмятиной в воротах, а потом, не прекращая ругаться, пошла домой к Пашке и

устроила такой скандал, что вся улица сбежалась послушать. Старая Зоя надрывалась, брызгая слюной, и трясла полными руками перед носом испуганной тети Нади, а потом погнала ее любоваться художествами сына. И вся улица дружно ходила следом — смотреть на новую вмятину в воротах.

— Ты не можешь своего остолопа унять? Ты что, новый забор будешь мне ставить? — визжала старая Зоя. От крика глаза ее почти вылезли из орбит, а на лбу вздулась темная вена. Казалось, поднажми она еще чуть — вена лопнет и брызнет во все стороны веером кровавых капель.

Тетя Надя виновато молчала, только вздыхала, а старая Зоя все не унималась. Расталкивала зевак, отбегала в сторону, размахивалась и показывала, как Пашка кинул в ворота камень. Тетя Надя часто моргала и дергала головой, словно боялась, что сейчас получит по лицу. Потом беспомощно развела руками и обещала, что выпорет Пашку, обязательно выпорет, пусть только вернется домой, паразит!

Пашка не дурак, чтобы сразу возвращаться. Он целый день прятался на той стороне реки, в катакомбах старого завода, но потом все-таки явился — не сидеть же допоздна в разрушенных подвалах, тем более что промозгло и темнеет рано, да и идти нужно через азербайджанскую часть города¹.

¹ Кировабад был разделен на две части рекой. На одной стороне жили армяне, на другой — азербайджанцы. Причиной тому стали кровавые межэтнические столкновения, случившиеся в Закавказье в начале XX века. Царская власть придерживалась омерзительной практики — в целях пресечения волнений, направлен-

Тетя Надя не дала сыну переступить через порог. Она схватила его за шиворот, поволокла к дому старой Зои и сладострастно выпорола тяжелым отцовским ремнем. Старая Зоя не вышла за ворота, но лишать себя удовольствия наблюдать за экзекуцией не стала. Скрестив на груди руки, она выкрикивала со своей застекленной веранды проклятия, стараясь попадать в паузы между Пашкиными воплями. Вера с нарастающим ужасом наблюдала, как старательно охаживает сына тетя Надя, как сутулится и жалко ходит острыми лопатками Пашка. Ей было страшно, стыдно и мерзко, хотелось закричать, схватить тетю Надю за руки, умолять, чтобы она прекратила унижать сына и унижаться сама. Но правильных слов, чтобы убедить Пашкину маму, Вера не знала, поэтому, расплакавшись, убежала домой, кинулась с разбега на родительскую кровать — панцирная сетка скрипнула и обвисла почти до пола — и зарылась с головой в подушки. Так она и пролежала, всхлипывая, до

ных против верхов, стравливала низы. Особенно такая политика оправдывала себя в густонаселенном разнообразной публикой Закавказье. Умело спровоцированная агентами царской полиции акция превращалась в бушующий пожар. Возникшие, казалось бы, из-за пустяка — пущенного слуха или банальной драки — волнения неизменно выливались в кровавые столкновения и погромы.

Со времен последних столкновений прошло уже почти полвека. Переименованный в Кировабад бывший Елизаветполь, казалось, навсегда перевернул темную страницу своего прошлого. В городе жило немало людей разной национальности — греков, русских, евреев, грузин, латышей, лезгин, цыган. Но подавляющую часть населения составляли армяне и азербайджанцы, два не то чтобы враждующих, но навсегда настороженных друг к другу племени, разведенных по обе стороны большой, мутной по весне рекой Гянджой. Гянджинкой, как ее ласково называли горожане.

того часа, пока, громко топя и о чем-то увлеченно споря, не вернулись с улицы братья — Мишка и Вася.

Девятилетний Мишка был старшим ребенком в семье. Младший, пятилетний Васька, будучи тихим, покладистым мальчиком, ласковым к родителям и сестре, к старшему брату относился как к объекту повышенной терпимости и делал все от себя зависящее, чтобы свести эту терпимость на нет. Он быстро смекнул, что самый верный способ вывести брата из себя — это методично покушаться на его скудное имущество — перочинный ножик, рогатку, копилку, а главное — на стопку тщательно оберегаемых конфетных фантиков. Конфетные фантики в послевоенном Кировабаде считались настоящим богатством. Они имели разную ценность: самыми дорогими считались обертки шоколадных конфет, а самыми дешевыми — карамельных. Карамельные стоили копейку, а шоколадные оценивались по-разному. Обертка «Чио-Чио-Сан», например, стоила пять копеек, а «Белки» или «Мишки косолапого» — десять. Конечно, никакой реальной ценности фантики собой не представляли, зато ими можно было играть, перекидываться, а при удачном стечении обстоятельств выменять на что-то полезное. Мишка долго, любовно возился с ними — пересчитывал, разбирал на стопки, в этой оставлял простые, в той — дорогие. Слюнявил указательный палец и осторожно проверял чугунный утюг — если тот еще не остыл, проглаживал каждую обертку, обязательно с изнаночной стороны — чтобы не вылинял рисунок. Хранил в тайнике, за висящей над комодом полкой.

Васька доводил брата умеючи. Некоторое время вел себя тише воды ниже травы — усыплял бдительность. Далее, выгадав удобный момент, быстро придвигал к комоду стул, взбирался на него, вытаскивал фантики и перепрятывал так, что Мишка потом тратил на их поиски целую вечность. Пока старший брат, чертыхаясь и грозя кулаком, рыскал по дому, Васька ходил следом, победно сопел, но места схрона не выдавал — молчал как партизан. Терпение Мишки было безграничным, поэтому он, периодически отвлекаясь от поисков, отвечивал Ваське тумачи. Васька мигом оскорблялся, наливался огромными слезами — но не плакал, только супился и шмыгал носом.

— Мелюзга, а гордый,— одобрительно хмыкал Мишка.

— Ну! — соглашался Васька.

Вере было жалко обоих братьев. Она понимала, что Мишке и побегать хочется, и в футбол погонять, да и дел у него, как у любого девятилетнего мальчика, невпроворот. Жили они бедно, денег почти никогда не хватало, вот Мишка и крутился как умел, чтобы заработать себе на карманные расходы. То в катакомбах пропадал — они находились на той стороне Гянджинки — в азербайджанской части города. Это были руины полуразрушенного огромного темного сооружения с бесконечным лабиринтом сырых, промозглых подвалов и глубоких шахт. В дневное время суток в подвалах крутилась детвора постарше — мальчишки девяти — тринадцати лет. Они там играли, искали кости и тряпье — добычу старьевщик перекупал за гроши, а потом сдавал в мастерскую, где из

костей варили клей и мололи муку, а тряпье перелицовывали и перешивали.

Если не удавалось раздобыть что-нибудь в катакомбах, Мишка уезжал на рынок Цахкуц мейдан — помогал перетаскивать тяжести или стерег товар, когда кто-то из продавцов отлучался по нужде. С Васькой такую бурную деятельность развивать не получалось — за ним глаз да глаз был нужен.

Если Мишке удавалось убежать из дома так, чтобы брат за ним не увязался, Вася оставался с Верой. Он неприкрыто горевал — ему со старшим братом было интереснее, чем с сестрой, — та не рыскала по городу в поисках приключений и зайцем на трамвае до Цахкуц мейдана не добиралась. Пришибленный внезапно свалившимся на голову одиночеством, Васька моментально превращался в маленького ребенка. Вере он хлопот не доставлял — вел себя очень тихо и даже задумчиво — возился часами во дворе, наблюдал за прохожими, а иногда воображал, что сделался невидимкой, — кутался в старую отцовскую фуфайку, забивался под деревянную кушетку и замирал. Только пятки торчали.

Родители дни напролет пропадали на работе: мама — в больнице, где она работала хирургической медсестрой, папа — в своей мастерской по пошиву и ремонту обуви. Забота о доме и братьях лежала на плечах шестилетней Веры. Мишка полдня пропал в школе, вернувшись, наспех обедал и убегал на улицу, помощи от него было не дожидаться. А Васька совсем маленький. Вот Вера и крутилась по дому как умела. То воды натаскает, то пыль с комода смах-

нет — пододвинет тазик, перевернет его вверх дном, взберется на него, осторожно перенесет на стол мамину скудную косметику — духи «Сирень», пудру в треугольной коробочке «Лебяжий пух». Протрет комод влажной тряпкой — и обратно расставляет косметику. Или одежду в мыльных хлопьях замочит, чтобы потом вместе с мамой выстирать и вывесить во дворе — сушиться в лучах прижимистого на тепло зимнего солнца.

Мама работала тяжело и много, первая-вторая смена, ночные дежурства. Вернется домой — соседи тут как тут, у этого температура, у того головная боль никак не уймется, третьему спину скрутило... Только и слышно: «Марья Ивановна, помоги, Марья Ивановна, подскажи, что делать». Она никому не отказывала в помощи, и давление померяет, и укол поставит, и посоветует, к какому врачу обратиться. А потом по дому возится — готовит, убирается, гладит, штопает. Худая, изможденная, бледная, с надорванным сердцем — постоянно мучили приступы стенокардии. Вера любила ее такой огромной, бесконечной, мучительной и беззаветной любовью, что казалось, случись с ней что-то плохое — и она умрет тотчас, немедля, следом — на первом же после мамы выдохе.

Март в том году выдался неласковым — зябким и даже морозным, совсем непривычным для жарких южных широт. Который день по городу шастал колючий, беспощадный ветер. Если встать на углу Карганова, там, где улица, загибаясь резко влево, уходила в сторону церкви Мец Жам, можно было за секунду продрогнуть до костей — набравшийся злой силы

ветер завертывался на этом пяточке в ледяную воронку, норовя забрать в свой бешеный круговорот все, что попадалось на его пути.

Но зима, несомненно, отступала, нехотя поддавалась весеннему духу — по ночам, исходя дивными криками, высоко над городом пролетали стаи птиц. Подгоняемые древним зовом, они летели на север, вытянувшись в длинные, тонкие клинья.

— Курр-курр,— долетали с небес их трогательные крики, Вера замирала с открытыми глазами, натягивала на нос кусачее шерстяное одеяло, затаивалась. Глухо, назойливо тикали старинные напольные часы, возвещая приход каждого нового часа долгим надтреснутым боем — динн-донн, диннн-доннн.

Отец, заслышав хриплый бой часов, тяжело ворочался в постели. Вера вытягивала шею и напряженно прислушивалась к темноте, к отцовским вздохам. Иногда он вставал, ходил по комнате, припадая на покалеченную ногу. Наливал воды из старого, мутного стекла графина, пил громкими глотками. Курил в форточку, жадно затягиваясь, от каждой затяжки лицо его — красивое, крупно вылепленное, породистое — озарялось огненными вспышками. Мишка спал на полу, завернувшись в тяжелый отцовский тулуп. Мебели в комнате было кот наплакал — ветхий комод, стол, два табурета, панцирная кровать и деревянная кушетка. На кровати спали отец с мамой, на кушетке — Вера с Васей. Мама стелила на полу старую ветошь, Мишка укладывался на нее, заворачивался в тулуп, словно ежонок, лежал, свернувшись калачиком, не высовывая носа. Отец, проходя мимо,

нагибался, поправлял тулуп, подтыкал его со всех сторон.

— Не спится, Андро? — шептала мама.

— Покурить встал! — неохотно отзывался отец.

Вера прислушивалась, как он ворочался в постели, пытаясь согреться. Наконец, громко, со вкусом несколько раз зевнув, затихал. «Динн-донн», — раздражались часы надсадным старческим кашлем. «Курррр-курррр-курррр», — отзывались небеса далеким птичьим криком.

— Зо-я те-тя! Зо-я те-тя! — нерешительно позвала Вера.

Она поставила на землю тяжелый таз, попрыгала на месте, пытаясь согреться, подышала на озябшие пальцы. Обняла себя крест-накрест, спрятала руки под мышками. Обвела взглядом высокие, арочные ворота. Можно было чуть потянуть на себя створку и посмотреть, что творится во дворе. Но Вера побо-ялась — зачем раздражать сварливую и падкую на скандалы старую Зою?

Тут, словно услышав ее мысли, в воротах появилась сама хозяйка дома.

— Чего тебе?

Вера отвела глаза. Старая Зоя отлично знала, зачем она пришла. Но раз за разом заставляла просить, как будто получая от этого унижительное и гадкое удовольствие.

— Здравствуйте, тетя Зоя, можно попросить у вас немного коровьих лепешек? — Вера подняла с земли таз и протерла ладонью дно, убирая налипшую землю.

Старая Зоя недовольно пожевала губами, рассматривая недобрым колючим взглядом Веру.

— Что, мне кизяк не нужен? — ржаво отозвалась она. — За зиму почти весь вышел!

— Мне совсем немного. Для пола. — Вера громко, виновато сглотнула.

— Отец снова уехал? — Старая Зоя глядела длинными, узкими, злыми глазами. От того, как она смотрела, делалось холодно в животе — взгляд ее словно гипнотизировал и, вкрадываясь куда-то совсем внутрь, опасно притихал, свернувшись ядовитой змеей: шевельнешься — ужалит.

— Стой здесь. — Не дождавшись ответа, Зоя выдернула из рук Веры таз и нарочно громко хлопнула железной дверцей.

Вера запахла ворот пальто, пытаюсь как-то прикрыть худенькие ключицы. Снова убрала руки под мышки, ссутулилась. На веранде старой Зои, впритык к большим окнам, висели плотно обмотанные марлевой тканью куски бастурмы — сыровяленой говядины в острой корочке приправ. Вера вспомнила ее жгучий и пряный вкус, рот мигом наполнился слюной. Мучительно захотелось вкусных бутербродов — розовые лепестки соленого мяса на ломтях щедро намазанного сливочным маслом хлеба. Чтобы есть, запивая крепко заваренным сладким чаем, — до изнеможения, до счастливого сытого утомления.

Старая Зоя изготавливала традиционную армянскую закуску — бастурму и суджух. Замешивала в густую пасту строго отобранные специи — острый перец, тмин, пажитник, сушеный гранат, сумах, толче-

ный чеснок. Солила говяжью вырезку, держала под гнетом, чтобы вытекла лишняя жидкость, обмазывала пряной пастой в несколько приемов и сушила на сквозняке, плотно обмотав от пыли марлевой тканью. На суджух уходило мясо с лопаточной части. Его нужно было тоже засолить, потом провернуть в мясорубке со специями, забить фаршем бараньи кишки, сформировать колбаски, долго держать под гнетом, сушить на сквозняке... Торговала она не на маленьком Цахкуц мейдане, что находился в этой части города, а на том берегу Гянджинки — за мостом, где раскинулся большой, в любое время года повосточному обильный базар.

Кировабад был по-послевоенному нищ и обездолен. Но среди этой беспросветной и, казалось, бесконечной, словно арктическая мерзлота, нищеты случались обеспеченные горожане. Самой богатой жительницей армянского квартала была старая Зоя. И богатство это имело темное и страшное прошлое. С началом войны всех закавказских немцев в короткий срок вывезли в Среднюю Азию — мрачными эшелонами, в товарных поездах. На сборы отводился час, иногда и того меньше. Депортация происходила в вороватой тишине, под покровом ночи — ничего не подозревающие соседи просыпались с утра, а в немецких домах не осталось ни одной души, только бесхозная живность бегает по дворам, да протяжно мычат в хлевах недоенные коровы. Люди разобрали животных, а в жилища заходить не стали, лишь прикрыли двери — некоторые дома так и стояли нараспашку, разинув в страшном оскале темные пороги.

Но нашлись фарисеи, которые, лицемерно отводя взгляд от развороченных детских люлек и неостывших постелей, шуровали по подполам и чердакам, вывозили чужое добро — немцы работали на совесть, не покладая рук, преданно умножая нажитое поколениями добро.

Семнадцатилетний сын старой Зои был одним из первых, кто кинулся грабить покинутые дома. Ничем не брезговал, опустошал кладовки, выносил мебель и ковры, перестукивал стены в поисках спрятанного золота и серебра. Потому, когда через год он погиб от поножовщины, никто из-за этого горевать не стал — собаке собачья смерть. Со смертью младшего сына старая Зоя осталась совсем одна. Старшего сына и мужа похоронила еще до войны — мужа забрала чахотка, сын уехал на заработки в Баку и погиб на стройке — сорвался с высоты. А спустя три года не стало и младшего — продул в карты большие деньги, затеял драку, чтобы силой отобрать проигранное, его и убили ударом ножа в живот.

Долго переживать смерть сына Зоя не стала — шла война, надо было как-то выживать. Она быстро смекнула, что беда пришла не на один день, что рано или поздно станет не хватать продуктов, поэтому распродала награбленное сыном добро немцев и накупила на вырученные деньги крупы, сахара и консервов. А в голодные годы понемногу сбывала — меняла на золото, на украшения. Люди за полкило крупы отдавали целые состояния — тяжелые червонные браслеты и серьги — в обсыпке драгоценных камней, столовое серебро, старинные книги в золотых и серебряных окладах.

После войны Зоя проснулась по-настоящему богатой. Для отвода глаз торговала на рынке мясной закуской, а на самом деле жила за счет того, что понемногу распродала драгоценности и антиквариат. В ее клиентах числились жены и любовницы партийных работников и прочей высокой номенклатуры, поэтому никто Зою не трогал. Впрочем, нажитое на чужом горе состояние не принесло радости — с годами Зоя становилась черствее и злее. Когда в Кировабад привезли осиротевших в войну русских, украинских и белорусских детишек, и даже самые бедные семьи пригрели у себя по ребенку, уговорить ее взять сироту не удалось — она отказалась наотрез, сославшись на преклонный возраст и плохое самочувствие.

Старую Зою никто не любил — скупая, нечестная на руку, обзленная. Но и не игнорировали — здоровались, приглашали на семейные торжества, не отказывали в помощи. По-восточному мудро рассудили, что негоже не общаться с человеком, если даже по сути своей и по поступкам он полное дерьмо. Порицание — не людское дело. На то есть высший суд, ему все решать и по полочкам расставлять: на верхних — праведных и юродивых, на средних — запутавшихся и оступившихся, а в самом низу, в пыли и забвении, — настоящих грешников.

Громко лязгнул засов, распахнулась дверца в арочных воротах.

— На,— старая Зоя протянула таз с коровьими лепешками,— этого достаточно?

— Конечно, достаточно,— заволновалась Вера,— спасибо вам большое.

Она вздохнула с облегчением — главная проблема решена; теперь дело за малым — отнести домой навоз и сбежать за подругой Лилькой. Нужно сходить на Гянджинку — за желтой глиной.

Идти было недалеко, но дорога казалась бесконечной — широкий, тяжеленный медный таз оттягивал руки, приходилось крепко прижимать его край к животу, чтобы удержать на весу. Наконец Вера добралась до дома, осторожно, чтобы не опрокинуть таз, толкнула плечом входную дверь, протиснулась в проем. Они жили на улице Горького, на первом этаже двухэтажного частного дома. Впрочем, все дома армянского квартала были частными — каменные, основательные, с арочными воротами и большими садами. Вериной семье сильно повезло с жильем — комната, которую они снимали, оказалась большой, с хорошим расположением — порог высокий, сторона солнечная. Правда, обстановка совсем нищенская, но за те небольшие деньги, что они платили за жилье, в лучшем случае можно было позволить себе темный закут. А тут целая комната, просторная и светлая, с высоким потолком и двухстворчатой входной дверью. Хозяин дома — Мухи-дайи, давно уже перебрался в Шамхор, к дочери, поэтому появлялся у себя крайне редко — два раза в год, весной и осенью. Тогда и забирал деньги за постой. Это была обоюдовыгодная сделка — квартирантам комната обходилась по вполне божеской цене, а хозяин был спокоен за свое жилище — ведь дома не любят одиночества и, оставшись без людского тепла, стремительно дряхлеют и разрушаются. Весной Мухи-дайи приезжал,

чтобы привести в порядок сад и проветрить верхние, запертые в его отсутствие комнаты. Пока они с Андро занимались перекапыванием и уборкой садового участка, Вера помогала маме перебивать окна и натирать полы на втором этаже дома. Мишка с Васькой, недовольно бурча, выбивали во дворе ковры. Покончив с делами, Мухи-дайи уезжал до осени. На протяжении всего лета семья Оганджановых ухаживала за садом, пропалывала и поливала грядки в огороде, собирала урожай. Марья варила джемы и варенья — кизиловое, терновое, яблочное. Банки с заготовками накрывала кружком вощенной бумаги, обвязывала суровой нитью и убирала в погреб. Осенью Мухи-дайи приезжал еще раз — подготовить сад и дом к зиме. К дочери он возвращался с большим багажом — плетеные корзины, наполненные доверху гранатами, хурмой, грушей и сухофруктами, ящики, набитые аккуратно завернутыми в газетные обрывки банками с вареньем. Вторая половина урожая и заготовленных на зиму припасов оставалась Оганджановым.

Вера очень любила визиты Мухи-дайи. Он был отличным рассказчиком, знал все углы и закоулки города, помнил истории и легенды, что тянулись за каждым полуразрушенным строением — будь оно мусульманское или христианское. Охотно возился с детьми, учил их играть в нарды и шахматы. Они с отцом любили сидеть поздними вечерами на веранде и вести долгие беседы. Марья заваривала привезенный Мухи-дайи чай — черный, листовой, ароматный, выставляла кизиловое варенье — настоящее, кисло-сладкое, в густом сиропе. Дети к этим посиделкам не

допускались, вечерние беседы взрослых были не для их ушей. Лишь однажды Вера ухватила кусочек запретного разговора — неожиданно большого, тяжелого — и запомнила его на всю жизнь. Она часто крутилась на втором этаже дома — с приездом хозяина можно было подняться наверх и поиграть на старом пианино. Мухи-дайи обещал, что, если родители отдадут Веру в музыкальную школу, он оставит ей ключ и разрешит заниматься на инструменте. До музыки было еще далеко, но девочка времени даром не теряла — дни напролет она проводила возле пианино, затаив дыхание, гладила пожелтевшие клавиши, осторожно сдвигая и раздвигая прикрепленные к передней панели бронзовые подсвечники, натирала ее специальной мастикой. Иногда, набравшись смелости, пыталась подобрать какую-нибудь коротенькую, нехитрую мелодию, которые давались ей с необычайной легкостью.

В тот день Вера задержалась наверху дольше обычного, никак не могла оторваться от нотной тетради, все удивлялась дробному рисунку необъяснимых линий, знаков и закорючек, непостижимым образом хранящих в себе живое звучание музыки.

— Дочка,— позвала снизу Марья,— поздно, пора ложиться.

— Сейчас! — Вера еще какое-то время проводилась в комнате, убрала в книжный шкаф нотную тетрадь, накрыла специальной тканью клавиши пианино, аккуратно опустила крышку. Когда выходила в дверь, услышала возмущенный голос отца.

— Да, я убил. Но я не убийца! — выкрикнул тот жестким, не терпящим возражения тоном.

Вздрогнув от слова «убийца», Вера вжалась спиной в стену, застыла.

— Андро, никто тебя не осуждает, — мягко отозвался Мухи-дайи. — Я хотел...

— За то, что убил, я свое уже отсидел, — перебил его отец, — пятнадцать лет. Пятнадцать! И если ты спросишь, жалею ли я о том, что сделал, я тебе отвечу — нет. Не жалею. — Он зло закашлялся, отдышался, громко отхлебнул чая, в стакане звякнула ложка. — Смерти я никогда не боялся. После колонии на финскую добровольцем ушел. На севере такая стужа — с каждым выдохом богу душу отдаешь. Диверсионный отряд — дело нелегкое, иногда приходилось часами в снегу лежать. На линии Маннергейма отморозил себе пальцы на ноге — ампутировали полступни. С тех пор, словно подбитый из рогатки щенок, лапу поджимаю. Других с отмороженными ногами в тыл отправляли, а я до сорок третьего воевал. Пока мне челюсть осколком не раздробило. С тяжелой травмой уже не повоюешь — такие головные боли, что в обморок падаешь. Мне бы комиссоваться, а я уперся. До конца войны в закрытом военном госпитале прослужил. Там, кстати, с Марьей моей и познакомился. Там и Мишка родился. Закрытый военный госпиталь — это тебе не шутки. Штрафбатников лечили, дезертиров на ноги ставили. Дезертиры себе сухожилия на щиколотках и руках перережут, а мы их излечим и на передовую, на передовую. В самое пекло. Чтоб кровью свой позор смывали.

Он чиркнул спичкой, затянулся:

— Мухи-дайи, ты сам видел, сколько у меня наград. Полная грудь. Я до последнего воевал, никогда от пуль не прятался.

— Ну что ты так горячишься? Не оправдывайся.

— Да не оправдываюсь я! Смертей на моей совести вон сколько, руки по локоть в крови. Но война — это одно дело. На войне у тебя конкретный враг. Или ты его, или он тебя. А эти гниды... — Отец стукнул кулаком по столу, снова закашлялся и, отдышавшись, длинно, зло, грязно выругался. Вера испугалась, отпрянула от стены, кинулась вниз по ступенькам. Марья возилась во дворе — снимала просохшее белье. Подцепит край наволочки, прижмет к щеке — чтобы удостовериться, что она высохла. На локте болтается густо унизанный прищепками круг бельевой веревки. Вера прошмыгнула мимо матери в комнату, быстро разделась, нырнула в постель.

— Ты чего так долго? — сонно отозвался Васька.

— Да так, ничего. Спи.— Она обняла брата за худенькую спину, тот свернулся калачиком, завозился, сладко зевнул. Вера полежала немного, прислушиваясь к голосам сверху,— слов уже было не разобрать, их перекрывало громкое тиканье старых напольных часов. Потом шкрябнул над головой стул и послышались знакомые шаги — это разгоряченный трудным разговором отец, не выдержав напряжения, встал и пошел по веранде, припадая на покалеченную ногу. Вера задержала дыхание — долго, дольше, чем могла, и, лишь когда стало совсем невмоготу, когда гулко застучало-затрепыхалось под боком сердце,

она шумно выдохнула, зарылась лицом в мягкие кудри Васьки — и разрыдалась — горькими, бессильными слезами.

2

Дома никого не было — Мишка с Васькой, наспех позавтракав хлебом и подслащенным кипятком, убежали играть — в субботний день у мальчиков дел невпроворот. Вера затолкала таз с коровьими лепешками под родительскую кровать, сбегала во двор, быстро сполоснула под рукойником руки. Вернулась в комнату, дотянулась до навесного шкафчика с продуктами, взяла из вазочки два колотых кусочка сахара, убрала в карман. Вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь.

Идти до улицы Шаумяна, где жила Лилькина семья, было недалеко. Если дворами, то вообще пять минут прогулочным шагом. С жильем Мелькумовым не повезло — крохотных размеров, угловая, сырая комната никогда не видела солнечного света. Но ничего другого на свою скудную учительскую зарплату родители Лильки позволить себе не могли. Отец, Игорь Мовсесович, преподавал в школе историю. Он был очень угрюмым, несловохотливым и медлительным человеком — вернулся с войны без правой руки и одного легкого, поэтому от нагрузок быстро выдыхался. К тому же мучительно страдал от фантомных болей — ему посто-

янно чудилось, что сводит правую, оставленную на войне руку, и он порывался то погладить ее, то укутать — чтобы меньше ныло. Вся работа по дому лежала на плечах Лилькиной мамы — Анны Николаевны. Анна Николаевна была очень красивой и очень несчастной женщиной, по крайней мере так для себя решила Вера. Она часто заставляла Лилькину маму заплаканной, а спросить, почему та плакала, не осмеливалась. Лилька говорила, что мама плачет просто так, от сердобольности, потому что жалеет всех — папу, Лильку, своих учеников. Но Вере почему-то казалось, что у Анны Николаевны какая-то своя, потайная беда, и от этой беды она очень страдает. Игорь Мовсесович на слезы жены не обращал внимания. Он круглый год пестовался со своей несуществующей рукой, а летом обязательно уезжал в Шушу — к родне. Там ему легче дышалось — в высокогорье воздух был чистый и свежий, аж звенел на рассвете, а родня, хоть и седьмая вода на киселе, всегда принимала его с распростертыми объятиями.

Вера столкнулась с Анной Николаевной у ворот — накинув на плечи старый пиджак мужа и обвязав голову платком, та вышла подметать двор. Даже в таком затрапезном виде она казалась очень красивой — нежное лицо, темные пушистые ресницы, серые глаза.

— Здравсьти, тетя Аня,— поздоровалась Вера.

— Здравствуй, деточка.— Анна Николаевна отложила метлу, пошла навстречу Вере.

— Я за глиной. Вам не надо?

— Конечно, надо. Мы ее как раз сегодня в расход и пустим.

— Значит, и вам возьмем. А где Лилька?

— В сортире кукует.

Вера захихикала: если подружка заперлась в сортире — это надолго. Анна Николаевна погладила ее по голове, заправила за уши выющиеся у висков крупными волнами волосы.

— Косу сама заплетала? Вижу, что сама. Пойдем, я тебя причешу.

— И так сойдет.

— Ничего не сойдет. Пошли!

Она завела Веру в дом, щелкнула выключателем. Лампочка мигнула и осветила неровным желтым светом бедное убранство комнаты. Пока Анна Николаевна искала расческу, Вера перетащила к окну деревянную табуретку, села так, чтобы не встречаться взглядом с висевшим на стене портретом Лилькиного деда,— тот глядел слишком сурово — насупленные густые брови, высокая, надвинутая на ухо тяжелая папаха, обмотанная крест-накрест патронташем широкая грудь. Дома у Веры тоже имелся портрет деда, по отцовской линии,— такой же залихватский вид, патронташ в два ряда. Только у Вериного деда глаза большие, лучатся искринками, а у Лилькиного деда глаза казались совсем темными, пронзительно-непримиримыми.

— Разденься, горяшко,— подошла к ней Анна Николаевна.

— Ой! — Вера вскочила, стянула пальто, снова уселась на табурет. Сложила руки на коленях. Пока

Анна Николаевна, аккуратно придерживая у корней, расчесывала ее длинные волосы, она не отрывала взгляд от окна — стерегла возвращение Лильки.

— Надо же какие у тебя волосы красивые, мастью в мамины, светлые, а густотой в отцовские.

— И выются, как у мамы,— встрепенулась Вера.

— Да, и выются, как у мамы. Только завиток крупнее. Я сейчас буду заплетать косу, говори, если будет туго, ладно?

— Ладно.

— Мама на работе?

— Ага, сегодня до шести.

— А Мишка с Васькой где?

— Убежали в футбол поиграть. Мишка, как обычно, будет в воротах стоять, а Васька — под ногами путаться.

— Это хо-ро-шо,— задумчиво отозвалась Анна Николаевна,— это о-чень хо-ро-шо.

Вере хотелось спросить, чего же хорошего в том, что Васька путается под ногами, но она не стала. Ей было неловко от того, что чужая женщина возится с ее волосами. Сегодня мама ушла на работу ни свет ни заря, вот и не успела помочь ей причесаться. Пришлось Вере справляться самой. Получилось сикось-накось, ну и ладно, главное — волосы в глаза не лезут.

От мыслей о маме у Веры заныло в боку. Она шмыгнула носом, ссутулилась.

— Не сутулься. Спина должна быть прямой.— Анна Николаевна легонько оттянула назад ее плечи, провела рукой по позвоночнику, похлопала по ло-

паткам.— Выпрямись. Знаешь, у кого самая красивая осанка?

— У актрис?

— У балерин. Хочешь себе такую же?

— Хочу.

— Вот и не забывай держать спину прямо. Подбородок надо чуть-чуть поднять, воот так, представь, что ты привередливая принцесса. Понарошку привередливая, понимаешь меня, да? Привередливость — нехорошая черта. Далее. Свооодим лопатки. Вытягиваемся в струнку. Смотри, какая красота!

Вера счастливо вздохнула и расплылась в улыбке. Скованность как рукой сняло. Анна Николаевна сегодня совсем не такая, как всегда,— улыбается и даже шутит. Может, действительно у нее нет никакого горя, может, Вере все это показалось?

— Тетя Аня, а это правда, что вы за всех переживаете? — набравшись смелости, спросила она.

— Кто тебе такое сказал?

— Лилька. Я ей говорю — у твоей мамы какое-то горе, она всегда грустная, а она говорит — мама не грустная, она просто за всех переживает.

Анна Николаевна рассмеялась, щелкнула Веру по носу:

— Вот ведь фантазерки! Надо же было такое придумать. Нет, я не грустная, я просто задумчивая. Всю жизнь такая, с самого рождения. Папа говорил, что с таким выражением лица мне прямая дорога в академики. Мол, академики — самые серьезные в мире люди.

— Это ваш папа? — опасливо кивнула в сторону портрета Вера.

— Да. Это мой отец. Николай Согомонович.

— Лицо у него... — Вера задумалась, подбирая правильное слово.— Серьезное.

— У настоящих воинов других лиц не бывает. Особенно у карабахских. Твой дед тоже, кстати, был карабахским воином.

— А с кем они воевали, раз были воинами? С фашистами?

— С фашистами. Только с другими. Потом, когда вырастешь, папа тебе все расскажет и объяснит. А сейчас не верти головой, дай красиво доплести косу.

Вера скосила глаза к портрету. Странное дело, но с ним произошли удивительные метаморфозы: взгляд Лилькиного деда не то чтобы подобрел, но приобрел какой-то новый, доступный Веринуму разумению, смысл. Надо было раньше спрашивать тетю Аню про портрет. Тогда не пришлось бы его бояться.

— А моего деда звали Михаилом Андраниковичем,— вздохнула Вера.

— Знаю. Люди его звали Михо Карадаглинский. Они ведь дружили с моим отцом, воевали вместе.

— Когда воевали?

— Давно. Потом твоего деда уб... потом твой дед умер. В восемнадцатом году. Папа сильно по нему горевал. А спустя несколько лет и сам ушел.

Анна Николаевна затянула конец длинной, не детски густой косы Веры в хвостик, пригладила пробор:

— Теперь ты писаная красавица!

Вера перекинула косу на плечо, провела по ней ладошкой:

— Гладенькая. Я так не умею.

— Ничего, с возрастом научишься. Хочешь сухофруктов?

— Хочу. Только совсем немного. От них потом зубы ноют.

— От яблок и груш не должно. Это от кислого зубы сводит. От кизила, например, или от чернослива.

Анна Николаевна поставила перед Верой вазочку с сухофруктами — ешь! Вера взяла дольку сушеной груши, поблагодарила. Она хорошо знала — в гостях много есть нельзя, потому что кругом нищета и люди еле концы с концами сводят.

— А я вот чего принесла,— она порылась в кармане пальто, извлекла сахар,— тут два кусочка. Один мне, другой — Лильке. Если хотите, можете мой сахар себе забрать. Чаю попьете.

Анна Николаевна обняла Веру и крепко прижала к себе.

— Знаешь, чего я действительно хочу? Чтобы вы с Лилькой всю жизнь дружили. Всю свою долгую и счастливую жизнь. Ты можешь мне это обещать?

— Что обещать? — прогудела Вера.

— Что вы будете добрыми подругами. Всегда.

— Хорошо.

— Спасибо, деточка. А сахар спрячь. Пойдем выволять твою подругу из сортирного плена, а то она что-то совсем надолго там застряла.

Выволять из плена Лильку не пришлось. Только Вера с Анной Николаевной вышли за порог, как она, запыхавшаяся, выбежала из-за угла.

— Ой, Верка, ты уже тут?

— Ага. А ты все в сортире кукуешь!

— Да что-то задумалась.

— Вот вытекут от долгого сидения кишки, станешь задумчивой на всю оставшуюся жизнь,— невозмутимым тоном отозвалась Анна Николаевна.

У Лильки вытянулось лицо. Вера прыснула, звонко расхохоталась. Лилька шмыгнула носом, пихнула подругу в бок.

— Нашла над чем смеяться. Пошли.

Перед тем как выйти за ворота, Вера оглянулась. Анна Николаевна снова подметала двор. Худая, почти прозрачная — старый пиджак болтался на плечах, словно на вешалке. Чтобы орудовать тяжелой метлой, ей приходилось растопыриваться острыми локтями и наваливаться всем телом. «Шхур-шхыр, шхур-шхыр», — царапала землю неподъемная метла. У Веры заныло сердце — Анна Николаевна была очень похожа на маму — те же темные круги под глазами, та же характерная складка возле крепко сжатых губ.

— А где твой папа? — обернулась она к Лильке.

— В школе. У мамы сегодня нет уроков, она теперь по субботам выходная.

— А моя работает.— Вера вытащила из кармана сахар, протянула подруге: — Это тебе.

— Веркаааа! — Лилька сцапала птичьей лапкой угощение, поспешно отправила в рот и расплылась в довольной улыбке.— Мммм!

— Только не держи на языке,— напомнила Вера и затолкала второй кусочек сахара себе за щеку. Там он держался дольше, чем на языке. Медленнее таял.

Гончарная мастерская находилась сразу за старым мостом. Нужно было пройти мимо Дома офицеров, свернуть за лавкой «Прием вторчермета» и спуститься к берегу Гянджинки. В приземистом, толстобоким, подслеповатом кирпичном строении гончарного цеха круглый год исходила пылом огромная, вместительная, раскаленная докрасна печь. Зимой в помещении было чудовищно жарко, летом, в сорокаградусный зной,— невыносимо. Поэтому львиная доля работы проводилась в холодное время года. Ежедневно работники мастерской — старый гончар Григорий Семенович и трое подмастерьев — Назар, Касим и Лесик — двенадцатилетний польский мальчик, чудом спасшийся в войну и оказавшийся с другими сиротами в этом далеком восточном городе, лепили глиняную посуду — цветочные горшки, миски, кувшины, чашки. Григорий Семенович — исполинского роста старик, совершенно седой, немногословный, угрюмый — привязался к Лесику всей душой. К концу войны он остался совсем один: трое сыновей погибли на фронте, а с последней, пришедшей накануне победы похоронкой ушла и его преданная и тихая Араксия — не выдержало сердце. После смерти жены Григорий Семенович навсегда перебрался в гончарную — находится в доме, где не осталось ни одной родной души, было выше его сил. С Араксией не то чтобы проще, но хотя бы чуть легче было справ-

ляться со страшной и беспросветной болью потери сыновей. Но когда не стало и ее, Григорий Семенович сдался. Он выделил маленький закут в мастерской, перенес туда свой нехитрый скарб, а двери и окна дома забил крест-накрест досками. Чтобы навсегда отрезать себе путь туда, где всё ему напоминало о той, прошлой, счастливой жизни.

Лесик сам прибился к Григорию Семеновичу. И одичавшему за войну ершистому, нелюдимому подростку каким-то чудом удалось растопить сердце старика — тот быстро привык к мальчику, стал заботиться о нем как о родном. Полюбил, но не баловал — скидок на возраст не делал, строго приучал к труду и ответственности. Поэтому в свободное от школьных занятий время Лесик наравне с остальными подмастерьями крутил тяжелый гончарный круг, лепил посуду, выставлял ее сушиться, а потом обжигал в большой коренастой печке. Работа мальчику нравилась куда больше, чем учеба, будь на то его воля, он бросил бы школу и полностью посвятил себя гончарному делу, но Григорий Семенович был неумолим.

— Образование превыше всего! — повторял он. — Окончишь школу — на врача пойдешь учиться.

— Зачем? Мне и так хорошо.

— Станешь врачом — тебя весь город зауважает.

— А мне не надо, чтобы весь город! — упрявился Лесик.

— Тебе не надо — мне надо. Сегодня я есть, а завтра меня нет. Хочется, чтобы ты успел стать человеком до того, как придет мое время, — хмурился

Григорий Семенович. Лесик неуклюже обнимал его, гладил по плечу.

— Дед, ну ты чего?

— Да ничего. Заждались они меня там. Только как я уйду? На кого тебя оставляю?

С годами боль по ушедшим родным не то чтобы утихла, но подернулась пеплом и патиной, если не ворошить, она тихо тлела где-то там, внутри, под солнечным сплетением, Лесик с Григорием Семеновичем предпочитали не говорить о ней, да и как можно о таком говорить, у одного сыновья погибли на войне, у другого вся семья — мама, бабушка, дед, пятилетняя сестра Агнешка — осталась под обломками разбомбленной до основания киевской трехэтажки.

Дом так и стоял заколоченный, Григорий Семенович иногда подумывал перебраться туда, но следом отметал эту мысль — возвращаться некуда и незачем. Не к кому.

Дорогу до гончарной Лилька с Верой прошли неспешным шагом — к полудню немного распогодилось, наконец-то унялся колючий, неугомонный ветер, и сквозь плотный слой облаков там и сям стали пробиваться косые солнечные лучи. Город мигом преобразился — подбодренный неистовым птичьим щебетом и веселым дребезжанием трамваев, он, словно очнувшийся после долгой дремы кот, потянулся и весело заморгал многочисленными окнами, подставляя весеннему теплу свои каменные бока.

Девочки добрались до старого моста, свернули налево и спустились по узкой тропинке вниз — к Гянджинке. На высоком, отлогом берегу реки зияли

многочисленные «норы» — люди раздобывали жирную, гладкую, податливую на ощупь желтую глину. В зимнее время года приходилось пользоваться подручными средствами — от холода глина смерзлась и затвердевала, зато в жару становилась такой уступчивой и мягкой, что давалась большими, жирными, сыто чавкающими горстями. Основным ее потребителем, конечно же, была гончарная мастерская. Но горожане тоже охотно ею пользовались — в хозяйственных целях и на откуп детям — малышне она успешно заменяла пластилин.

Лилька с Верой обошли гончарную, заглянули на задний двор. Слева от ограды небольшой горкой высились неформатные изделия — подмастерья выкидывали туда бракованную продукцию.

Лилька порылась в груде осколков, выудила поднос с отбитым краем, треснувшую по боку миску и два больших черепка — теперь было чем орудовать в промерзлой земле. В цехе было непривычно тихо. Вера поднялась на цыпочки, заглянула в окно — никого.

— Куда все подевались?

— Наверное, поесть сели,— Лилька всучила подруге миску и черепок,— у меня аж в животе заурчало от голода. Что у вас на обед?

— Гороховый суп. А у вас?

— Спас!¹ — Лилька передернула плечом, поморщилась.— Третий день одно и то же!

— Хочешь, пойдём ко мне, я накормлю тебя гороховым супом?

¹ Суп на мацуне и пшенной крупе.

— Нет уж! Вам самим еле хватит. Пошли лучше быстрее, а то мама начнет волноваться — куда пропали, куда пропали!

Несмотря на холод, берег реки был многолюдным — женщины полоскали белье, кругом бегали дети. Периодически кто-то из взрослых отрывался от стирки, выискивал среди копошащейся детворы своих и, убедившись, что все в порядке, возвращался к прерванному делу.

Девочки пошли вдоль берега, наблюдая за тем, как женщины быстро и ловко стирают.

— Вера! — позвала их высокая седая старуха.— Вы за глиной пришли?

— Здравствуйте, бабушка Сатик. За глиной, ага!

— Попросите у моего внука, он этого добра уже целую кучу насобирал. Зачем вам в грязи ковыряться?

— А где он?

— А вы крикните его,— и, не дожидаясь реакции девочек, она позвала зычным голосом: — эй, Володя-джан!

— Чего? — вынырнула из норы всклокоченная макушка младшего внука старой Сатик.

— Положи Вере глины. И не делай недовольное лицо. Ты себе еще накопаешь, а девочкам она для дела нужна.

— Мне тоже она для дела! — недовольно пробубнил Володя, но послушаться бабушку не посмел, только рукой махнул.— Давайте сюда вашу посуду!

Вера с Лилькой передали ему миску с подносом:

— Черепки нужны?

— Не-а, я деревяшкой ковыряюсь,— Володя протянул девочкам удивительно точно слепленную фигурку солдата,— смотрите, чего смастерил.

Вера восхищенно поцокала языком:

— Молодец. Обжигать ее будешь?

— Да разве бабушка даст мне к огню подойти? — прозудел Володя.

— Ну еще бы! — хмыкнула Лилька.— Ты ведь ваш дом чуть не спалил!

— Я нечаянно! И потом, я не дом спалил, а курятник! Мне просто интересно было, как себя куры в огне поведут.— Володя вынырнул из глиняной норы, показал им наполненную миску.— Хватит или еще положить?

— Хватит. Ну и как себя куры повели?

— А то вы не знаете!

Девочки захихикали. История с сожженным дотла курятником случилась совсем недавно, буквально на той неделе. Весть о том, что младший внук Шахназаровых спалил пол-улицы вместе с церковью, поставила на уши весь Кировабад. Всполошенный город побежал тушить пожар, спасать людей и вызволять из огня церковное имущество. К счастью, слухи оказались сильно преувеличены — сгорел только курятник старой Сатик. К тому времени, когда люди, размахивая разнобойной и, что примечательно, пустой тарой, прибежали к церкви, бабушка Сатик уже успела оплакать каждую погибшую в огне курицу и теперь в сердцах охаживала бельевой веревкой виновника торжества.

— Да пусть моя земля будет на твоей голове, Володя-джан,— причитала она, стараясь попадать ниже спины внука,— что мне с тобой делать, Володя-джан?

Володя-джан, пламенея разномастными ушами — одно было плотно прижато к голове, а второе воинственно топорщилось вбок, — шмыгал носом и стоически терпел порку. Родные его любили так сильно, что, даже наказывая, называли «джан». Душа моя.

Вспоминать о своем геройстве внук старой Сатик не любил, поэтому на хихиканье девочек обиженно пробубнил:

— Дуры! Я вам глину, а вы издеваетесь. Солдата верните.

— Сам дурак, — беззлобно огрызнулась Лилька. — Попроси гончара, чтобы он обжег твоего солдата. У него вон какая печка громадная!

— Ла-адно. — Володя перевесился через край пещерки и протянул им поднос с глиной. — Забирайте.

4

Мишка ел, низко склонившись над тарелкой и остервенело орудуя ложкой — скреб по дну тарелки так, что от шума закладывало уши. Васька старался не отставать — времени было в обрез. Сегодня Мишка обещал взять его с собой в катакомбы.

— Только чур не ныть и не проситься домой! — грозно предупредил он младшего брата.

— Не буду, обещаю.

— Помогите мне вытащить из комнаты все лишнее, с полом я сама разберусь, — попросила у братьев Вера.

— Нет времени! — отмахнулся Мишка.— Ребята ждут.

— Я одна не справлюсь. Пока все сделаю, пока комнату проветрю... Хочется до маминого прихода успеть. Чтобы порадовать ее. Она же,— Вера запнулась, покосилась на Ваську,— всю ночь проплакала.

Мишка нахмурился, отодвинул тарелку, нарочито громко брякнул ложкой.

— А чего это мама плакала? — вскинулся Васька.

— Ну мало ли, может, голова болела,— быстро ответил Мишка,— давай, малой, доедай, будем сейчас мебель двигать. Верка, открой нам.

— Сейчас.— Вера кинулась к входной двери, распахнула ее, поддела торчащий из земли штырь, развернула вторую створку и приставила к ней стул так, чтобы дверь не захлопнулась.

Мальчишки, кряхтя от натуги, принялись вытаскивать во двор все, что могли сдвинуть с места: стол, стулья, обувной ящик, керосинку. Перевернули, поставили на родительскую кровать деревянную кушетку.

Пока они возились с мебелью, Вера обвязала голову платком, заправила под узел косу, чтобы та не моталась по спине и не мешала работать. Сбегала во двор, набрала полведра воды, притащила домой.

— Вроде все,— Мишка обвел глазами комнату,— ничего не осталось.

— Можете идти,— Вера сдернула с вешалки вязаную шапку, протянула ее Ваське,— в катакомбах холодно, не простынь.

— А ты откуда знаешь, что холодно? Была там? — пробурчал Васька, послушно натягивая на глаза шапку.

— Это я ей рассказал, — отрезал Мишка, — девочкам в катакомбах не место.

— И ты шапку надень. — Вера потянулась застегивать верхнюю пуговицу пальто брата.

— Не продует. Уши у меня дубленые, — отмахнулся Мишка и отвесил шуточный подзатыльник Ваське, — ну что, мелюзга, пошли?

— Пошли, — шмыгнул носом довольный Вася.

После ухода братьев Вера сразу же принялась за работу. Первым делом распахнула окно, далее, орудуя большим веником, тщательно подмела комнату. Размешала в тазу навоз с глиной, плеснула керосина и воды, погрузила в жижу руки. От острой, тяжелой керосинной вони защипало в носу, заслезились глаза. Вера часто-часто заморгала, задышала ртом. На языке и нёбе мгновенно появилась неприятная горечь. Размешивать нужно было долго, тщательно, до кашицеобразной массы. Это была так называемая «мастика для бедняков», специальная смесь, которой покрывали земляные полы. Пол от нее получался желтый, матово-блестящий, держался целую неделю. Обычно полы натирала мама, Вера крутилась рядом, помогала, как умела. Но сегодня она решила справиться сама.

Работа была сложной, трудоемкой. А для шестилетней девочки — практически неподъемной. Но Вера не унывала. Она месила жижу, тщательно растирала в руках каждый катышек, убирала мелкие ка-

мешки и другой сор. Понемногу добавляла воды — делать это надо было умеючи, иначе можно было все испортить.

Когда смесь была готова, Вера намочила мешковину, хорошенько отжала ее, а потом погрузила в таз. Как только тряпка вдоволь напиталась смесью, она принялась аккуратно возить ею по земляному полу. Мастику нужно было наносить ровным слоем, не слишком толстым — чтобы потом, после высыхания, она не потрескалась и не облупилась, и не слишком тонким, чтобы покрытие продержалось до конца недели.

Работа шла очень медленно. У мамы получалось быстрее — она все делала ловко, споро, умеючи. Подцепит подол платья сзади, пришьит спереди булавкой — выходят смешные шаровары — и шурует тряпкой, только локти мелькают да худенькие лопатки остервенело ходят по спине. Делать как мама у Веры не получалось — от тяжелого запаха темнело в глазах и сбивалось дыхание. Поэтому она передвигалась на четвереньках. Так было проще, и голова не кружилась.

Спустя два часа каторжного труда земляной пол был покрыт ровным слоем желтой мастики. Теперь главное было дать ей высохнуть и хорошо проветрить комнату, чтобы избавиться от тяжелого керосинового запаха. Вера прополоснула мешковину, повесила ее на садовую ограду — высохнуть. Тщательно промыла таз и ведро. Натерла влажные руки хозяйственным мылом, походила так немного — хозяйственное мыло убирало неприятный запах керосина. Потом тщательно смыла водой.

Села на стул, спрятала в карманы руки. Находилась. Конечно, можно было сбегать к Лильке и переждать у нее, но у Мелькумовых тоже обрабатывали пол, да и дядя Игорь небось из своей школы вернулся... Попадаться на глаза Лилькиному отцу Вере не очень хотелось. Тот был угрюм и немногословен, вечно нянчил отсутствующую руку, кашлял долго, надсадно, отплевываясь длинной желтой слюной. Ничего плохого он Вере не сделал, но девочка инстинктивно сторонилась его. Может, потому, что дядя Игорь был очень похож на ее отца. И на многих других вернувшихся с фронта мужчин. Война давно уже осталась позади, но она по сей день отравляла им существование, давая о себе знать бессонными ночами, неконтролируемыми приступами ярости, фантомными болями. Чтобы заглушить воспоминания, мужчины срывались в бесконечные пьянки и гулянки, оправдывая себя тем, что победителям можно все. Так себя вел и отец. Вера смутно понимала, что это неправильно, что так не должно быть, но осуждать отца не решалась. Ее глубоко ранили частые ссоры родителей — иногда Марья, доведенная пьянками мужа до отчаяния, срывалась, устраивала скандалы — с криками, со слезами, потом долго приходила в себя — ныло и болело сердце. Вера преданно ухаживала за мамой, заваривала чай, поила каплями, подкладывала под ноги бутылку с горячей водой. Отец после скандала уходил из дома, пропал, Мишка поначалу делал попытки найти его, потом прекратил. Андро возвращался через несколько дней — всегда навеселе, благодушный, с гостинцами,

Марья его привычно прощала, и на какое-то время в семье воцарялся мир и покой.

Марья любила мужа всей душой, из кожи вон лезла, чтобы порадовать его, — то выкроит денег на лоскут ткани и сошьет ему косоворотку — настоящую, крутокрахмальную, вкусно пахнущую от тщательной глажки, то билеты в театр справит. Недавно решила побаловать мужа походом в кино. Снарядила Мишку в кассу, тот взял два билета на «Встречу на Эльбе». Вернулись они с работы, принарядились — Марья подкрасила губы, надела платье — кружевной ворот, накладные плечики, летящая юбка, побрызгалась духами, Андро накинул на плечи шинель. Провожали их в кино всей улицей, соседка даже плеснула вслед стаканом воды — на удачу. Вера старалась запомнить каждый такой счастливый день: вот мама собрала немного денег и накупила разных вкусностей — совсем чуть-чуть, каждому по кусочку, но вечером будет настоящий пир — с тщательно сервированным столом, с горящими свечами, с обстоятельными рассказами о детстве — мама будет рассказывать о своем, архангельском, папа — о карабахском. Васька сидит на коленях у отца, прижавшись ухом к его груди, надо же, у тебя внутри голос гудит совсем по-другому, не так, как снаружи, папа смеется, ерошит его кудри — сынок, ну до чего же ты забавный! Вот папа вручает маме сверток, она разворачивает и ахает от восторга — внутри лежат туфли, модельные, на каблучке, с кокетливой застежкой. Из списанного, бракованного материала папа умудряется сшить ей в своем ателье удивительной красоты обувь — легкую,

изящную, невесомую. У мамы маленькая ножка — узкая, хрупкая, с невысоким подъемом. Любая пара обуви сидит на ней как влитая.

А потом безмятежное счастье резко заканчивалось — Андро становился молчаливым, угрюмым, раздражался по пустякам. Пил, возвращался под утро, хмурый и злой. Марья какое-то время терпела, но рано или поздно снова срывалась в скандал. После скандала Андро исчезал, когда на несколько дней, а когда и вовсе на неделю, Марья плакала, страдала, почти не ела... Вера жила в постоянном страхе за мать, прятала от нее зеленку и йод — почему-то боялась, что та в отчаянии может что-то с собой сделать. Больница, где работала Марья, находилась на вокзале, сразу за паровозным депо, дорога пролегла через рельсы, и Вера каждый раз с ужасом представляла, как мама идет по этим рельсам, нарочно спотыкается и падает под поезд... Она засекала время, сидела у окна, плотно прижавшись лицом к холодному стеклу, ждала, когда мама появится за поворотом. Если Марья задерживалась — шла ей навстречу, шептала про себя — лишь бы живая, лишь бы живая...

Порой, распаленный ссорой, отец уходил из дома, забыв оставить им денег. Марья вытаскивала из обувного ящичка подаренные мужем туфли и, захватив с собой Веру с Васькой, ехала на рынок. Там они продавали эти туфли, иногда, если везло, — сразу, а иногда приходилось стоять весь день, Васька заглядывал покупателям в глаза, теребил за рукав — купите, купите. Вера пыталась отвлечь его игрой, но Васька плакал — я устал, хочу домой. Однажды покупателя на туфли не

нашлось, пришлось идти с поклоном к соседям, они дали Марье не́много отварной картошки и полчашки подсолнечного масла, на том и продержались три дня до получки. А Андро вернулся в конце недели, как ни в чем не бывало, хмельной, довольный, привез детям настоящего курабье — рассыпчатого, сладкого, тающего во рту, а Марье, в красивой картонной коробочке, — серебряную чайную ложечку, с витиеватым оттиском на расписной рукояти «Баку, 1913 год».

День катился к закату, стало стремительно темнеть. Вера, чтобы согреться, попрыгала на одной ножке, потом на другой. Заглянула в комнату. Осторожно потрогала пол. Мастика схватилась и полностью высохла. Оставалось подмести ее, чтобы убрать волокна, которые попадают в коровьем навозе. Вера тщательно подмела комнату, закрыла окно и входную дверь. Легкий запах керосина все еще витал в воздухе, но времени на проветривание не осталось — нужно было к возвращению мамы дать комнате прогреться. Вера занесла домой стулья, обувной ящик, стол оставила на потом, все равно ей одной с ним не справиться.

Набрала в чайник воды, зажгла керосинку, отрегулировала фитили так, чтобы они не чадили. Пока чайник разогревался, она перенесла с подоконника всякую мелочь, которую пришлось убрать с комода, стащила вниз кушетку, красиво заправила родительскую постель.

Сварливо дребезжа, пробили часы. Семь. Уже полчаса, как должна была вернуться мама, а ее все нет. Вера накинула пальто, сбегала к воротам, выглянула

на улицу. Сразу увидела Марью — она стояла, опустив голову, слушала старую Зою. Та что-то рассказывала ей, размахивала руками, качала головой. У Веры нехорошо сжалось сердце — мама выглядела совсем беспомощной, растерянной. И лицо у нее было такое... Словно еще немного — и она разрыдается.

— Мам! Мама! — закричала Вера на всю улицу.

— Да? — Марья словно вынырнула из морока, обернулась на голос дочери. Сделала шаг в ее сторону. Старая Зоя вцепилась ей в рукав, не давая уйти:

— Я бы на твоём месте так не оставляла. Уведет она его — как ты будешь одна с тремя детьми на руках?

— Зоя Сергеевна, спасибо,— раздраженно дернула рукой, высвобождаясь из цепких пальцев старрой Зои, Марья.— Я сама как-нибудь разберусь.

— Ну как хочешь. Потом не говори, что не предупреждали. А то ведь можно адрес разузнать, явиться туда и устроить им...

Вера побежала по улице — нужно было как-то перекричать-перебить эту ужасную старую Зою:

— Мама! Пойдем со мной! Я тебе такое покажу!

— Покажешь? — машинально повторила Марья.

— Ага! Ты обрадуешься, я знаю.

— Хорошо.

Они пошли по улице, Вера висела у мамы на рукаве, заглядывала в глаза, Марья ступала молча, естественно выпрямившись, сосредоточенно смотрела себе под ноги. Когда дошли до ворот, Вера распахнула высокую створку, пропустила вперед маму.

— Сейчас,— повторяла она,— сейчас. Сейчас ты все увидишь и обрадуешься.

Марья упала сразу, как вошла в ворота. Рухнула с высоты своего роста, ударилась больно боком, плечом, головой. Задохнулась, согнулась от мучительной боли в сердце, хотела что-то сказать дочери — но не смогла. Только захрипела — трудно, со всхлипами. И притихла.

Вера спиной почувствовала, что с матерью что-то не так. Но сразу оборачиваться не стала. Закрыла ворота, завозилась с тяжелой щеколдой — нужно запереть, а то вдруг Мишка с Васей, Васька испугается, он маленький. И, только когда щеколда, тяжело скрипнув, с лязгом встала на место, она обернулась.

Марья лежала на боку, беспомощно откинув руку, ступня была неестественно выгнута, ботинок соскочил с ноги, Вера упала на четвереньки, подползла к ней, ткнулась мордочкой в лицо, прижалась ухом к груди — тишина. Рванула в дом, там, в комод, лежат лекарства, шприц, иглы, ампулы, она видела, что мама колола себе, когда с сердцем было плохо, нащарила нужную ампулу, прочитала по слогам — кор-ди-а-мин, еще раз — кор-ди-а-мин, пальцы сводило судорогой, она несколько раз потрянула рукой, чтобы унять дрожь, вставила поршень до упора в шприц, набрала лекарство — главное медленно, чтобы без пузырьков воздуха, выскочила из дома, Марья лежала, откинув руку, подхваченные ветром легкие волосы плясали вокруг лица, Вера подбежала, рухнула на колени, размахнулась и со всей силы всадила иглу сквозь рукав пальто в худенькое плечо.

А потом легла рядом и прижалась головой к маминой груди — к тому месту, где молчало ее сердце.



I

Высокий, мохнатый, бьющий челобитную восходящему солнцу Хали-кар с восточного своего склона резко уходил вниз — в синее ущелье, туда, где, сворачиваясь в пенные завитки и неглубокие, но опасные водовороты, бежала быстроногая горная речка. Обрыв сверху донизу был облеплен одинаковыми каменными домами — двухэтажными, с большими застекленными балконами-шушабандами и длинной, увитой виноградной лозой лестницей, ведущей вверх — на второй этаж. Стены снаружи не оштукатурены и не побелены — видно, как каждый камень закован в рамку из застывшего цементного раствора.

От этого дома имели немного мозаичный, впрочем, совсем не портящий их вид. Скаты крыш шиферные, волнистые, в мурашках подернутых ржавчиной гвоздей. Коньки острые, в узких железных пластинах. Водосточные желоба обрывались высоко — в метре-полтора от земли. Под ними стояли дубовые бочки — большие, конусообразной формы, с широким днищем, узким горлом и двумя металлическими ободами по брюху. Бочки можно было обогнуть с любой стороны — они стояли на приличном от дома расстоянии, чтобы поймать льющййся сверху поток воды. В сухую погоду их плотно прикрывали тяжелой крышкой — берегли каждую каплю влаги. Вода из бочек уходила на поливку огорода.

В каждом дворе, слева от входной калитки, росла неизменная шелковица — большая, раскидистая, в сезон урожая — сладко-пахучая от тяжелых плодов. Вокруг шелковицы роились ошалевшие от счастья желтопузые осы — их здесь не любили и пренебрежительно называли «ослиными пчелами».

Последний, притулившийся у самого края обрыва дом принадлежал старому часовщику — уста Саро. Дом нависал ажурным деревянным балконом над ущельем, казалось, еще немного — и улетит в пропасть, увлекая за собой одинокого своего хозяина. Когда над обрывом случались грозы и молнии беспощадно стегали небеса огненными хлыстами, сквозь завывания ветра было слышно, как горестно скрипит балкон того дома — хшшш-шшш, хшшш-шшш...

Уста Саро смахивал на выкорчеванный из земли засохший корень — темный, шероховатый, скри-

пучий. В любое время года он ходил в одинаковой одежде — сорочка, жилетка, пиджак, заправленные по колено в полосатые вязаные гулпа¹ брюки. Зимой поверх пиджака надевалось пальто — цвета остывшего пепла, потертое в подмышках и на сгибе ворота.

Обут он был в неизменные остроносые треши — традиционную кожаную обувь крестьян. По форме они напоминают лодку — вздернутый носок, узкая, удобно подогнанная под пятку «корма». Держатся треши на ноге с помощью шнуровки — она обматывается вокруг щиколотки наподобие лент пуантов у балерин.

Иногда Девочка заглядывала к часовщику в гости, правда, обязательно в сопровождении Витьки, потому что одной подходить к дому, который нависает деревянным балконом над самым обрывом, ей было боязно. На вопрос, сколько ему лет, уста Саро всегда пожимал плечом и цокал языком — а кто его знает?! Говорил он на странном диалекте — значение многих слов с непривычки не разберешь. Уста Саро был из репатриантов — тех армян, которые вернулись на родину из далекой заграницы.

— Так сколько тебе лет? Наверное, сто? — любила допытываться Девочка.

— Может, и сто,— соглашался уста Саро и привычно ударялся в воспоминания,— в год моего рождения в Муше случилась большая засуха. А в следующем году

¹ Носки.

такой потоп, что поля превратились в непроходимые болота. Так что нога у меня тяжелая, да...

— А может, тебе двести лет? — бесцеремонно встревал в рассказ часовщика Витька.

— Нет, до двухсот я пока не дорос, — легко отвлекался от воспоминаний уста Саро. — Но лет сто пятьдесят мне вполне может быть. Сто семьдесят — последнее слово.

— Обманываешь? — прищурился Витька.

— А то!

Дети срывались в счастливый смех — этот диалог с часовщиком носил ритуальный характер и случался всякий раз, когда они заглядывали к нему в гости. Правда, засиживаться надолго не получалось — уста Саро работал на дому, посетителей у него всегда было много — мастер золотые руки, он умел чинить все. И не только чинить, но и реставрировать. В свое время он выделил под мастерскую небольшой закут на первом этаже дома и половину дня проводил там. Дети любили, затаив дыхание, наблюдать, как уста Саро, нацепив на глаз специальную лупу, ковыряется невесомыми щипчиками в часах. В помещении всегда стоял специфический запах — пыли, смазочного масла, механических деталей, лака и красок. Запах щекотал ноздри и глаза — через какое-то время, несмотря на распахнутую форточку, Витька начинал чихать. Вот и сегодня, надышавшись парами лака, он поначалу откашливался мелким, царапающим гортань кашлем, а потом сорвался в немилосердный чих.

— Всё, пора домой,— едва шевеля губами, пробурчал уста Саро — за работой он всегда говорил очень тихим голосом, стараясь не ходить лицом. Словно в себя. Боялся нечаянно сдуть со стола мелкие детали часов.

— А мы сегодня собрались с нани на речку,— попыталась выиграть время Девочка и, не дождавшись ответа, выложила главный козырь: — И Сето с собой возьмем!

Уста Саро мигом убрал лупу с глаза:

— А что, Сето еще не протянул свои копыта?

— То есть?

— Он такой дряхлый, что сегодня-завтра сдохнет. По-хорошему, пока не поздно, его в музей надо отдать, как особо ценный экспонат, долгожитель среди ослов.

— Ничего он не старый! — обиделась Девочка.— Он добрый. И упрямый. И морковку любит.

— Я тоже добрый и упрямый. И морковку люблю. Но от этого моложе не становлюсь,— хмыкнул уста Саро.

— Зато тебя зовут не Сето! — настырно прогудела сквозь поджатые губы Девочка.

— Зато меня зовут Саро! Правда похоже?

— Не-а!

— Вот ведь упрямица!

— А мы все тут упрямые,— взволновался Витька. У него смешно разбух нос и слезились глаза,— бабушка Лусинэ говорит, что упрямость у нас в крови.

— Упрямество,— поправил дед Саро,— в школе учишься, а слов не знаешь.

— Ну,— замялся Витька.

— Антилопа гну! Это животное такое,— опережая расспросы детей, пояснил уста Саро.— А бабушка Лусинэ правду говорит. Упрямство у нашего народа в крови.

— Это почему?

— Такими уродились. Всё, идите, Тамар небось заждалась вас.

— Ладно, пошли, Витька,— вздохнула Девочка,— до свидания, уста Саро.

Часовщик сделал торопливый жест рукой — то ли попрощался, то ли отмахнулся. Дети шепотом закрыли дверь и выскользнули во двор. Зажмурились на секунду — после прохладной и тихой мастерской мир показался невероятно шумным и разноцветным. И заполненным до самых краев — еще чуть, и перелъется — жаром, солнцем, запахом влажных грядок, и встревоженной дорожной пыли, и шумом запутавшегося в могучих ветвях ореховых деревьев ветра — хшшшшш, выдыхал играющий с собой в догонялки ветер, шшшшш.

Витька какое-то время шарил взглядом по кровнам, словно выискивая там кого-то.

— А ты знаешь, что под ореховыми деревьями нельзя спать? — обернулся он к Девочке.

— Почему?

— Можно заснуть и не проснуться.

— Откуда знаешь?

— Бабушка сказала.

— Да ну, ерунда. Наверное, ты не так понял.

— Не веришь — спроси у своей.

Ореховые деревья тяжело вздохнули, повели плечами, обсыпались зелеными, чуть продолговатой формы, шероховатыми на ощупь плодами. Часть незрелых орехов уйдет на варенье. Другая часть созреет до маслянистых сладких ядрышек. Ореховые перегородки затолкают в стеклянные толстодонные бутылки, залиют тутовкой, оставят на месяц в темных погребах, а потом будут лечить этой настойкой желудочную боль. Скорлупа пойдет на растопку дровяных печек. В этом каменистом, скупом на урожай краю ничего не выбрасывают. Всеу свое место и предназначение. И время.

2

По узкой, петливой дороге, катящейся в сторону края обрыва, медленным шагом брел Сето. Верхом на нем, вцепившись обеими руками в тряпичное, кустарной работы седло, восседала Девочка. Справа от Сето, поддерживая его за веревочные уздцы, шел Витька. Слева — Тamar.

Тamar ступала хлюпая обувью — помыла ее вечером, выставила сушиться за порог и забыла убрать. Нагрянувший ночью грозовой ливень не преминул сделать свое черное дело и напрудил полные туфли воды. Конечно, можно было надеть старые калоши, но они, изрядно разношенные, со стоптанными задниками, не годились для дальней прогулки.

— Тебе удобно сидеть? — заботливо спросила Тamar у правнучки.

— Не-а. Вот тут неудобно.— Девочка задрала платье, чтобы показать, где ей неудобно. Витька поспешно отвел взгляд, а нани хлопнула ее по руке.

— Ты чего свой зад оголяешь?

— Ничего я не оголяю, я же в трусах. Я просто показываю, где больно. Попе больно.

— А словами сказать нельзя? — Нани стянула с себя легкий жакет, сложила вчетверо.— Приподнимись немного. Ну вот, теперь тебе будет мягко.

От жакета нани, к сожалению, толку не было никакого. Широкая костлявая спина Сето ходила ходунком — то тут провалится, то там взбугрится. Неудобное, кусачее, совсем бестолковое седло натирало нежную кожу на внутренней стороне бедра. Но Девочка не роптала — она твердо решила добраться до края обрыва верхом — когда-нибудь ведь надо научиться ездить на осле! Она елозила, пытаясь усесться поудобнее, цеплялась за седло руками.

— Ты, главное, не отпускай его,— поминутно напоминала она Витьке, который вел осла под уздцы.

— Не отпущу,— отзывался довольный Витька — он страсть как любил пикники, особенно те, которые проводили на берегу речки,— ведь тогда можно вдоволь поплескаться в воде.

Бабушка Лусинэ тоже должна была пойти с ними, но с утра почувствовала недомогание — разболелась голова. Она быстро собрала внуку небольшой пакет с едой — несколько кусков сладкой, рассыпчатой гаты, отварные яйца, брынза. Нарвала в огороде пучок травы — кинза, укроп, базилик, петрушка, зеленый лук. Обрезала луку огрубевшие перья, оставила бе-

лые головки. Старательно промыла зелень — кинзу особенно тщательно — каждый стебель до кружевных листиков был перепачкан землей.

Витька, в нетерпении переминаясь с ноги на ногу, маялся у порога. «Сейчас скажет — веди себя хорошо», — подумал он, когда бабушка направилась к нему, бережно неся в руках пакет с припасами.

— Веди себя хорошо. Слушайся Тamar.

— Ладно.— Витька открыл дверь.

— Подожди! — Она наклонилась, придирчиво рассмотрела лицо внука.

— Да умылся я!

— А уши? — Бабушка цапнула его за левую мочку — не больно, но крепко, потянула вниз, заглянула внутрь, потом взялась за другое ухо.

— Отпусти, тати! Я опаздываю!

Она обняла его, пригладила встопорщенную макушку, расцеловала в обе щеки и лишь потом разжала объятия. Витька выскочил из дома как ужаленный, на ходу взъерошивая волосы. Не успею, не успею, уйдут без меня!

Нани Тamar и Девочка ждали на развилке, ведущей к обрыву. Сето спокойно пощипывал травку, Девочка важно восседала в седле, а нани Тamar, приложив козырьком ладонь ко лбу, выглядывала Витьку.

— Аж пыль за тобой столбом,— проскрипела она.

— Я думал, вы без меня уйдете.— Витька неловко притормозил, зацепил локтем бок Сето. Осел фыркнул, дернулся.

— Ой-ой! — заверещала Девочка.— Осторожнее, не трогай его!

— Не кричи так, ты его своим криком пугаешь,— одернула ее Тамар, а потом ласково погладила осла по морде.— Потерпи, Сето-джан. Довезешь ее до обрыва — и она слезет с тебя.

— Как бабушка? — спросила она у Витьки.

— На голову жадуется.

— Ну, пусть отдыхает, раз голова болит. Поехали! — И Тамар легонько хлопнула Сето по костлявому заду.

Сето нехотя двинулся в путь, медленно переступая истертыми копытцами.

— Нани, а правда, что под ореховыми деревьями нельзя спать? — вспомнила утренний разговор Девочка.

— Под грецким орехом нельзя.— Тамар заглянула в авоську с едой, удостоверилась, что не забыла взять соль.— Особенно людям, у которых голова часто болит. Или сердце.

— Я же говорил! — встрепенулся Витька.

— Подожди! — отмахнулась Девочка.— А почему нельзя?

— Потому что в дереве грецкого ореха живет темная сила. Она забирает души тех, кто слаб здоровьем. Но это касается только больших деревьев. Молодые вреда спящим не приносят.

— Но как же так? — не унималась Девочка.— Мы же едим орехи!

— Ну и что? То дерево, а то его плоды. Когда Бог создавал деревья, каждое, каждое! — Тут нани выставила вверх указательный палец, словно призывая в свидетели небесные силы.— Наделил какой-то осо-

бенностью. Под дубом, например, нельзя прятаться во время грозы. Потому что в нем живет дух, собирающий молнии. Вон, сын Унаненц Шакара,— она остановилась, скинула туфлю, потрясла ею,— камушек попал, ходить мешает.

— Так что сын Унаненц Шакара? — хором поторопили дети.

— Спрятался в грозу под дубом, его и убило молнией. Мальчику было всего двадцать лет. Недавно из армии вернулся.

Нани пошарила за спиной, поймала край платка, протерла глаза.

— Ты же не плачешь, зачем глаза протираешь? — засварливилась Девочка.

— Затем и протираю, чтобы не расплакаться. У меня слезы очень близко стоят. Я еще не успела расстроиться, а глаза уже плачут. Вот я и протираю их заранее, чтобы они не расплакались.

— Надо маме об этом сказать, а то она сегодня ночью снова плакала,— вздохнула Девочка.

— Тпру,— Тамар похлопала по холке Сето, тот нехотя сбавил ход,— деточка, ты не расстраивайся из-за того, что мама плачет. У взрослых все по-другому, не так, как у вас, детей. Иногда в душе взрослого накапливается очень много боли, вот тут, под горлом,— она постучала кулаком себя по груди,— и, чтобы эта боль отпустила, ее нужно выплакать слезами.

— Моя бабушка тоже часто плачет. Встанет перед портретом папы и плачет.— Витька, расстроенный своей говорливостью, пнул со всей силы валяющийся в дорожной пыли камень. Тот укатился в раз-

росшиеся кусты мальвы, с шумом подмял под себя высокие стебли с нежно-желтыми пушистыми цветками, ударился о деревянную изгородь и отскочил под копыта Сето. Сето испуганно фыркнул, замотал головой, резко тронулся с места.

— Ой! — испугалась Девочка. — Витя, не пугай его!

— Может, все-таки слезешь? — забеспокоилась Тамар.

— Нани, я же сказала — доеду до края обрыва и там слезу.

— Сказали ей — иди просто рядом, — Тамар привычным жестом поправила на голове косынку, одернула длинную юбку, — так нет, уперлась. Ишак ты маленький!

— Ничего я не маленький! — огрызнулась Девочка. — Зачем мы тогда Сето взяли, раз нельзя на нем покататься?

— Почему нельзя? Просто ты не умеешь кататься. И что это за вопрос такой — зачем мы Сето взяли? Не торчат же ему целый день в хлеве! Он тоже человек, ему тоже хочется прогуляться.

— Нани Тамар, вообще-то Сето — осел! — захихикал Витька.

— А то я не знаю, что осел, — встала руки в боки Тамар, — только по сравнению с некоторыми людьми — не будем пальцем показывать, и даже кивком в сторону их дома мы не унизимся, — тут она кивнула в сторону дома соседки Вардик, — Сето — самый настоящий человек. В отличие от некоторых. Да, Сето-джан?

— Пхр, — дернулся Сето, — пхфр!

— Захрмар!¹ — не осталась в долгу Тамар.— Что за осел бестолковый, ты к нему всей душой, а он фырчит в ответ! Шкура ты барабанная, вот ты кто такой, ясно, Сето?

Сето еще раз обиженно фыркнул и затрусил вниз по дороге.

— А-а-а,— заверещала Девочка,— остановите его, я не умею тормозить!

— Стой,— закричал Витька и крепко дернул поводья направо — к себе.

Сето был очень мирным и спокойным ослом. Но сегодня его раздражало все — и жаркий день, и немелая наездница, и громкий Витька, и недовольный голос Тамар. Поэтому, когда мальчик резко потянул к себе поводья, рассерженный Сето дернул шеей и с несвойственной его возрасту прытью метнулся к краю обрыва. Витька побежал за ним, но споткнулся, потерял равновесие и выпустил поводья.

Как назло, ущелье было совсем рядом. В сторону реки вела каменная тропинка — узкая, пологая, угрожающе нависающая над обрывом. Осел выскокчил на эту тропинку и ретиво поскакал вниз.

Уста Саро, будучи стихийным сибаритом, превратил свой послеобеденный отдых в приятный душе и сердцу ритуал. Каждый день, если позволяла погода, он проводил на балконе какое-то количество безмятежно-созерцательного и счастливого времени — выпивал чашечку правильно заваренного, в густой пенке, кофе и выкуривал трубку крепкого, терпкого на вкус табака.

¹ От «захре маар» — змеиный яд (фарси).

Сегодняшний день, безусловно, исключением не стал. После неторопливой, достойной трапезы — шпинатный суп на курином бульоне, мягкий козий сыр, заправленная топленым домашним маслом отварная картошка, свежего посола, отдающая легким анисовым вкусом капуста и неизменная стопочка тутовой самогонки — уста Саро занял свой наблюдательный пост под тенью обвивающего деревянные подпоры балкона винограда.

Пока кофе медленно остывал, исходя горячим паром, он обстоятельно раскурил трубку, с нескрываемым удовольствием затянулся, подержал во рту горький, щиплющий нёбо и язык табачный дым, откинулся на спинку дряхлого, скрипучего кресла и удовлетворенно выдохнул:

— Пусть слава Твоя будет вечной, Господь-джан!

— Стооооой! — Донесшийся откуда-то из ущелья крик бесцеремонно вторгся в философскую беседу уста Саро с Богом. — Сетооооо, безрогая ты скотина! Кому сказано стоять!

Часовщик заспешил к балконному краю, высунулся угрожающе далеко, по пояс, чтобы разглядеть, что происходит внизу.

В ущелье творилось неладное: петляя неожиданно резвым галопом, по самому краю обрыва летел Сето. На бегу он выписывал непонятные пируэты — высоко вскидывал задние ноги и водил крупом то в одну, то в другую сторону. Верхом на осле, крепко обвивая руками его короткую шею и широко разинув в испуганном крике рот, моталась Девочка. Следом мчался Витька. За Витькой, подцепив за край

длинные юбки и неустанно сыпля проклятиями, ковыляла Тамар.

— Пусть моя земля будет на твоей голове, Сето! — задышалась она. — Вот увидишь, что я с тобой сделаю, негодник!

— А-а-а-а! — орала Девочка.

— Ты, главное, держись, деточка, — причитала Тамар, — я ему, паразиту, последние рога откручу! Вот только догоню — и откручу. Не швыряйся в него камнями! — напустилась она на Витьку. — Он еще быстрее побежит!

— А как мне его остановить? — притормозил мальчик.

— Догони и схвати за поводья! Только осторожно, он, когда не в духе, может больно лягнуть!

Сето тем временем ловко обогнул один вираж узкой горной тропинки и полетел по второму, отвесному. Часовщик испугался: один неверный шаг — и они сорвутся в пропасть. Времени было в обрез, поэтому он набрал полные легкие воздуха и заорал что есть мочи, пытаясь перекричать всех:

— Виктор, мальчик! Она давит Сето на шею, вот он и виляет крупом, пытается скинуть ее. Пусть ослабит хватку.

— Чего?

— На шею она ему давит! Сето задыхается, вот и виляет жопой! — От вальяжности часовщика не осталось и следа.

— Ага! — Витька прибавил скорость, выкрикивая на бегу: — Не дави на шею! Ты ему дышать не даешь! Слышишь? Не дави на шею!

Девочка не разобрала слов Витьки и от страха еще крепче вжалась в шею осла. Испуганный Сето хрипел, взбрыкивал, то прибавлял ходу, то, наоборот, убавлял. Наконец на каком-то счастливом отрезке пути он резко затормозил, скинул свою горе-наездницу в кусты крапивы, а сам, наконец-то освобожденный, полетел вниз, к речке. Витька побежал следом, Тамар же кинулась вызволять из крапивного плена правнучку.

— Вуй,— громко запричитала она,— деточка моя, дай ощупаю тебя. Не убилась?

— Не убилась,— доложились неожиданно звонким и довольным голосом Девочка.— Вот только крапива меня покусала.

— Это хорошо.— Тамар сдернула с головы косынку, протерла руки-ноги Девочки.— Крапива полезная, от ее укуса вреда не будет. Фух,— она согнулась пополам, схватилась за левый бок,— колет-то как. И сердце в горле клокочет.

— А где авоська с едой?

— Там, наверху.

— Сейчас принесу.— И Девочка, словно ни в чем не бывало, убежала вверх.

Тамар проводила ее долгим взглядом, поохала, уселась в траву, встряхнула косынку, накинула на плечи. Вспомнила о часовщике, обернулась. Уста Саро стоял, облокотившись о балконные перила локтями, и смотрел вниз, в ущелье.

— Ну как,— крикнула Тамар,— догнал мальчик скотину?

— Догнал. Стоят внизу, вас ждут.

— Вот ведь осел! Одно слово — осел! Уведу в лес, привяжу к дереву и оставлю. Пусть волки его сожрут.

— Не уведешь.— Уста Саро выпрямился, смущенно крикнул.— Я тебе чего хотел сказать, Тamar. Ты, если в следующий раз соберешься такой марафон бежать, надевай брюки. А то свистела ногами, как молодая девица.

— Тебе больше некуда было смотреть? — рассердилась Тamar.

— А я и не смотрел. Я просто заметил.

— Сарибек!

— Я уже семьдесят пять лет Сарибек. А толку?

— Какой толк от бестолкового?

— Уй, завела шарманку. Обиделась?

— Да ты меня еще обиженной не видел! Так что не нарывайся!

Тamar быстро обвязала голову косынкой, затолкала под причудливый узел седые косы, встала, отряхнула юбки. Демонстративно отвернулась. Платок — старинный, легкий, с длинной шелковой бахромой — струился двумя крыльями по ее спине. Часовщик хотел что-то еще добавить, перевести все в шутку, но не решился — по воинственной позе Тamar было ясно, что разговаривать с ним она не намерена.

— Нани,— вниз по тропинке, размахивая авоськами, летела Девочка,— я твой жакет тоже подобрала!

— Молодец,— Тamar забрала у правнучки припасы,— ну что, сильно испугалась?

— Ага, сильно. Думала — Сето меня в пропасть скинет!

— Пойдем снова твой страх снимать.

— Не пойду я больше страх снимать! Не хочу к знахарке!

— Можно подумать, тебя там ногами били!

— Нани, она такая страшная, даже страшнее, чем ведьма из сказки «Гензель и Гретель».

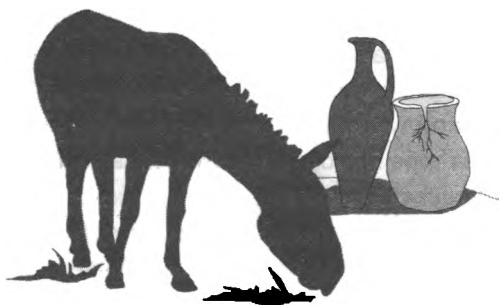
— Скажешь тоже...

Они тронулись в путь, впереди в прыжокку летела Девочка, следом семенила Тамар. Девочка убегала, потом возвращалась, цеплялась за платье прабабушки, заглядывала в глаза — словно каждый раз хотела убедиться, что она рядом. Щебетала неустанно, звонко смеялась. Тамар отвечала сдержанными короткими фразами. Скоро их голоса перекрыл грохот из ущелья — Тавуш сегодня была особенно громка и многоводна. Видимо, где-то высоко в горах, разморенный жарким солнцем, сошел очередной ледник и, подминая под себя камни и деревья, ринулся вниз — в долины, туда, где петляла серебристой змейкой маленькая речка.

Часовщик наблюдал, как скрываются из виду Тамар и ее правнучка. Тамар иногда останавливалась, переводя дыхание, хваталась то за сердце, то за левый бок, а Девочка бежала впереди, волосы развевались на ветру, мелькали коленки и локти — худенькие, острые, и столько было в ней трогательности и беззащитности, что хотелось обнять, прижать к груди и не отпускать.

Скоро они скрылись из виду, ребенок и пожилая женщина, осталась лишь узкая тропинка — рыжая, каменистая, в охровых подпалинах — долгая отметина на плече угрюмого Хали-кара. Кофе давно уже остыл, подменив свой маслянистый блеск седой патиной, потухла трубка, а часовщик все стоял, облокотившись о перила балкона, и наблюдал ущелье.

ЗНАХАРКА ЗАБЕЛ



1

Девочка не обманывала — старая знахарка действительно была страшна как смерть — горбатая, кривоногая, угрюмая. Длинный крючковатый нос, ввалившиеся темные глаза, быстрые и кусачие от шершавой кожи узловатые пальцы.

— Принесла? — спросила она вместо приветствия.

— Принесла.— Тамар развернула бумажный сверток, продемонстрировала кусок телячьей вырезки.— Пойдет?

Знахарка не ответила. Она поднесла мясо к лицу, быстро, по-собачьи, обнюхала его.

— Свежее.

Девочка, вцепившись в рукав прабабушки — когда держишься за взрослого, не так страшно, рассматривала знахарку во все глаза.

— Не бойся,— каркнула та,— я не причиню тебе вреда. Пойдем. Ты только ничего тут не трогай.

Она толкнула тяжелую деревянную дверь, прошла в темную прихожую.

— Не пойду,— зашептала Девочка.

— Она тебе поможет,— успокоила ее Тамар,— не бойся. Пошли.

Девочка потянулась к замысловатой металлической ручке, чтобы прикрыть за собой дверь.

— Не трогай,— не оборачиваясь, проскрипела знахарка.— Сказано было — ничего не трогать.

В прихожей стояли какие-то сундуки — небольшие, но из цельного дерева, внасквозь проржавевшей металлической облицовке. Длинный коридор, ведущий к гостиной, утопал в полумраке — окна были плотно занавешены темной тканью. Гостиная слабо освещалась двумя большими старинными лампами. И пахла — керосином и пылью. Мебели было очень мало — тяжелого темного дерева ларь и стол с тремя разномастными стульями. На стенах висели пыльные пучки сушеной травы, старые медные подносы, какие-то пожелтевшие от времени портреты в темных рамках. Девочка попыталась рассмотреть один, но быстро отвела взгляд — с портрета на нее глядела седая старуха с недовольно поджатыми губами. Огромный, занимающий половину комнаты, ларь был до половины наполнен какими-то сверт-

ками. Каждый сверток был тщательно, крест-накрест, перевязан бечевкой. Напротив дверей в гостиную торчала поставленная на попа крышка ларя. Девочка поежилась — точно так у порогов выставляли крышки гробов, если в доме оплакивали покойника.

Знахарка взяла со стола третью лампу, зажгла фитиль — тот задымился, зачал, замигал неровным светом. По стенам заплясали быстрые нечеткие тени.

— Сглаз? — подала голос Тамар.

— Нет. Керосин плохой.— Старуха села на стул, хлопнула рукой по сиденью второго, обратилась к ребенку: — Иди ко мне.

— Ты не уйдешь без меня? — шепнула прабабушке Девочка.

— Конечно, нет! Как я могу без тебя уйти?

Девочка пошла несмелыми шагами к знахарке. По мере приближения на нее накатывала странная апатия — тяжелел шаг, в ушах шумел гулкий, далекий прибор. Воздух становился плотнее, опалял на выдохе, переливался странными видениями, отзывался шорохами. Свет вокруг лампы окуклился в непроницаемый кокон — незрячий, мутный, словно бельмо на глазу. Девочка замотала головой, наваждение на секунду отступило, но потом накатило вновь. Старуха мерно хлопала рукой по сиденью стула и глядела поверх ее головы остывшим взглядом. Девочка обернулась, чтобы проследить, куда она смотрит. Знахарка, не мигая, глядела на ее прабабушку. По лицу Тамар катились слезы. Она утирала их краем косынки и улыбалась.

— Нани?

— Ш-ш-ш! — Приложила палец к губам знахарка.— Не мешай ей. Иди ко мне. Садись на стул. И положи голову мне на колени. Вот так.

Девочка послушно уселась, неловко изогнувшись, ткнулась лицом в костлявые колени знахарки. И мигом успокоилась — платье старухи пахло точно так, как платье нани,— травами, хозяйственным мылом, дровяной печкой и сушеным кизилом. Страх отступил, словно испарился, уступив место полусну-полуяви. Казалось, она смотрит чей-то чужой, но смутно знакомый сон, где можно взлететь, легко оттолкнувшись от земли, и долго, бесконечно долго парить — до восхода, до последней померкшей звезды, до всполошенного крика первого петуха.

— Сейчас я буду читать заклинание и тихонько колоть тебя в руку булавкой. Вот так. Больно?

Девочка замотала головой. Говорить она уже не могла — ее смаривал сон.

— Чор, вах, брахи эс рехин, кпи халхи карин, халхи чорин, халхи вахин,— быстро зашептала знахарка. Заклинание часто прерывалось длинными громкими зевками. Старуха мелко крестила рот, но бормотания своего не прекращала. Девочка тоже зевала — судорожно, тягучими, долгими всхлипами. А потом уснула — убаюканная мерным шелестом нескончаемых, смутно знакомых слов: — Чор, вах, брахи эс рехин, кпи халхи карин, халхи чорин....

Сон был недолгим, но очень глубоким. Девочка не почувствовала, как знахарка бережно переложил ее голову на сиденье своего стула и встала, зашепестев тяжелой юбкой, как сделала рукой запрещаю-

щий жест Тamar — не подходи! Как долго колдовала над мясом, тыкала в него булавкой, шептала слова на неведомом языке, потом кружила по комнате, останавливалась перед портретами, кланялась каждому. Портреты глядели на знахарку внимательными глазами и словно кивали в ответ.

Весь недолгий Девочкин сон Тamar простояла в углу комнаты, не смея подойти — молчаливая, маленькая, с поникшими руками,— и беззвучно проплакала.

— Ты получила то, что хотела,— дождавшись, пока она отплачет свое, сказала знахарка.

— Да,— кивнула Тamar, вздохнула, улыбнулась, протерла рукавом залитое слезами лицо.— Спасибо тебе.

— Не благодари.— Старуха вручила ей сверток с заговоренным мясом.— Нужно сразу же закопать.

— Хорошо.

Знахарка, не оборачиваясь, кивнула в сторону спящего ребенка.

— Сейчас она проснется.

2

— А что в свертке?

— Твой страх. Она его завернула, перевязала крест-накрест бечевкой и оставила в этом ларе. Теперь он будет храниться у нее. И Гектора ты уже бояться не будешь.

— А что она делает, когда ларь заполняется?

— Есть определенные дни в году, когда можно от этих свертков избавляться. Как она избавляется — я не знаю. Может, сжигает, а может, закапывает. Но я еще ни разу не видела, чтобы этот ларь был заполнен доверху.

— А с мясом что она сделала?

— Заговорила и воткнула булавку, которой колола тебя в руку. Теперь нам надо его закопать.

— А закапывать зачем?

— Вот этого я не знаю. Закопаем, и все. Ты, главное, не убегай далеко вперед, мне тяжело с лопатой идти, да и машины тут разъезжают, опасно.

К перекрестку трех дорог они пошли не коротким путем, а длинным, петляющим. Чтоб не попадаться на глаза деду Девочки — Овакиму. Зять Тамар относился к походам тещи к старой знахарке с большим осуждением.

— Тамар, ты прекращай забивать ребенку голову всяким мракобесием! — ругался он. — То по каким-то сомнительным личностям ее водишь, то в часовню с собой берешь. Верись в Бога — ладно, тебя я переубеждать не хочу. Но ей-то это зачем?

Тамар молча поджимала губы. Спорила с зятем она крайне редко — не хотела расстраивать дочь. Да и любила его всем сердцем — вон какой у Таты муж красавец — высокий, статный, опрятный. Ходит на работу как на праздник: темный костюм, белая рубашка, аккуратный узел галстука, начищенные ботинки. То совещания у него, то поездки на разные съезды. О теще своей Оваким не забывает, с последней командировки привез большой отрез шер-

стяной ткани — хорошей, добротной. Велел сшить платье. Тамар поахала, поблагодарила зятя, обещала сделать, как он велел, а сама обложила отрез сушеной лавандой — от моли, завернула в марлю, чтобы не пылился, и убрала в сундук. Втайне от всех она собирала Девочке приданое — откладывала с каждой пенсии когда пятьдесят копеек, когда целый рубль и, как только набиралась приличная сумма, завязывала деньги в носовой платок и уходила в городской универмаг. Берд был маленьким городком, практически деревней, все друг друга знали, поэтому, завидев тещу работника райкома Овакима Арутюновича, продавщицы доставали из-под прилавков сатиновые вышитые шелком скатерти и кухонные полотенца. Тамар придирчиво разглядывала товар, выбирала что-нибудь одно, долго развязывала платок, пересчитывала деньги...

— Молодые, что они понимают в жизни,— сокрушалась она, убирая в сундук очередную покупку,— в Господа не верят, креститься не хотят, приданое для ребенка не собирают. Разве так можно?

Больше всего Тамар расстраивало пренебрежительное отношение родных к религии. Отовсюду только и слышно было — Бога нет, все это обскурантизм, пережитки прошлого...

— Жизни не знают, законов предков не чтят,— качала головой Тамар,— Ты мудрый, Господь-джан, не обижайся на них, они не ведают, что творят.

За пять лет в сундуке собралось приличное приданое — две большие скатерти, стопка кухонных и банных полотенец, несколько мотков хорошей мохе-

ровой пряжи (свяжет что-нибудь на свой вкус), целый набор разноцветных ниток мулине (вышьет гладью, я потом научу). В отдельном свертке лежало нижнее белье — трусики, две комбинации, одна отечественная, на каждый день, а вторая импортная, югославская, — на особые случаи. Эти особые случаи Тамар отчетливо себе представляла — вот ее правнучка под руку с мужем идет в театр, на спектакль. На ней красивое платье, обязательно приличного, но скромного кроя — подол прикрывает колено, небольшой вырез у горла. На плече болтается маленькая сумочка, ее еще предстоит купить, вон со следующей пенсии Тамар и озаботится. Под платьем — комбинация — невесомая, кружевная, шуршащая. На ногах, так и быть, капроновые чулки.

— Эта молодежь, что она понимает в белье? — цокала она недовольно языком, рассматривая тонкие, невесомые чулки на просвет. — Застудит себе придатки, потом рожать не сможет. Но ведь не отговоришь, упрется и будет носить!

Тамар была стреляным воробьем и придумала на этот случай хитрый ход — чулки с поясом купила, но также приготовила стопку теплого белья — хлопчатобумажные трусы — основательные, с двойной ластовицей — на осень и весну и утепленные панталончики — на зиму. Все равно длинные, достигающие до колена тумбаны с начесом правнучка носить не станет, а вот такими — нежно-розовыми — не побрезгует. Уж Тамар заставит их носить!

Сомнений в том, что она доживет до того счастливого дня, когда правнучка выйдет замуж и засо-

бирается с мужем в театр, у Тамар не возникало. По-другому и быть не могло, Господь обязательно даст ей такую возможность, ведь щедрость Его безгранична и слава Его вечна! Эти молодые, у них ветер в голове, что они знают о Его милосердии!

— Не обижайся на них, и особенно — на Овакима,— просила она у Бога.— Ты ведь знаешь, сколько всего он пережил, обиделся на Тебя, сильно обиделся. Дай ему время, сам все поймет. А когда поймет, прости его, Господь-джан, как Твой Сын простил мучителей своих!

Причина категорического неприятия Бога никакого отношения к партбилету и многолетней службе Овакима в районном комитете не имела. Дело было совсем в другом. Оваким осиротел рано, в пятилетнем возрасте. Родных он потерял во время резни — ворвавшиеся в дом турецкие солдаты зарубили ятаганами отца Овакима, утащили куда-то за дом и долго, невыносимо долго истязали мать. Бабушка Шаракан в самый последний миг успела спрятать внука под своими юбками. Когда ей проломил голову тяжелым прикладом, она, падая, увлекла за собой мальчика. Каким-то чудом турецкие солдаты не заметили ребенка, и он все это время пролежал, прижавшись к ногам бабушки, прислушиваясь к доносящимся из-за дома нечеловеческим крикам матери. Захлебываясь, невыносимо тяжело звонили колокола Большой церкви — обезумевший звонарь пытался предупредить людей об опасности, а может, взывал к Всевышнему — с мольбой о помощи. Скоро колокольный звон оборвался, следом умолкла мать — резко, на

выдохе. Но спасительной тишины не наступило — в городе шла чудовищная, кровавая чистка.

К вечеру, когда все утихло, когда на мертвый город надвинулась зловещая, слепая мгла, Шаракан очнулась, застонала:

— Оваааким? Ты здесь?

Оваким зашевелился, выполз из-под юбок бабушки, снял архалук — аккуратно, как учила мама, чтобы не рвать горло,— лао¹, берешься крест-накрест руками за передний край и, помогая себе локтями и плечами, стягиваешь через голову, вооот так,— он снял архалук, скомкал его, подложил под голову бабушки — туда, откуда медленными каплями сочилась кровь. Тоненько заскулил:

— Тати, ай тати. Папу убили. Маму убили. Тебя тоже убили?

— Да,— отозвалась бесцветным голосом Шаракан,— да.

В тот страшный день Оваким отрекся от Бога. Нет, он не винил Его в том, что случилось, не таил обиды, не выпрашивал, где Тот был, когда надрывались колокола Большой церкви. Он просто вычеркнул Его из своей жизни — безвозвратно и навсегда.

3

Перекресток трех дорог находился в самом оживленном месте городка — в центральной его части.

¹ Сын, на западноармянском.

Но старые бердцы обходили его стороной — раньше тут стояла каменная церковь, которую в 1934 году снесли большевики. Спустя время на том же месте они возвели здание милиции. Нелепое, низкорослое, в редком вкраплении мутных окон строение ничего, кроме презрения, у стариков не вызывало.

Обычно Тамар обходила перекресток за три версты, но сегодня пришлось сделать исключение — на что только не пойдешь ради правнучки! Переходить на ту сторону, где раньше стояла церковь, она не стала, но несколько раз резко тряхнула растопыренной пятерней. Девочка поежилась — это был очень нехороший жест, так проклинали или желали чьей-то смерти.

— Нани, ты чего?

— Ничего этим иродам, которые церковь снесли, не будет, зато я душу отведу.— Тамар взяла лопату в правую руку, сделала несколько круговых движений кистью левой.— Рука затекла. Ты обойди меня и иди с другой стороны. Только не прикасайся к лопате, тебе нельзя.

Шли они долго, обе порядком подустали. Городок был маленький, на первый взгляд — с пол-ладони, но пешим ходом его было не обойти — каменистые дороги, нескончаемые заборы с низко свисающими ветвями фруктовых деревьев — чтобы пройти вдоль такого забора, приходилось петлять по тротуарам, а иногда выходить на проезжую часть. Несколько раз Тамар останавливали знакомые — просто поздороваться и узнать, куда это она такая противоречивая — в шелковой косынке, длинном крахмальном

фартуке и с лопатой — собралась. Тамар торопливо отвечала на приветствия и шла дальше, объясняя всем, что вступать в долгие разговоры ей недосуг — важные дела.

— Может, помочь тебе лопату донести? — предлагали ей.

— Не надо, — отрезала Тамар, — я сама.

— А лопату почему не даешь донести? — спросила Девочка.

— Я забыла спросить у знахарки, можно ее передавать кому-то еще или только тебе нельзя к ней прикасаться, — пропыхтела Тамар. — Она ведь над лопатой тоже пошепталась.

— Зачем пошепталась?

— Мне откуда знать? Раз пошепталась, значит, надо.

— Нани, а откуда ты ее знаешь?

— Я всех тут знаю, чай не маленькая уже! Не отвлекай меня разговорами, силы и так на исходе.

Наконец они добрались до перекрестка. Тамар приложила ладонь к глазам, выглядывая кого-то на той стороне улицы, громко прочистила горло, крикнула:

— Карапет, ай, Карапет! Каро!

Девочка вытянула шею, чтобы рассмотреть того, к кому обращалась прабабушка. В тени высокого клена переминался с ноги на ногу молоденький постовой — в новой, с иголки, форме и фуражке. Назов Тамар он откликаться не стал, только дернул плечом и сильно покраснел.

— Иди сюда, — топнула ногой Тамар, — чего смотришь?

Постовой раздумывал секунду, потом махнул рукой и перебежал дорогу. Девочка заворуженно наблюдала, как на его груди, в такт бегу, мотается серебряный свисток.

— Зачем вы меня Карапетом зовете? — обиженно прогундосил постовой, в длинном прыжке преодолевая расстояние от края тротуара до того места, где, облокотившись на черенок лопаты, стояла Тамар.

— Здравсьте пожалуйста! А как тебя звать?

— Товарищ милиционер!

— Товарищ милиционером пусть тебя мать зовет, ясно? Кстати, как ее давление?

— Скачет. Бабушка Тамар, мне на посту надо находиться. Движение регулировать.

— Вот как раз затем я тебя и позвала. Будешь движение регулировать. Мне нужно небольшую яму выкопать и кусок мяса зарыть. Надо, чтобы ты машины от меня отгонял.

Карапет запылыхал щеками.

— То есть как это?

Вместо ответа Тамар шагнула на проезжую часть. Старый «запорожец», взвизгнув тормозами, вильнул боком и объехал ее стороной.

— Мать, ты смотришь куда идешь? — высунулся в окно усатый водитель.

Тамар даже оборачиваться на него не стала.

— Стой где стоишь, не приближайся ко мне, — велела она Девочке и принялась копать.

Карапет махнул рукой, сдвинул фуражку на затылок и, отчаянно жестикулируя и пронзительно свистя, принялся регулировать движение. Водители

притормаживали и аккуратно объезжали место, где ковырялась лопатой Тамар.

Земля на проезжей части была плотно утрамбована колесами машин, поэтому копать было сложно. Но Тамар не сдавалась.

— Или я тебя, или ты меня,— приговаривала она, громко хекала и, наваливаясь худеньким плечом на черенок лопаты, ковыряла землю. Через какое-то время дело пошло легче — под твердым заезженным настом обнаружился податливый мягкий слой почвы. Девочка с замиранием сердца наблюдала, как прабабушка роет яму, и вздрагивала каждый раз, когда на перекрестке появлялась новая машина.

— Вы только хорошо защищайте нани, ладно? — не выдержав, обратилась она к постовому.

— Делаем что можем,— напустил тот туману и крикнул, срываясь на фальцет: — Люди, расходитесь, чего вы тут не видели?

На тротуаре собралась небольшая толпа, человек десять прохожих. Прислушиваться к словам милиционера они не стали. Все с интересом наблюдали за Тамар.

— Заговоренное мясо закапывает? — наклонилась к Девочке какая-то высокая полная женщина.

— Да. Страх мне снимает.

Тамар на зевак не обращала внимания. Она выкопала яму, положила туда мясо и закидала его землей. Прошлась несколько раз туда и обратно, выравнивая землю туфлями.

— Ну вот,— вздохнула удовлетворенно,— остальное доделают проезжающие машины. Скоро и следа не останется от того места, где мы зарыли мясо.

Она прислонила к плечу лопату, сдернула с головы косынку и утерла пот с лица.

— Идите на тротуар, бабушка Тамар,— взмолился Карапет.

— Иду уже, сынок,— покладисто отозвалась Тамар,— спасибо тебе, выручил.

Прохожие пошли каждый по своим делам. Осталась только высокая женщина. Она забрала у Тамар лопату, подала руку, помогая взобраться на высокий борт тротуара.

— Кто заговаривал страх? — спросила она шепотом.

— Забел.

— А меня пять лет назад Аничка заговаривала.

— От чего?

— От бесплодия.

Тамар накинула на плечи платок, забрала у женщины лопату. Пожевала губами.

— Не помогло?

— Нет.

— Ты, главное, верь и надейся. У Бога много дверей. Если Он закрывает одну, то обязательно открывает другую.

Женщина запереливалась глазами, наклонилась к Тамар, что-то зашептала невнятной скороговоркой. Девочка робела подойти ближе, но наострила ушки. Правда, ничего, кроме туманных «у вас... у вас...», разобрать не смогла. Тамар покосилась на правнучку, прервала словопоток женщины:

— У каждого свой путь. И свой крест. Главное — не отчаиваться.

— Хорошо,— мелко закивала та, повернулась и пошла, прижимая к груди сумку. Слишком высокая, слишком крупная, она ступала медленно и тяжело, словно несла на плечах непомерную ношу. Тамар проводила ее долгим взглядом, вздохнула, покачала головой. Потом вспомнила о Карапете, резко обернулась:

— Карапет!

Обрадованный тем, что его оставили в покое, постовой давно уже перебежал улицу и снова переминаясь с ноги на ногу под тенью клена. От окрика Тамар он заметно занервничал, снова покраснел.

— Карапет,— не обращая внимания на его смущение, продолжила перекрикивать тарахтящее сельское движение Тамар,— передай своей матери, пусть делает компрессы! Из разбавленного яблочного уксуса! Обязательно хлопковой тканью — другая не пойдет. Только пусть прикладывает компрессы к пяткам, а не к голове! Запомнишь?

Карапет энергично закивал.

— Пошли,— обратилась Тамар к правнучке,— лопату вместе понесем, теперь уже можно мне помогать.

— Нани, а что тебе та женщина сказала? — Девочка повисла на черенке лопаты, пошла медленным шагом, принаравливаясь к скорости прабабушки.

— Детей у нее нет, а она очень хочет. Я и сказала ей, чтобы верила и надеялась.

— А почему у нее нет детей?

— Небось теплого белья не носила, вот и застудила себе живот. В холод обязательно надо носить теплое белье. Понятно?

— Понятно. Ты себе небось ничего не застудила, поэтому у тебя много детей, целых пять!

Тамар улыбнулась, пригладила спутанные волосы правнучки:

— Ты ж моя умница. И красавица!

— А я на тебя похожа?

— Нет, ты на Петроса похожа. Чего приуныла, у тебя очень красивый отец.

— Знаю. Просто я хотела на тебя быть похожей. У тебя вон какие косы длинные.

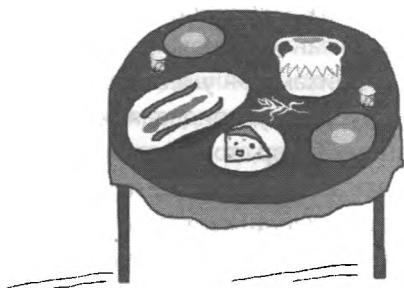
— Косы можно отрастить. И потом, я тебе скажу по большому секрету, только ты никому не говори. Я бы тоже очень хотела, чтобы ты была похожа на меня. Просто Бог решил, что тебе лучше быть похожей на отца.

— Почему?

— А я знаю? С Богом не спорят. Раз решил, значит, так и надо.

Они пошли вверх по длинной, вымощенной камнем улице. Улицу эту собственноручно вымостил покойный муж Тамар — Амаяк. У него когда-то был небольшой участок у реки, такой каменистый, что этого камня хватило на постройку двух домов. А потом еще на целую улицу осталось. Амаяк колот камни тяжелым молотом, отсекая лишнее, перевозил на телеге в городок и сначала один, а потом с помощью соседей приводил в порядок дорогу к холму. Это была единственная вымощенная булыжником улица Берда. Она тянулась вверх, к макушке Хали-кара, и обрывалась на подступах к большому ельнику. Амаяк очень любил этот ельник, проводил там много времени — ухаживал за деревьями, подкармливал бе-

лок и ежей, следил за чистотой. Его не стало ровно в тот год, когда умерла старшая сестра Девочки,— Амаяк оплакивал правнучку так, как не оплакивал никого и никогда — ни родителей, ни свою преданную и любимую Антарам, ни замученного до смерти двадцатилетнего брата,— в сравнении с такими потерями смерть больного восьмимесячного младенца казалась счастливым исходом, но Амаяк не умел или не хотел с этим смириться, он ушел следом за правнучкой, через неделю — колот дрова, замахнулся топором и упал, сраженный невыносимой болью в сердце. Каждый год, когда ели обвешивались крупными нежно-салатовыми шишками, Тамар собиралась на вершину Хали-кара, гуляла по ельнику, разговаривала с деревьями, обрывала несколько шишек, приносила домой, оставляла одну себе, другие отдавала Вере, Вера расставляла их по дому — на полках, на подоконниках, они лежали там долго, до следующего лета,— живые, пахнущие смолой и еловым духом, большие, с мужской кулак, с сердце прадеда шишки, привет из безмолвного мира навсегда покинутых надежд.



1

Когда они добрались до подножия ущелья, Сето встретил Тamar с таким потерянным видом, что у нее язык не повернулся отругать его. Осел понуро всхлипывал, мелко вздрагивал ушами и куцым побитым молью хвостом. Витька гладил его по шее, успокаивал.

— Вот старый дурень! — покачала головой Тamar.— А если бы с ребенком случилась беда? Что бы я ее родителям сказала?

— Но ведь обошлось! — заступилась за Сето Девочка.

— Обошлось? Тогда, может, еще раз прокатишься?

— Еще чего!

— То-то!

Тамар погладила осла по холке:

— И-иих, барабанная ты шкура! Пошли!

Когда Тамар выходила замуж за Амаяка, все ее скромное имущество: два платья, две косынки, кривобокий медный чан и несколько стеклянных стаканов с подстаканниками — уместилось в небольшой хурджин¹. А к хурджину, придавая бесспорной весомости приданому Тамар, прилагался тогда еще молодой Сето. Амаяк так и забрал ее из дома — на осле: перекинул через плечо хурджин, посадил молодую жену в седло, взял осла под уздцы и привел к себе. На долгие годы Сето стал незаменимым помощником по хозяйству — Амаяк возил на нем с участка воду, песок и камни, ездил в Казах и Иджеван — по бесконечным делам, часто уступал осла родственникам и соседям в посевной сезон. Сето безропотно таскал на себе тяжелый плуг, вскапывая влажную после сошедшего снега, скупую на урожай высокогорную землю. Он был покладистым и спокойным ослом и лишь к старости стал капризничать. Иногда мог заупрямиться и не выходить из хлева или даже лягнуть, если его доставали. Но потом всегда одумывался и долго кряхтел — каялся.

Вот и сейчас, тяжело вздыхая, он понуро поплелся за своей хозяйкой. Следом, держась от него на почтительном расстоянии, пошли дети.

¹ Хурджин – разноцветная сумка из ковровой ткани, состоит из двух «карманов-хранилищ». Перекидывается через плечо.

— Не ушиблась? — спросил Витька.

— Нет. Только крапива покусала.

— Чешется?

— Ага. Нани сказала — надо речной водой укусы промочить. Тогда быстрее пройдет.

Путь их лежал к фруктовому саду, который когда-то принадлежал Амаяку. Зеленый, обсаженный по периметру кизилом, орешинной, яблоневыми и айвовыми деревьями участок находился на правом берегу реки, сразу за мостом. Раньше это был ни к чему не пригодный клочок земли, но Амаяк очистил его от камней, навез благодатной почвы, посадил деревья. За десять лет каторжного труда превратил его в зеленый сад. Он проводил там каждую свободную минуту — поливал, ухаживал за деревьями, косил траву. Возню с землей искренне считал отдыхом. Амаяк был сильным и могучим крестьянином — всю жизнь проработал на лесопилке, валил огромные, в несколько человеческих обхватов, деревья. После войны, из-за полученного в бою тяжелого ранения, не смог вернуться на прежнее место работы. Пришлось устраиваться продавцом в продуктовую лавку. День Амаяк проводил в крохотном, полусыром, плохо освещенном помещении магазинчика. Ему там было тесно и неуютно, донимало безделье — приученный с детства к тяжелому крестьянскому труду, он не представлял, как можно дни напролет сидеть за прилавком, перекидываясь дежурными фразами с редкими покупателями и отпуская им продукты. Чтобы не свихнуться от праздности, Амаяк скрашивал время

чением. В свое время он с отличием окончил четыре класса сельской школы, прекрасно рисовал, обладал хорошим музыкальным слухом. Каждый год из Тифлиса в Берд приезжали люди, чтобы забрать талантливых детей в Нерсисяновскую семинарию. Они сразу отобрали Амаяка, когда он окончил школу, — уж больно им приглянулся этот умный, любознательный и прилежный мальчик. Но у отца Амаяка, Василия Меликяна, денег на обучение младшего сына не было — те малые средства, которые он зарабатывал тяжелым кузнечным трудом, уходили на старшего, Гарегина, учившегося к тому времени в Бакинском университете. Поэтому он отказался отдавать им младшего сына. Амаяку ничего не оставалось, как согласиться с решением отца. Он не роптал — кому-то из сыновей нужно было оставаться дома, чтобы помогать со скотом и работой на кузне. Тифлисцы не сразу смирились с отказом Василия, они несколько раз, в надежде переубедить его, приходили в кузню, впрочем — всегда тщетно. Отчаявшись, перед самым своим отъездом попросили священника тера Согомона поговорить с кузнецом. Тер Согомон согласился со скрипом — отношения с Василием у него были испорчены давно и бесповоротно. Василий Меликян ни в грош не ставил авторитет церкви — отказывался платить положенную десятину, игнорировал воскресные службы, а тера Согомона при встрече обзывал побирушкой. Поэтому, столкнувшись с деревенским кузнецом на улице, священник предпочитал, не поднимая глаз, про-

ходить мимо или сворачивать за угол. Ссориться с Василием он не хотел, ведь этот безбожник — надо же было такому случиться — приходился ему двоюродным братом.

— Кровь не вода,— рассуждал, призывая себя к смирению, тер Согомон,— Господь ему судья.

Конечно, ничем хорошим визит священника не закончился. Василий даже не пустил тера Согомона на порог своей кузни.

— Иди, откуда пришел,— вышел он навстречу священнику с кузнечным молотом наперевес.

— Если бы не будущее твоего сына, я в твою сторону даже не посмотрел бы,— не остался в долгу тер Согомон.

— Вот и не смотри, чего пришел?

— Василий, у тебя остался большой ковер, тот, который соткала твоя мать, царствие ей небесное. Я его помню с детства.

Василий хмыкнул, поставил молот наискосок, перегораживая вход в кузню. Прошел к деревянному забору, распахнул калитку, показывая всем своим видом, что визит священника затянулся.

— Если его продать,— невозмутимо продолжал тер Согомон,— можно оплатить год обучения Амаяка. Я сходил к Левону беку, поговорил с ним. Он готов часть расходов по обучению твоего сына взять на себя.

— Левон бек мне шесть рублей задолжал,— сложил руки на груди Василий.— Попросил выковать кинжал, а за работу не расплатился. С чего это он будет оплачивать обучение моего сына?

— Забыл, наверное. Ты же знаешь богатых людей. Для них шесть рублей — что медный грош. Сходи к нему, напомни о долге.

— Стану я унижаться!

— Я тоже могу помочь. Денег у меня немного, но тридцать... или даже пятьдесят копеек в месяц я могу высылать Амаяку.

— Дереник,— Василий намеренно назвал священника мирским именем, знал, что он этого на дух не переносит,— иди отсюда подобру-поздорову. Отрекся от семьи, ушел в церковь, вот и служи там. А в наши дела не суйся.

День был беспокойным, хмуро-облачным. Пахло сыростью и скорым дождем. Широкие рукава сутаны тера Согомона, поддетые ветром, то вздувались крыльями, то обратно опадали. Большой, тяжелый наперсный крест качался на груди маятником. Отчаявшись унять беспокойную пляску креста, священник сложил на груди руки. Василий нахмурился, отвел глаза — указательный и средний пальцы тера Согомона имели ту же форму, что и его пальцы,— они были немного изогнуты и глядели кончиком ногтя не прямо, а вбок.

Священник вздохнул, покачал головой, медленно пошел к калитке. Перед тем как выйти, сделал последнюю попытку:

— Ребенка жалко, Васо. У него такая светлая голова — весь в нашего деда...

— Не доводи дело до греха, Деро,— перебил его с раздражением Василий.— Уходи.

О своем разговоре со священником отец Амаяку не обмолвился. Но, к большому удивлению и радости сына, разрешил ему два раза в неделю ходить к теру Согомону — за книгами и занятиями математикой и историей.

— Как только Гарегин отучится и устроится на работу, отправлю тебя к нему. Вместе мы твое обучение выдюжим,— обещал он Амаяку.

Василий сдержал свое слово: когда старший сын с блеском окончил Бакинский университет и, по протекции нефтепромышленника Степана Лианозова, устроился преподавателем в гимназию, он отправил к нему Амаяка.

— Кто бы мог подумать, что у меня, простого деревенского кузнеца, оба сына станут учеными людьми,— радовался он, провожая сына на станции Акстафа. Амаяк молча обнял отца. Он не узнавал его — всегда уверенный в себе, могучий, немногословный и жесткий — отец суетился, уводил взгляд в сторону, дрожал голосом... Двадцать верст горной дороги до железнодорожного вокзала они проделали почти за сутки — на старой дедовской телеге. Теперь отцу одному возвращаться в Берд.

— Я не подведу тебя,— обещал ему на прощание Амаяк.

— Напиши, как только доберешься.

— Хорошо.

Первое письмо из Баку пришло через два месяца. Братья прислали отцу фотокарточку. Гарегин — ухоженный, худощавый, красивый, в строгом сюртуке, сидел на стуле, а разодетый в гимназическую форму

Амаяк стоял рядом, положив руку на плечо брата. Оба улыбались. Василий долго разглядывал фотокарточку, перечитывал надпись: «Папе — от сыновей Гарегина Меликяна и Амаяка Меликяна. На вечную память. Баку, 1918 годъ».

— Ну наконец-то они вместе,— вздохнул Василий.

Спустя месяц в Баку случились чудовищные армянские погромы.

Гарегина убили нечеловечески жестоко — избили до полусмерти, долго пытали, а потом кинули в яму с мазутом. Амаяка спас бывший однокурсник брата, Керим-хан. Он отбил его у толпы погромщиков, увез в загородный дом отца. Потом, когда в городе стало относительно безопасно, Керим-хан вывез его на железнодорожный вокзал. Долго плакал, просил прощения за то, что не уберег Гарегина. Амаяк, как ни старался, не смог выдать из себя ни слова — да и что тут скажешь. Он молча обнял своего спасителя и поднялся в вагон.

Пока Амаяк находился в пути, весть о погромах и гибели сыновей дошла до дома. Убитый горем Василий замкнулся, ушел в себя. К возвращению Амаяка оказался не готов, даже не узнал его — давно уже похоронил обоих сыновей там, в беспокойном Баку. Амаяку иногда казалось, что отец живет в каком-то другом, пятом измерении, и в этом измерении ему не радостно и не безмятежно, а наоборот, суетно и беспокойно. словно в ожидании на вокзале — кругом толпы народа, снуют грузчики, шумят пассажирские и товарные поезда, уезжают одни люди, приезжают другие, а твой маршрут никак не объявят. Отец плохо

спал, круглые сутки проводил на кузне — дома ему было неприятно и страшно. Амаяк несколько раз пытался вывести его на разговор, но ничего не получалось — Василий или раздражался и скандалил, или же угрюмо отмалчивался. Он не замечал ничего вокруг — ни свадьбы сына, ни рождения внучек. Так и ушел, ни с кем не попрощавшись, — одинокий полубезумный старик, не простивший себе того, что случилось с сыновьями.

В послевоенные годы было невыносимо голодно, казалось — голодней, чем в войну. Урожай на клочке земли у реки никогда не созревал — его подворовывала вечно голодная детвора. Яблони обрывали сразу, потом пропадал кизил и фундук, а вот айва держалась долго — иногда до поздней осени. Но в ноябре пропадала и она — лишь на макушках деревьев, там, куда не могли добраться дети, оставалось несколько некрупных, оранжево-желтых, терпких на вкус плодов. Амаяк не роптал, не ругался, не пытался вычислить воришек — кругом стояла такая нищета — хоть волком вой. Черные кирпичики хлеба — в народе его почему-то называли «клуч» — привозили в крепко заколоченном, смахивающем на гроб ящике. Повозку с хлебом сопровождала вооруженная конная милиция. Черные, тяжелые, несъедобные кирпичики расходились в считанные минуты. Хлеба не всегда хватало, поэтому в очереди случались ссоры и драки. Конная милиция разгоняла людей выстрелами в воздух — Амаяк с горечью наблюдал, как расходятся, возмущенно причитая, женщины, как угрюмо переругиваются с милицией мужчины.

Многие брали продукты в долг — до получки. Амаяк завел специальную долговую тетрадь, куда аккуратно записывал фамилию должника и сумму, которую тот обязывался до конца месяца внести в кассу магазина. Напротив суммы стояла подпись должника. Иногда долг за этот месяц приходилось переносить на другой — то похороны, то нищая, но свадьба, то детей в школу собирать. Он всегда шел навстречу людям — да и как не пойти, глядя, какая кругом беспросветная нищета?

Очереди за хлебом и молоком выстраивались с вечера. Каждый селянин приходил со своим камнем. Люди выкладывали их в шеренгу у входа в магазин, на каждом камне — отметина владельца, и расходились по домам. К закрытию магазина края каменной шеренги было не разглядеть. Амаяк знал все эти камни в лицо. Вон тот, с крестом на шершавой макушке, принесла Анико — старшая дочь священника тера Согомона. Тер Согомон, неумело орудуя молотком и зубилом, собственноручно высек этот крест. Он прожил долгую и достойную жизнь, сто два года, умер в 1950-м. После его ухода Анико не станет выкидывать этот камень с выбитым кривеньким крестом и единственное, чего попросит у детей перед смертью, — положить его с собой.

Большой, с продольной неглубокой трещиной камень — темно-серый, в желтых прожилках — принадлежал семье Трусиканц Григора. Григор и его братья были из рода Меликсетян, но все называли их Трусиканц. Отец Григора, Анатоли Меликсетян, был просвещенным человеком, много читал, много

знал, модно одевался. Он первым из бердцев надел трусы на резинке — остальные по старинке «подпоясывали» белье суровой нитью или же обрывком веревки. Бердцы всегда были скептически настроенными, махрово-провинциальными людьми, держались своих традиций как чего-то абсолютно незыблемого. И обладали весьма специфическим чувством юмора и крепкой памятью. О характерных особенностях односельчан Анатоли Меликсетян почему-то позабыл и неосторожно растрезвонил о своих трусах на весь Берд. За смелый поступок отца суждено было отдуваться сыновьям и внукам — отныне и во веки веков все потомки Анатоли носили гордое прозвище Трусиканц.

Вон тот, кривобокий, весь в налете серого лишайника камень принадлежал Тушкинанц Любе. Отец Любы, Закар Атоян, отчаянно картавил, а в волнении путал звуки. Однажды его вызвали в школу — поговорить о поведении сына, который упорно не хотел учить наизусть стихи. По программе как раз проходили Пушкина, поэтому учитель русской литературы, дабы придать разговору веса, делая многозначительные паузы и глядя поверх очков в переносицу Закара, щедро сдабривал свою речь цитатами из стихов поэта. Закар плохо понимал по-русски. Он стоял перед учителем навтыяжку, переминался с ноги на ногу, мял в руках картуз и ждал, когда его отпустят, чтобы вернуться домой и старательно отлупить ленивого сына палкой для выбивания шерсти. Но учитель в тот день был особенно многословен — он хватал с полки то один, то другой учебник, тряс перед носом Закара,

а потом переходил на непонятный тому русский и, напирая на фамилию поэта, декламировал отрывки из «Онегина».

— Кхм! — не вытерпел, наконец, Закар.— Тушкина, говорите, надо учить? Выучит, уж я вам обещаю!

Односельчане, конечно же, радостно подхватили оговорку и стали называть Закара Тушкиным. А всех его потомков — Тушкинанц.

А вон тот камень с меткой масляной краски на боку принадлежал уста Сарибеку. Уста Сарибек был репатриантом второй волны. Воодушевленный победой над гитлеровской Германией, Сталин вознамерился отбить у Турции территории, которые уступил ей Ленин. Отвоёванные земли предполагалось заселить армянами, бежавшими отсюда в годы резни. Поэтому сразу после окончания войны в Советскую Армению прихлынула волна заграничных армян. Людей временно расселяли по деревням и селам, обнадеживая обещанием, что когда-нибудь они вернутся в свои утерянные дома. Но планам Сталина не суждено было сбыться — к тому времени, когда в Закавказье стали стягиваться советские войска, ситуация в мире кардинально изменилась, так что ни о какой новой войне не могло быть и речи. И сотне тысяч репатриантов ничего не оставалось, как прирастать корнями там, где их расселили, ведь вернуться на Запад они уже не могли — началась холодная война, и советские границы захлопнулись на замок.

В Берде жило пятнадцать репатриированных из-за границы семей. Одни переехали из Европы и

США, другие — из Ирана, Сирии и Ливана. Первое время им приходилось очень тяжело — они бегло говорили на западноармянском, английском, французском, греческом, персидском, турецком и арабском, но слабо владели восточным армянским, а уж бердский диалект не понимали вовсе. Местное население помогало им как могло — учило перекапывать огород и сажать картошку, заготавливать на зиму припасы, штопать изношенное до дыр белье и возиться с домашней птицей. Амаяк жалел репатриантов всем сердцем — они напоминали ему ослепших и оглохших от контузии раненых. Растерянные и неуверенные, они жили словно на ощупь — везде немного чужие, везде не совсем не свои.

К закрытию магазина каменная очередь тянулась вдоль узенькой улицы до самого ее края и, завернув налево, пропадала за поворотом. Амаяк шел мимо выстроенных шеренгой камней и узнавал в каждом своего односельчанина. Эта немая очередь была страшнее той, утренней, шумной, когда люди, толкаясь локтями, под грозные окрики и выстрелы конной милиции рвались за хлебом. Безмолвная и бесстрастная каменная очередь казалась неким перевалочным пунктом — между жизнью и смертью — и отличалась от кладбища лишь тем, что за каждым надгробием значился живой, а не мертвый человек. Амаяку было неловко оттого, что в этой очереди не было его камня, — будучи продавцом, он имел возможность заранее отложить полагающиеся его семье полтора кирпи-

чика хлеба. Он утешал себя мыслью, что каждый на его месте поступил бы ровно так же — не оставлять же детей без пропитания. Семья у Амаяка была большая — жена, три старшие дочери — Тата, Шушик и Кнарик, два младших сына-погодка — Сергей и Жора, у Таты уже своя семья — муж Оваким, сын Петрос. Эти несчастные полтора кирпичика черного, тяжелого, отдающего сыростью и плесенью хлеба целиком уходили детям. Взрослые перебивались чем могли — толчком из картофельных очисток, отваром из пшеничной шелухи. Да и то — поделишься с детьми, оставишь себе совсем чуть, а они бегают кругом, заглядывают тебе в тарелку. Вот и приходилось и эту малость делить на всех — одна ложка мне, другая тебе, третья тому. Иногда, если везло с продуктами, позволяли себе роскошь — варили суп «путрук» — в кипящей воде растворяли немного муки, добавляли две-три головки мелкого лука и пол-ложки букового масла. Не наешься, так хотя бы горячего похлебаешь.

Особенно тяжело приходилось в феврале — марте — скудных припасов, которые колхозники получали за свои трудодни, хватало ненадолго. Выживали благодаря урожаю, который получали с садов-огородов. Да и то раз на раз не приходился — несколько лет назад случился такой неурожай, что пятая часть села за зиму полегла. Первыми ушли старики, следом — дети. К тому времени, когда наступила весна и пошла первая зелень — крапива, просвирняк, — деревенское кладбище увеличилось почти в два раза.

С детьми очень выручала пратеща — старенькая Саломэ. Как только сходил снег, она забирала их с собой в горы. Диву давались, как она с ними справлялась — маленькая, худенькая, согбенная. Улыбалась беззубо, лицо сморщенное, с ладошку. Ходила в платке, повязанном на манер карабахских армян, — он обязательно прикрывал лоб и подбородок. «Иначе турки украдут», — объясняла она. Дети смеялись: нани Саломэ, да кто тебя украдет, ты же совсем старенькая. И турки нас уже не достанут — воооон какая у нас теперь крепкая граница.

— В молодости я была очень красивой, — улыбалась Саломэ, — красота ушла, а привычка повязывать платок так, чтобы он закрывал половину лица, осталась.

Жили в обычной землянке — каркас деревянный, треугольный, покрытый дерном. Если вдруг дождь — а в горах он бурный, протяжный, неумный — дерн протекал, изливался грязными струями. Дети спали вповалку, накрывшись тяжелым шерстяным одеялом. Чесались жутко — донимали вши. Саломэ затапливала тонир, вытряхивала одежду — вошки так и трещали в огне. Оставляла на ночь одежду в остывающем тонире — дезинфицировала.

У пратеши была красная безрогая корова — Марал. Она и спасала детей от голода. Своевольная была корова, упертая. Могла намеренно опрокинуть ведро с молоком. Главное — дожидалась, пока Саломэ ее подоит, а потом переступала ногами таким образом, что задевала ведро и опрокидывала его. Амаяк однажды стал свидетелем того, как пратеща

отчитывает свою корову,— она топталась рядом, замахивалась на нее — но ударить не решалась.

— Марал! — охала она.— Ну что ты за вредная скотина такая! Ни росту в тебе, ни красоты. Сама маленькая, кургузая, молока даешь три капли. Пусть у тебя вымя отсохнет, Марал! Чем я буду детей кормить?

Марал обиженно замычала в ответ. Пратеща покачала головой, ушла, побродила по двору, вернулась, обняла корову, заплакала:

— Марал-Марал! Ты ж моя умничка! Ты ж моя красавица! И глаза у тебя навывкате, и сама ты высокая, стройная, и молока даешь много. Никогда больше не опрокидывай ведро, Марал-джан. Детям нечего есть, с голоду помрут — что я внучке своей скажу?

Марал горько замычала в ответ.

Амаяк, молча наблюдавший эту сцену, ушел за землянку, долго курил, давясь дымом и горечью махорки, хмурился.

— Дед, а дед,— трехлетний Петрос вскарабкался ему на колени, обнял за шею,— ты чего это тут сидишь, совсем одинокой, как будто сиротиночка?

Амаяк обнял внука, прижал к себе — мальчик был такой худющий, что под рубашкой прощупывались все позвонки. Шершавая ткань одежды натерла на ключице небольшой волдырь. Амаяк вывернул ворот рубашки, растер в руках — вроде гладко, ни одного комочка клея. Тата шила ребенку рубашки из старых школьных карт. Когда карты изнашивались вдрызг, она выпрашивала их у коллеги-исторички, распарывала матерчатую основу, хорошенько ее

простирывала, чтобы смылся клей, и шила одежду. У Петроса кожа была нежная, капризная, раздражалась от любой царапины. И глаза у него, как у погибшего в Баку дяди, — большие, зеленые, в желтую крапушку, и макушка такая же, как у него, — с двумя завитками волос, примета такая — два раза женится, приговаривал Василий и гладил старшего сына по этим завиткам. Ни разу не женился.

Амаяк поцеловал Петроса в макушку, улыбнулся:
— Пока вы есть у меня, я не сиротиночка.

После работы он обязательно заглядывал на свой участок. Возился там до наступления темноты, подправлял деревянный забор, косил траву, поливал деревья. Амаяк любил этот клочок земли всей душой. Только здесь, среди фруктовых деревьев, под шум горной речки, под медовый стрекот цикад, вдыхая сладко-влажный запах взрыхленной почвы, он ощущал себя по-настоящему счастливым человеком. Иногда, правда, крайне редко, он думал о смерти — отстраненно, смиренно. Амаяк просил ее лишь об одном — прийти за ним сюда, в этот фруктовый сад. Пусть он уснет под сенью яблони, той, кривенькой, что растет почему-то вбок, в сторону реки, обиженно отвернувшись от остальных деревьев, пусть он уснет под этой яблонькой и проснется там, где его давно уже ждут родные — рано ушедшая мать, отец, Гарегин, его преданная и любимая Антарам... Ангел смерти, наверное, сидел где-то рядом, читал мысли Амаяка и согласно кивал головой в светлом нимбе — непременно, Амаяк, все так и будет. Но жизнь распорядилась совсем по-другому.

Однажды Амаяк неосторожно оставил долговую тетрадь на прилавке, а кто-то из односельчан унес ее с собой. Он спохватился перед самым закрытием магазина, долго и методично обыскивал каждый закут помещения — никак не хотел поверить, что тетрадь могли украсть. Просидел в магазине до поздней ночи, наивно надеясь, что вор одумается и вернет ее. Следующим утром вышел к очереди с непокрытой головой:

— Если кто-то из вас помнит, сколько задолжал магазину, верните, пожалуйста, деньги. У меня пропала долговая тетрадь, и весь ваш долг теперь висит на мне.

Наверное, это был единственный день, когда очередь не шумела. Люди тихо раскупили хлеб, разошлись по домам. Те, кому не досталось хлеба, толпились у прилавка, гадали, кто же мог украсть тетрадь. Кто-то из односельчан вернул долги до последней копейки, кто-то смог отдать лишь часть, честно признавались, что денег больше нет, Амаякджан, могу тебе одеяло шерстяное отдать, если его продать, наверное, можно что-то выручить. Он отказывался, благодарил. Другие односельчане молча проходили мимо, отводя глаза. Амаяк уволился из магазина, занял у кого мог денег, но полностью покрыть долг не смог. И ему пришлось продать участок на берегу реки. Он устроился сторожем на лесопилку, пять долгих лет, с помощью дочерей и зятьев, расплачивался с долгами. И никогда больше не появлялся на этом берегу реки, где остался его фруктовый сад.

Лишь после смерти мужа Тамар стала выбираться сюда — правда, очень редко, раза три-четыре в год, а иногда и того реже. Хозяева давно уже забросили участок, переехали в город, возвращаться не собирались. Сад зарос сорной травой, болели деревья — поврежденные грибами стволы покрылись желтыми пятнами, в проплешинах крон зияли безжизненные ветви. Сгнивший забор лежал на боку, подмяв под себя низкорослые кизилловые деревца. Тамар ходила по саду, цокала расстроено языком, качала головой. Она как-то обратилась к Петросу с просьбой найти хозяев и выкупить у них участок, но тот отказался наотрез:

— Деду бы это не понравилось.

— Почему?

— Не знаю. Я просто так чувствую.

— Раз чувствуешь, значит, не надо, — согласилась Тамар. Но ходить на участок не прекратила.

Вот и сегодня она выбралась с детьми в этот забытый новыми хозяевами сад. Витька с Девочкой сразу ускакали на речку, правда, Девочка быстро вернулась, только промочила укусы крапивы водой: нани, действительно укусы крапивы больше не чешутся, речка помогла. Сето, путаясь в веревочных поводьях, медленно брел по саду, то там то сям пощипывая травку. Тамар несколько раз обращивалась к нему, потом взяла под уздцы, привела к орешине и привязала его так, чтобы он оказался в тени дерева.

— Сорок лет живешь на этом свете, по человеческим меркам уже дряхлый старик, а ума так и не

набрался,— отчитала она осла,— в тени-то небось лучше стоять, чем на солнцепеке, а?

— Нани, а когда будем на стол накрывать? — любопытствовала правнучка.

— Проголодалась уже? Вот прямо сейчас и будем!

Тамар достала из авоськи старую, изношенную от частой стирки скатерть. Долго, придирчиво выбирала место для пикника.

— Нужно, чтобы земля была не влажная. Иначе сядешь на сырое и застудишь себе живот и спину.

— А что будет, если застудить?

— Болеть будет. А вырастешь — детей не будет.

— Почему?

— Потому.

Девочка набычилась, выпятила нижнюю губу:

— Ты отвечай на мой вопрос. Почему детей не будет?

— А ты сама подумай. Где дети до своего рождения живут?

— В животе у мамы.

— Ну вот ты и ответила. Застудишь живот — детей не будет.

— Нани, а откуда выходят дети?

— Из живота.

— Это понятно, что из живота. Но где то место, откуда они выходят?

Тамар полезла в Витькин пакет, нарочито долго и громко шуршала бумажным свертком с гатой.

— Надо же, вся раскрошилась. Ничего, мы ее и такой съедим.

— Нани! — топнула ногой Девочка.

— А?

— Ты мне ответишь или как?

— Отвечу, конечно, почему мне не ответить? Когда ребенку приходит пора родиться, он спускается по маминой ноге вот сюда.— Тамар с трудом наклонилась, ткнула себя пальцем выше щиколотки.— Вот зачем ты меня мучаешь? У меня спина болит, а ты заставляешь нагибаться. Наклонилась — тут же в глазах стало двоиться, в ушах загудело. Грохнусь в обморок — будешь знать!

— И что с ногой? — не дрогнула Девочка.

— А что с ногой? Доктор делает разрез и вынимает ребенка. Вот и все.

Девочка встала на колени, приподняла юбки прабабушки, стала изучать ее ноги. Ноги были совсем старенькие, с тонкими икрами и отчаянно выпирающими косточками на щиколотках.

— Где тебе делали разрезы?

— Вот тут,— показала Тамар.

— Следов-то не осталось!

— Конечно, не осталось. Столько лет прошло!

— Много?

— Много.

Девочка обняла прабабушку, зарылась лицом в ее фартук — вдохнула знакомый запах дровяной печки, сушеного кизила и цветочного меда. Спросила надтреснутым голосом:

— Нани, ты что, совсем старенькая?

— Старенькая, но не совсем. Не волнуйся, я еще сто лет проживу.— Тамар чмокнула ее в солнечную макушку, улыбнулась: — Ладно, давай на стол на-

крывать, а то прибежит голодный Витька, а мы даже свертки с едой не развернули.

Они расстелили на траве небольшой плед, а сверху — сложенную вчетверо скатерть. Тамар принялась доставать из авоськи нехитрые припасы — холодное мясо, хлеб, миску с соленьями, помидоры-огурцы. Девочка копошилась в свертках бабушки Лусинэ — зелень, сыр, отварные яйца.

— Я сейчас почищу яйца, а ты иди позови мальчика, пора есть,— велела Тамар.

Витька взбирался на валуны и с громким гиком нырял в пенистый водоворот. Девочка какое-то время наблюдала за ним, потом скинула сандалии, осторожно побродила по берегу речки, там, где вода доходила до колен. Поморщилась — речная галька больно впивалась в ноги. Она вскарабкалась на огромный, покрытый толстым слоем мха валун, вздохнула с облегчением — мягкий мох щекотал ступни.

— Витька, смотри, я на ковре стою,— позвала она.

— Чего? — вынырнул Витька.

— Говорю — на ковре стою.

Витька подплыл ближе, схватил Девочку за щиколотку:

— Ну что, плавать не надумала?

Мокрые волосы прилипли к его лбу, он улыбался во все свое скуластое лицо и шурился от яркого солнечного света.

— Не-а. Не хочу.— Девочка трянула ногой, высвобождаясь из рук мальчика.— Ты лучше погладь мох. Смотри, какой он мягкий. Словно котенок.

— Что я, мха не видел? — пожал плечами Витька.

— Ну потрогай, жалко тебе, что ли?

— Жалко, — кивнул Витька, но мох потрогал. — Мягкий, ага!

Он нырнул, потом выплыл, лег на спину, выпустил изо рта фонтанчик воды:

— А я похож на кита?

— Ага. Очень. Ладно, пошли, нани есть зовет.

— Сейчас еще раз прыгну и пойдем.

Витька взобрался на высокий валун, сложил руки над головой, вытянулся в струнку. Яркий дневной свет рассыпался мелкими пятнышками по его плечам и спине, там, где остались капли влаги, и весело переливался золотым и серебряным. Девочка, прищурившись, рассматривала Витьку оценивающим взглядом. Худой, высокий, костлявый, в трусах смешно торчит писюн. Хмыкнула. Странно все-таки устроены мальчишки. Как-то совсем по-дурацки.

— Сальто будешь делать? — перекричала она шум речки.

Витька важно кивнул, нагнулся, сильно оттолкнулся ногами и, очертив в воздухе длинную дугу, нырнул в воду. Бултых — река на миг разомкнулась, чтобы принять его в свои объятия, и сомкнула воды над головой.

«Раз... Два... Три... Четыре... Пять...» — медленно принялась считать про себя Девочка. Витька вынырнет, когда четыре раза досчитаешь до десяти, главное, не торопиться со счетом и — не дышать. «Семь... Восемь... Девять...» — она

зажмурилась и стала выдыхать, замирая после каждого короткого выдоха на полсекунды. Когда зашумело в ушах, Девочка осторожно опустилась на корточки, обняла себя за колени и замерла на нижней границе выдоха — еще чуть, и станет совсем неспособна.

И в ту же секунду шумно вынырнул Витька.

— Я видел дельфина! — крикнул он.

Девочка глубоко вдохнула, подождала, пока уймется бешено колотящееся сердце, и лишь потом переспросила:

— Кого ты видел?

— Дельфина.— Витька выбрался на берег, попрыгал, наклоняя голову то к одному, то к другому плечу. Натянул на мокрые трусы шорты, нацепил сандалии.

— Какого дельфина? — Девочка слезла с валуна, обулась.

— Большой такой, синий. Я нырнул, открыл глаза, смотрю — мимо меня проплывает дельфин. Я погладил его — он совсем гладкий, как речная галька. И холодный.

— Не знала, что в нашей речке водятся дельфины,— удивилась Девочка.— Надо нани рассказать.

И она полетела в сторону старого сада, выкрикивая на бегу:

— Нани, ай нани, в нашей речке дельфин!!!

— Синий!!! — подхватил Витька и побежал следом, но вполсилы, намеренно отставая, чтобы не обгонять Девочку — пусть та первая расскажет своей прабабушке новость.

2

— А кашалота не видел? — Тамар пододвинула к Витьке миску с соленьями: — Бери помидоры, они с чесноком и зеленью, вкусные.

Витька смущенно улыбнулся, подцепил двумя пальцами ломтик помидора, быстро, чтобы не капнуть соком на скатерть, отправил в рот. Оторвал кусочек от хрустящей горбушки, макнул в кисло-соленый помидорный соус, съел, причмокивая.

— Мммм!

— Возьми картошки. И мяса возьми.

— Тетя Вера запекала?

— Да. Вкусно?

— Бабушка говорит, что тетя Вера лучше всех запекает мясо.— Витька соорудил себе бутерброд из ломтика свинины, сыра и зелени.

— Моя мама вообще вкусно готовит,— отозвалась Девочка, но к мясу не притронулась. Взяла половинку отварного яйца, потянулась за солью.

— Я уже солила,— хлопнула ее по руке Тамар.— Ты бы хоть овощей взяла. Совсем ничего не ешь.

— Нани, а с чего ты взяла, что в нашей реке не может быть дельфинов? — перевела разговор на другую тему Девочка.

— Во-первых, дельфины в реках не живут, они любят соленую воду. А во-вторых, ты видела глубину нашей речки? От силы полтора метра. В засуху совсем мелкая, еле до середины бедра доходит. А дельфин большой. Больше нашего Сето.

— Но я погладил его,— Витька отложил бутерброд, вытянул вперед правую руку,— вот этой рукой. И бок у него был гладкий. И холодный.

— И глаз был коричневый, да? — прищурилась Тамар.

— Н-нне знаю,— проямлил Витька.— Я в глаза ему не заглядывал.

— А что ты видел?

— Бок. Он шевелился. И хвост.

— Думаю, тебе просто померещилось. Такое иногда случается, когда резко ныряешь.

Витька нахмурился. Он готов был поклясться чем угодно, что видел дельфина. Совсем близко, совсем рядом. Тот медленно проплыл мимо — синий, величественный,— обдал его холодом своего гладкого бока и поплыл дальше, вниз по течению, в сторону Восточного холма, туда, где плескался большой водоем. Девочка растерянно крошила хлеб — она была расстроена не меньше Витьки.

Тамар перевела взгляд с одного ребенка на другого, пожевала губами. Кашлянула.

— Вообще-то, Виктор, очень даже может быть, что это был дельфин.

— Да? — встрепенулись дети.

— Мир большой, а мы маленькие, много чего не знаем и не понимаем. Так что всякое может случиться.

— Я же говорил, что видел его,— обрадовался Витька.— И даже погладил.

— Ну, раз говоришь, что погладил, значит, так и есть. Гату будете?

— Будем! — захлопала в ладоши Девочка.

— Только сладкое и ешь. На! — Тамар протянула сверток с раскрошенной гатой.— Придется есть ее пригоршнями.

— Так даже вкусней!

— Вот и славно. Сейчас доедите гату, потом мы уберем еду, полежим немного на пледе и двинемся в обратный путь.

— А полежать обязательно? — прошамкал с набитым ртом Витька.

— Обязательно. Будем лежать и слушать природу.

— Зачем?

— Виктор! Вот сколько лет я тебя знаю?

— Восемь?

— Восемь. С самого твоего рождения. И все это время ты мучаешь меня одним и тем же вопросом! Ответа не можешь запомнить?

— Мне просто лень лежать и слушать.

— Ничего. Чины не отвалятся, если немного полежишь. Возьми еще гаты.

— Не хочу, спасибо, я наелся.

— Тогда заберешь оставшуюся еду с собой. Будет чем вам с бабушкой поужинать.

— Хорошо.

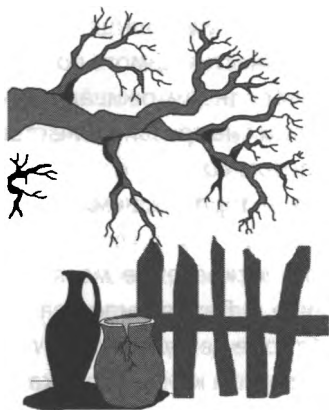
Тамар аккуратно упаковала припасы в свертки, сложила в пакет. Отряхнула скатерть, убрала ее. Легла на плед, сложила на груди руки. Дети улеглись рядом, Витька — справа, Девочка — слева. Витька раскинул ноги, а Девочка свернулась калачиком и уткнулась носом в бок прабабушки. Солнце склонилось к Западному холму, шумела разбуженная сошедшим ледником речка, пел в кронах дере-

вьев ветер, где-то наверху, на самой верхней точке небесного кулола, замерло время... Воздух загустел, остро запа́х травами, нагретыми на солнце валунами, мокрым мхом.

— Послушайте, как тихо,— прошептала, не открывая глаз, Тамар.

И сразу наступила тишина.

НИНОЧКА



Если идти против течения — не останавливаясь, не оглядываясь, все вверх и вверх если идти, река будет рассказывать о чем-то своем, никому не ведомом, о стаях рыб, о крике птиц, о безмолвном таянии снегов — там, у самых истоков, где вода особенно холодна, а деревья вокруг особенно молчаливы.

Внизу, в долине — дома, утопающие в садах, градом сыпалась от порыва ветра с шелковицы последняя, перезревшая тута, оставляя на руках темные следы. Робко перебирая первыми лучами, золотил край мира рассвет.

Вера любила эту сонную, невыспавшуюся утреннюю пору. Небосвод казался огромной Божьей дланью, накрывшей макушки холмов прозрачным

куполом, умытая росой трава пахла остро ипряно — синим базиликом и дикой мятой. Днем аромат дикой мяты куда-то исчезал, уступая место чабрецу и майорану,— опаленные жарким солнцем, они пахли так, что казалось — были частью самого воздуха. И только к вечеру, с закатным солнцем, оживал тягуче-сладкий аромат роз — здесь их не срезали и не ставили в цветочные вазы, но потом собирали лепестки и варили сказочное варенье — терпкое, немного вяжущее, душистое.

Каждое первое воскресенье месяца Вера собиралась на кладбище. В Берде было два кладбища — старое и новое. Старое находилось на левом берегу реки, а новое — в другом конце городка. Вере нужно было на старое кладбище.

Она заводила часы на пять утра, но всегда поднималась раньше — не хотела, чтобы звон будильника потревожил Петроса. Однако муж предугадывал ее пробуждение, обнимал, прижимал к себе — не уходи. Вера ласково отстранялась, высвобождалась из его объятий, выскальзывала из постели — спи, спи, еще рано! Она быстро одевалась, заглядывала в комнату Девочки — поправляла одеяло, целовала ее во влажный от беспокойного сна шелковый затылок. Наспех умывалась и, не позавтракав, выходила из дома. Городок еще досматривал свои разноцветные сны, а Вера уже была на том берегу реки. Тяжелый ключ всегда висел на заборе кладбища, самый ранний посетитель открывал ворота, а тот, кто уходил последним, запирали и оставлял ключ на большом вбитом справа от входа гвозде.

Оказавшись на кладбище, первым делом Вера заглядывала в ветхую подсобку, где хранился инвентарь для уборки. В углу, за большой картонной коробкой с полустертой надписью «Не бросать», при- тулились несколько ведер, тяжелые метлы, старый веник и щербатый совок. Вера набирала воды, распу- скала горсть мыльной стружки, запасалась тряпками. Она всегда начинала с самой дальней могилы — там покоились прапрадед и прапрабабушка мужа. Под- метала дорожку, ведущую к могиле, промывала ста- рые надгробные камни, аккуратно обводила влаж- ной тряпкой каждую кружевную букву — Саломэ Меликбекян, Амазасп Мелкумян.

В изголовье надгробий стояли специальные ме- таллические чаши. Покончив с уборкой, Вера выкла- дывала туда завернутые в бумажные кульки щепотки ладана, недолго наблюдала, как дымится, исходя сладким ароматом, древесная смола.

Переходила к следующей могиле, где покоилась бабушка свекра — Шаракан. Она умерла, когда Пе- тросу было девять лет.

— У меня до сих пор перед глазами стоит картина, как она причесывается, аккуратно водя пальцами по тому месту на затылке, где под кожей ходит сломан- ная кость,— рассказывал ей Петрос. Вера каждый раз мертвела сердцем, представляя, через какой ужас пришлось пройти Овакиму и его бабушке.

— Я бы на ее месте сошла с ума,— как-то сказала она мужу.

— Так она и сошла с ума.— Петрос нахмурился, провел пальцем по переносице — он всегда так де-

лал, когда переживал.— Я маленький был, глупый, мучил ее вопросами о сыне, нани, спрашивал, неужели не помнишь Арутюна? А она не помнила. Внук у меня есть, говорила, а вот сына не было. Бедная нани, она так сильно переживала смерть Арутюна, что не справилась с этим неподъемным горем и вычеркнула сына из своей памяти.

— Боже мой,— причитала Вера,— боже мой.

— Самое страшное, что иногда, во сне, она пела. Колыбельную. Рури-рури-рури, моему сыночку рури, моему ангелочку рури...¹ И всегда укладывалась возле окна. Чтобы, если начнут ломиться в дверь, успеть ускользнуть.

Вера бережно протирала влажной тряпкой могильный камень Шаракан, обязательно зажигала в изголовье свечу.

«Теперь они с Арутюном вместе»,— думала она.

Потом Вера направлялась на западное крыло кладбища, там лежали дедушка и бабушка свекрови — Анатолия Тер-Мовсеси Ананян и Василий Меликян. Анатолия покоилась здесь, а Василий лежал где-то там, под склоном Хали-кара. Старик умер в войну, в самый холод. Мужчин в Берде не осталось — воевали на фронте, а изможденные голодом женщины перевезти усопшего на кладбище не смогли — не хватило сил. Они выбрали место у подножия Хали-кара, с невероятным трудом выдолбили в смерзшейся земле яму, похоронили Василия, воткнули в землю наспех сколоченный деревянный крест и разбрелись по до-

¹ Рури — баю-бай (западноармянский).

мам. Зима выдалась немилосердно лютой, снежной и очень ветреной. До весны никто к месту захоронения не выбирался. А потом его просто не смогли найти — единственную подсказку — крест — унесло шквальным ветром.

Вера долго вглядывалась в незнакомые, безучастные лица на надгробиях, у женщин из-под причудливо повязанных платков струились длинные косы, мужчины были хмуры и седовласы.

Последней она приводила в порядок могилу родителей свекрови — Амаяка Меликяна и Антарам Мелкумян. Никого, кроме Амаяка, в живых она не застала, поэтому разговаривала только с ним. Пересказывала последние новости — только хорошие. Зачем тревожить сон покойника плохими вестями?

Вот и сейчас, протирая его портрет, она вела с ним неспешную беседу:

— Девочке недавно исполнилось пять лет. Вы бы ее очень любили, я знаю. Вся в Петроса — даже глаза такие, как у него, — зеленые с желтым, кошачьи. Говорят — если дочь похожа на отца, будет счастливой. Очень хочется в это верить. Помощницей растет. На той неделе завозюкала грязной тряпкой шкафчики на кухне. Захожу туда — а она стоит, довольная, светится от счастья. Ждет похвалы. Пришлось хвалить, куда деваться.

Вера тщательно ополоснула, а потом крепко отжала тряпку, протерла насухо могильный камень.

— У Тамар все более-менее в порядке. Недавно сделали операцию на глазах — удалили катаракту. После выписки она сразу принялась шерстяные но-

сочки вязать. Я ее ругаю, а она только плечом пожимает. Говорит — сейчас довяжу Девочке гулпа, а потом возьмусь за жакет.

Вера достала из сумки небольшой сверток, развернула:

— Тата вчера хлеб испекла. Я прихватила два куска. Один вам, а другой — Антарам.

Она оставила у изголовья хлеб, полезла за кулечками с ладаном. Чиркнула спичкой.

— Дедушка Амаяк, я знаю, Ниночку не с вами положили. Вы ушли после. Но вы приглядывайте, пожалуйста, за ней. И остальных попросите.

Догорающая спичка опалила пальцы. Вера дернулась, выронила ее, схватилась за мочку уха. Боль мигом унялась. Она зажгла другую спичку, понаблюдала за тем, как вьется дымом ладан. Поплакала без слез. В последнее время такое часто с ней случалось. Просыпалась ночью от глухих, давящих рыданий — руки сжаты в кулаки, сердце колотится в груди, а глаза сухие. Петрос обнимал ее, прижимал к себе, целовал в волосы, баюкал, словно маленькую. Иногда раздражался, ругал за слезы. Вера ничего не отвечала, да и что тут скажешь? Она не понимала мужа и обижалась на него — за что он ее ругает? За боль, которая никак не утихнет? Но как она может утихнуть, если Вера так и не смогла смириться с ней?

Ей ничего не оставили, унесли все фотографии, пленки-распашонки. Даже конверт с локонами забрали. Когда Ниночке исполнилось полгода, Вера постригла ее и сохранила волосы. Локоны у Ниночки были темные, вьющиеся. И ресницы длинные, пуши-

стые. А глазки большие, васильковые. Дедовские. Свекровь лично забрала у нее этот конверт с локонами — не положено что-либо оставлять, дочка, нельзя.

От пережитого шока у Веры поднялась температура, которую никак не могли сбить, она бредила, мучилась жаждой. Было странно, что не мешают волосы, не нужно постоянно выдергивать их из-под спины и откидывать на подушку. Вера сначала удивилась, а потом сообразила, что сама их состригла, буквально в тот день, заплела в косу и состригла под корень.

В бреду ей казалось, что Ниночка плачет. Но угол комнаты, где раньше стояла колыбелька, зиял пустотой. Когда случилась беда с малышкой — это была первая ночь, когда Вере удалось выспаться, она проснулась от того, что наверху, на втором этаже дома, зазвенел будильник, поднимая свекровь и свекра на работу, полежала несколько секунд, приходя в себя, потом вскочила, подбежала к ребенку... Ниночка лежала, словно спала, высокий лоб, восковая кожа, тень от длинных ресниц, подхваченная легким дуновением сквозняка, ходила по щеке. Вера побоялась взять ее на руки, неловко перевесилась через высокие бортики колыбельки, прикоснулась губами к ледяному лбу. Заплакала.

Густые, русые, в крупную волну волосы рухнули водопадом на Ниночку, Вера поморщилась, мигом возненавидела свои живые волосы, выбежала из комнаты, на ходу заплетая косу, где-то там, в дальней комнате, в деревянном шкафу с высокими резными

створками, Тата хранила старые ножницы — большие, тяжеленные, работы ее деда Василия, Вера нашла их в ящичке, намотала на кулак недоплетенную косу, резко дернула вверх и отрезала под корень.

Теперь все правильно.

Когда в комнату заглянула свекровь, она стояла между распахнутыми створками шкафа, держа в одной руке ножницы, в другой — косу, свекровь подошла к ней, отобрала ножницы — пойдём, дочка, наверх, тебе нужно отдохнуть, мы все сами сделаем; Вера молча погладила ее по щеке — щека была мокрая от слез — как хорошо, подумала, Тата уже все знает, не надо ничего ей рассказывать. Она вытащила из шкафа большую, набитую доверху швейной мелочью шкатулку — иголки, катушки, пуговицы, крючки, пяльцы, опрокинула в первый попавшийся ящичек, поморщилась от неприятно громкого лязга металлических спиц и крючков. Сложила косу в шкатулку, бережно прижала ее к груди:

— Пошли.

Слышно было, как свекор объясняет хриплым, незнакомым голосом кому-то по телефону — не говорите ничего Петросу, просто привезите его на скорой, скажите, что срочно нужна его помощь.

Тата повела было Веру наверх, на второй этаж, но она помотала головой — я останусь у себя, дверь почему-то оказалась распахнутой настежь, в комнате было неожиданно людно, когда они успели сюда прийти, подумала Вера, в кресле, спрятав лицо в ладони, сгорбилась Тamar, на кровати, аккуратно отвернув в сторону простыни, сидела сестра Таты —

Шушик, рядом тихо шелестела словами молитвы старая соседка Анико, Вера прошла мимо, водрузила шкатулку на комод, надо же, как шумно, удивилась вяло, Шушик с Анико встали, расстелили простыню, Вера легла на бок, подтянула к себе одеяло и, ровно за секунду до того, как укрылась, заметила Амаяка — старик стоял на коленях рядом с колыбелью, прижав к груди Ниночку, тонкая ручка ребенка безжизненно свисала из-под его локтя, Амаяк медленно раскачивался — взад-вперед, взад-вперед, и страшно плакал, заикаясь сквозь рыдания, — бе-едный мой анге-елочек, бе-едный мой анге-елочек, ах, вот почему здесь так шумно, подумала Вера и накрылась одеялом с головой.

Колыбельку вынесли сразу же, убрали куда-то на чердак, с ней пришлось изрядно повозиться — несмотря на кажущуюся воздушность, она была тяжелой — на металлических гнутых ножках, с основательной спинкой и высокими боками. Дом стал совсем чужим, суетно-многолюдным, по комнатам ходили люди, сворачивали ковры, занавешивали белыми простынями зеркала, выносили из гостиной мебель — оставили только обеденный стол и расставили вдоль стен стулья. Привезли на скорой Петроса. «Ниночка?» — просипел он, разыскивая среди собравшихся родные лица, Ниночка, шагнул вперед Оваким, обнял сына, Тата поймала его руку, прижала к губам — мальчик мой, мальчик мой. Он ринулся в дом, сердце колотилось в груди, еще немного — и выпрыгнет наружу, Петрос-джан, беда такая, — заголосила сбоку высокая чернявая женщина,

он обернулся, лицо знакомое, но не вспомнить, кто это, какой-то мужчина попытался дотронуться до его плеча, но Петрос дернулся, не надо, пожалуйста, дом стал чужим, совсем неузнаваемым, куда подевалась мебель, ах да, ее убрали, чтобы не мешала людям, он добрался, наконец, до спальни, крепко притворил дверь, комнату заливал яркий свет, солнечный луч начертил на прикроватном паласе прозрачный квадратик окна, Петрос сел на краешек кровати, откинул одеяло — Вера лежала, свернувшись калачиком, крепко обхватив себя за колени, — короткостриженная, без привычной копны волос, она казалась совсем ребенком — худеньким, беспомощным, он прижал ее к себе, что ты с собой сделала, Вера, что ты с собой сделала, Петрос, открыла она глаза, представляешь, Ниночка умирала, а я ничего не знала, я спала, мне даже сны какие-то снились, разноцветные, счастливые, как такое возможно, чтобы мать проспала смерть своего ребенка, как такое вообще можно себе простить! Не-говори-так, не-надо-так-говорить, зашептал Петрос, было больно — везде, но особенно — в груди, словно медленно втыкают в сердце длинную иглу, он выгнулся немного вправо, чтобы унять эту боль, глупо подавился собственной слюной, раскашлялся и, отдышавшись, наконец разрыдался.

Вера пролежала в температурном бреде долго, не подпускала к себе никого, кроме мужа и Тamar, звала маму. Марья успела только к следующему вечеру — осунувшаяся, в темном кружевном платке, усталая с дороги, ни с кем не здороваясь, прошла сразу к до-

чери, легла рядом, не снимая плаща, обняла ее, как тогда, в детстве,— всю, обхватила руками, оплела ногами, заплакала, доченька, дитяtko мое, Вера зарылась лицом в плащ мамы, пуговица впиалась больно в щеку, но это было даже хорошо — отвлекало от слез, вдохнула знакомый запах духов и валерьянки, мам, они забрали все, ничего не оставили, даже фотографии, может, это и правильно, доченька, зашептала Марья, может, в этом есть своя мудрость, нет, замотала головой Вера, нет, мама, ты не понимаешь, они даже Петроса на похороны не пускают, я их ненавижу, мама, я видеть их не могу!!!

Марья дала дочери успокоительное, полежала рядом, пока та не забылась тяжелым сном, поцеловала в лоб, в глаза, в хрупкий висок — туда, где остался крохотный шрам от лейшманиоза. Вере тогда было годика три-четыре, когда появилась на виске язвочка, сначала никто не обратил на нее внимания, но потом, конечно, спохватились, нужно было действовать немедленно, иначе быстро растущая язва обезобразила бы личико ребенка. Пришлось прижигать живую — другого лечения в то время не было, Верочка кричала и вырывалась, но потом, немного поплавав, забыла о боли — дети вообще легко прощают и быстро забывают обиды. Марья же на всю жизнь запомнила ее страшный, рвущий барабанные перепонки вопль — мамочка, не надо, мамочка, мне больно. Она полежала немного, прислушиваясь к тяжелому, прерывистому дыханию дочери, потом поднялась, тихо приоткрыла форточку и выскользнула из комнаты.

Петрос — резко осунувшийся, худой, с двухдневной щетиной, курил в прихожей. При виде тещи загасил окурок, подался вперед — как она?

— Спит.— Марья подошла, но обнять зятя не решилась, только погладила его по плечу. Петрос накрыл ее ладонь своей, сдержанно кивнул.

— Все нормально, я держусь.

— Вы, главное, не корите себя,— шепнула Марья,— на все воля Божья.

Петрос вытащил из пачки новую сигарету, попытался закурить, но не смог — резко задергалось лицо, задрожали губы. Он смял сигарету, выкинул в окно. Хмыкнул.

— Какой-то немилосердный получается Бог. Когтистый, со звериной душой.

— Сынок...

— Марья Ивановна, я врач, меня разговорами о Божественном провидении или милосердии не пронять. Да и что вам объяснять, вы медсестра, сами все понимаете. Мы знали, что когда-нибудь это случится. С такой тяжелой родовой травмой редко кто выживает.

Он приумолк, пытаюсь приноровиться к новому для себя состоянию. Усмехнулся с горечью.

— Мы восемь месяцев боролись за ее жизнь, хотя знали, что когда-нибудь травмированная диафрагма не выдержит и Ниночка перестанет дышать. Мы, наивные дураки, почему-то думали, что, когда неизбежное случится, мы будем готовы к нему. Но мы ошибались. Невозможно быть готовым к смерти ребенка. Не-воз-мож-но. Это бесчеловечно, несправедливо и чудовищно больно.

Марья молча обняла зятя. Он на секунду прижал ее к себе, потом мягко отстранился, открыл окно, вытащил из пачки новую сигарету.

Она постояла рядом, наблюдая, как во дворе натягивают большой тент,— завтра похороны, народу, видимо, ожидается много, поэтому накрывать поминальные столы будут на воздухе. В доме было тихо и почти безлюдно — Тamar увела соседок к себе, они помогали ей с готовкой. Нужно было почистить и отварить рыбу — ее подадут холодной, в остывшей лужице перченого бульона. Будет хашлама из говядины, острые закуски, сыр, хлеб, зелень. Из спиртного — тяжелый самогон. Меню на поминки строгое и безыскусное, никаких легкомысленных салатов или солений.

— Мне нужно поговорить с твоей мамой.

— Она наверху, у себя,— Петрос погасил в пепельнице сигарету,— сейчас позову ее.

— Не надо, я сама к ней поднимусь. Только сначала загляну туда. К ребенку.

В гостиной было тихо и темно, лишь в углу, рисуя рваную тень бахромы на стене, исходил рассеянным светом старый торшер. На большом, накрытом ковром столе ногами к выходу стоял маленький гроб. Марья помолилась, утерла тыльной стороной ладони слезы, поцеловала Ниночку в лоб. Села на стул, прислонилась затылком к стене, закрыла глаза. И неожиданно для себя провалилась в сон.

Когда Тата вошла в гостиную, Марья спала, неудобно свесив голову к плечу. Кружевной платок съехал с головы, волосы выбились из пучка и вились

колечками вокруг вспотевшего лба. Тата села рядом, взяла сватью за руку. Марья вздрогнула, проснулась.

— Пойдем, я тебя накормлю, ты, наверное, целый день не ела,— погладила ее по руке Тата.

— Есть не хочу, но чаю попью.

— Хорошо.

Они проговорили до поздней ночи. Марья подробно расспрашивала о похоронах, ужаснулась, узнав что никого из родственников на кладбище не пустят. Но как же так, переспрашивала несколько раз она, как такое может быть! Петроса хоть бы пустили, он ведь отец! Тата плакала и качала головой — не положено, нельзя. Таков обычай предков. Если младенец умирает до того, как познает вкус хлеба, он считается жертвой Богу и принадлежит только Ему. Идти родителю на похороны все равно, что бросать вызов Всевышнему. Ниночку похоронят старейшины родов — старики ближе всех к небесам. Они выберут могилу одного из ее предков, могильщик раскопает яму и осторожно опустит туда крохотный гробик. Старейшины проследят, чтобы могилу привели в полный порядок — так, чтобы потом было не разобрать, куда положили ребенка. И молча разойдутся по домам. Никто из присутствующих и словом не обмолвится, где лежит младенец. Бог забирает свое — не оставляя места, куда можно прийти и поплакать. Потому что плач — своего рода осуждение. Никому не позволено осуждать или оспаривать Его помыслы. Никому и никогда.

— Вера не поймет и не смиритса с этим,— заплакала Марья.

— Со временем она все поймет.

Потом, спустя несколько дней, когда температура спала, Вера с Татой пришли на кладбище. Тата водила невестку по могилам, рассказывала — здесь лежит дед, здесь — бабушка Саломэ, там — прабабушка с прадедом. Вера слушала вполуха, рассеянно кивала. Гадала, в которую из этих могил положили Ниночку.

— Наверное, младшая сестра моей мамы покоится в могиле прадеда,— показала рукой на небольшое темное надгробие Тата.

— Младшая сестра? — отозвалась эхом Вера.

— Да. Она умерла шестимесячной, от воспаления легких. Бабушка умыла ее, положила в люльку. Люлька была небольшая, подвесная, крепилась к балке на потолке. Обязанностью моей четырехлетней мамы было убаюкивать ребенка. Когда бабушка положила в люльку мертвого младенца, мама принялась раскачивать ее и петь колыбельную — маленькая была, не понимала, что произошло. Бабушка как увидела это — упала в обморок. Мама рассказывала, что она пролежала в беспомощности долго, казалось — целую вечность, и всю эту долгую вечность по ее щекам текли слезы. Потом бабушка пришла в себя, утерла слезы и больше не плакала. Подмела полы, привела в порядок дом. Приготовила поесть, покормила детей, поела сама.

— Поела сама?

— Тебе это кажется дикостью, да, дочка? У нее ребенок умер, а она убирается, готовит, ест. Мне тоже это казалось дикостью, но потом я поняла, почему она так себя повела. Бабушка знала — если сейчас

не успеет поесть, потом уже не получится. Дом набьется людьми, два дня будут оплакивать младенца. Потом — поминки, десятины. У нее двое малолетних детей, ей нельзя болеть. Случись с ней что-нибудь — кто будет с ними возиться? Поэтому, невзирая ни на что, нужно поесть, чтобы выстоять эти несколько трудных дней. Такая вот сермяжная, незамысловатая, непостижимая нашему пониманию деревенская мудрость.

— А где был ее муж?

— Дед? Он тоже лежал с воспалением легких. Он выжил, а ребенок умер.

Тата отвечала не поворачивая головы, не глядя на невестку, словно вела разговор не с ней, а с собой. Вера какое-то время смотрела на свекровь, пытаясь поймать ее взгляд, потом опустила глаза.

— Покончив с делами, бабушка сходила к соседке, попросила позвать священника,— продолжила после недолгого молчания Тата.— Соседка сбегала сначала в церковь, потом — к гробовщику. Бабушка так и не узнала, в чью могилу положили дочь. Ходила по всему кладбищу, поминала ее.

— Но почему до сих пор ничего не изменилось? Я понимаю — сто лет назад.— Вера схватила свекровь за руку, заглянула ей в глаза.— Почему нам нужно было еще и через это проходить?

— Так надо, дочка,— отозвалась Тата.— Так положено.

— Но ведь это неправильно! — закричала Вера.— Неправильно и нечестно. Я никогда не смогу с этим смириться!

— Потом, с возрастом, ты все поймешь. Дело не в самих традициях, дело в их утешительной и даже целительной силе. Не удивляйся, дочка, и не смотри на меня таким осуждающим взглядом. Обрати внимание — самые непререкаемые, самые недоступные нашему пониманию обряды относятся именно к похоронам. Может, в этой категоричности есть некая попытка помочь человеку смириться с неизбежным?

— Разве можно утешить человека, делая ему больней?

— Я не знаю, дочка. В этом забытом богом крае меняются времена, эпохи, люди, но традиции и нравы не меняются никогда. Даже советская власть ничего поделаться с этим не смогла. Свадьбы, похороны, рецепты блюд, узоры ковров, жертвенные обряды остаются такими же, как тысячу лет назад. Вековой уклад стал для наших людей той непреложной истиной, которой нужно беспрекословно подчиняться. Я не знаю — правильно это или нет. Но я считаю, что раз так придумано, то так и должно быть.

— Мне этого никогда не понять,— опустила голову Вера.— Ни сейчас, ни потом.

После смерти Ниночки прошло шесть лет, но каждое первое воскресенье месяца, если позволяла погода, Вера приходила на кладбище, чтобы ухаживать за могилами. Сегодняшний день исключением не стал — утро застало ее за уборкой могил. Правда, Вере нужно было торопиться, потому что погода стремительно портилась — небо от края до края затянуло тяжелыми грозowymi тучами, а макушка Восточного холма подернулась рябью — ее заволокло

серым потоком плотной дождевой стены. Где-то совсем рядом сверкнула молния, следом раздалось глухое громыхание.

Вера быстро закончила с уборкой, вернулась в подсобку, вымыла ведра, выстирала тряпки. Развесила их сушиться.

— Ты здесь, дочка? — окликнул ее сторож кладбища.

— Доброе утро, уста Гево. Уже ухожу.

— А я смотрю, ворота отперты. Сначала решил, что забыли вчера запереть, а потом вспомнил, что сегодня первое воскресенье месяца. Нееет, говорю, это невестка Овакима Арутюновича пришла.

— Это я, да, — улыбнулась Вера, — как вы себя чувствуете, уста Гево?

— Плохо, — старик поморщился, согнул и разогнул в локте руку, — всю ночь кости ломило. К ливню.

— До дома успею добежать? — Вера сполоснула руки, энергично потрясла ими в воздухе — вытереться было нечем. — Столько лет живу в Берде, а привыкнуть к вашим неожиданным грозам и туманам так и не смогла.

— Да, погода у нас меняется быстро. Солнце, дождь, снова солнце, снова туман. Тебе надо научиться предугадывать ее по приметам. С утра такая тишина стояла, даже петухи не кричали. Они к сильной грозе притихают. Я тебе вот что скажу — вряд ли успеешь до дома добежать, ливень совсем рядом. Лучше пережди его в подсобке.

— Ребенок скоро проснется.

— А что, некому за ней присмотреть?

— Есть кому. Но я все-таки пойду. Может, успею обмануть грозу. До свидания, уста Геве.

— Ну как скажешь, Верушка. Доброго тебе дня.

Обогнать грозу не удалось — она настигла Веру у подножия Хали-кара. Заволокла, запутала, забарабанила тяжелыми дождевыми каплями по голове, по спине, вцепилась в плечи, потянула назад — к реке, к старому кладбищу. Выключила свет, напустила крошечной темени — такой, что невозможно стало разобрать, где тропинка, а где отвесный бок холма. Вера побоялась идти вверх — от ливня дорогу мгновенно развезило, можно было поскользнуться и сорваться в пропасть. Она припустила направо — к старой часовне. Непроницаемо-черное небо ощерилось сиреневой пятерней молнии. В ее свете Вера краем глаза выхватила мелькнувшее наверху, на самом краю обрыва, светлое пятно.

— Ве-ра! — сквозь шум ливня долетел до нее крик мужа.

— Петрос? — Она притормозила, рванула назад, к тропинке.

— Стой где стоишь, не поднимайся!

Вера кинулась, не разбирая дороги, навстречу мужу, но поскользнулась, упала, ударилась боком. Скатилась вниз. По бедру разлилась тяжелая, свинцовая боль.

— Петроооос! — завопила она.

Крик ее утонул в утробном рыке громового раската. Вера попыталась подняться, но не смогла — бок сильно саднило.

— Тебе же сказали стоять там, где стоишь,— раздался над ухом голос мужа. Он быстро ощупал ей бедро, ногу — Вера охнула, попыталась высвободиться,— не дергайся! Перелома вроде нет, сможешь идти?

Не дожидаясь ответа, он подхватил-поднял ее на руки, побежал, спотыкаясь, по дороге.

— Сюда, сюда! — звал кто-то из темноты. Сверкнула новая молния — громадная, с полнеба. Она вонзилась в край земли серебристым копьём, озарив неровным светом окрестности и голый купол часовни. В низком проеме двери стоял старик и махал рукой — сюда!!!

Петрос нагнулся, чтобы не удариться головой о низкий свод, проскользнул в темную, пахнущую сыростью и временем часовню.

— Живы-целы?— раздался дребезжащий голос пастуха.

— Уста Амбо, где нам притулиться?

— Стадо у алтаря. Не ходите туда, напугаете их еще больше.

В подтверждение его слов из темноты раздалось встревоженное короткое мычание. Следом залаяла Найда.

— Чшшшш,— отозвался пастух,— свои.

Петрос бережно опустил жену:

— Болит?

— Уже нет.— Вера нашарила рукой холодный хачкар, прислонилась к нему саднящим боком, позвала мужа: — Иди сюда, здесь много места.

— Нужно съездить в поликлинику, сделать снимок. Вдруг трещина.— Петрос еще раз пощупал ей ногу.

— У тебя не руки, а клешни,— вырвалась Вера.

— Ну что же ты хотела, руки хирурга другими не бывают. Мне же надо разобраться, что там у тебя.

— Да все нормально, Петрос, просто ушиблась.

— Куда вас в такую погоду понесло? — зацокал языком пастух.

— Она на кладбище была, дядя Амбо. Когда стала приближаться гроза, я побежал ей навстречу, но не успел.

— Почему не успел? Очень даже успел. Курить хочешь?

— Хочу.

— Только у меня самокрутка, я магазинное не курю.

— Спасибо,— Петрос затаился, резко закашлялся,— ядреная махорка.

— Это вы всякими папиросами с фильтром балуетесь, а я свое люблю. Традиционное. Зачем что-то новое, если есть старое, нашими дедами придуманное?

— Это да,— легко согласился Петрос.

Скоро глаза привыкли к темноте, и Вера смогла разглядеть стадо — испуганное грозой, оно жалось к каменному полуразрушенному возвышению алтаря. Часовня была старая, десятого века. Основательно построенное, с вытянутым вверх остроконечным куполом сооружение скорее напоминало обычное человеческое жилище, чем храм. На стенах тут и там проступали полустертые молитвы на староар-

мянском — грабаре. Справа и слева от алтаря располагались узкие кельи с продолбленными в стенах низкими нишами. Раньше в этих нишах стояли образа, теперь они пустовали, затянутые густым слоем мохнатой от пыли паутины. В одной из стен зияла огромная дыра. Большевики первым делом снесли большую, девятнадцатого века церковь и только потом взялась за часовню. Но почему-то доводить дело до конца не стали — ограничились тем, что скинули крест и выдрали с мясом часть стены. Надругались и забыли.

Если гроза заставляла стадо у подножия Хали-кара, пастух загонял его в часовню. От косо бьющих потоков воды земля превращалась в жирное месиво, а потом быстро высыхала, затягивая в плотную корку коровьи следы. По такому неровному полу очень неудобно было ходить, особенно старухам, которые часто заглядывали в часовню — помолиться и поставить свечки. Они хоть и роптали, но ничего богоульственного в пребывании животных в часовне не видели.

— Кто мы такие, чтобы решать, где спастись от грозы Божьим тварям? — приговаривали они.

Вере очень нравилось такое почтительное и разумное отношение к жизни, к миропорядку, ко всему тому, к чему, по большому счету, человек никакого отношения не имел. Она всем сердцем полюбила этот крохотный, затерянный в зеленых холмах городок и его жителей. Берд пленил ее своей природой, переменчивым настроением, влажными туманами — никогда прежде Вера не видела таких туманов — не-

проглядные и безмолвные, они приходили непрошеными гостями и долго стояли, прижавшись лицом к оконному стеклу.

Берд нравился ей своим отношением к Богу — Вера не раз слышала, как старики, разговаривая с Ним, называли его «Господь-джан». Словно Он не абстрактное вселенское добро, а конкретный человек, всеми уважаемый патриарх, который живет буквально рядом, вооооон там, сразу за поворотом, вторая калитка за старой сливой, можете не стучать, у Него всегда открыто.

В часовне было по-прежнему темно, но через пролом в стене пробивался бледный свет. Сквозь неутихающий шум дождя слышно было, как бьется о прибрежные камни разбуженная ливнем Тавуш. Река теперь долго будет свирепствовать, безжалостно выкорчевывая расположенные вдоль русла деревянные заборы и хлипкие деревца.

— Петухи кричат, слышите? — сказала Вера.

— Я не слышу, дочка, глуховат стал,— отозвался пастух,— но, если петухи действительно кричат, значит, гроза унимается, можно уже трогаться в путь.

Вера вышла под дождь — он еще не угомонился, но уже не свирепствовал и не бил наискосок, сшибая с ног шквальным ветром. Уста Амбо принялся выгонять из часовни стадо — коровы одна за другой осторожно вылезали в пролом в стене, кротко мычали, Найда подгавкивала их мычанию, словно подбадривала.

— Цо-цо,— увещевал старик. Вера насчитала семь коров, надо же, подумала, в темноте казалось, что их больше.

— Петрос, помоги убраться,— попросил пастух.— Коровы-то неразумные, не понимают, где можно покаты, а где нельзя.

Они сорвали несколько больших листьев лопуха, скрылись в низком проеме притвора. Быстро убрались, вынесли завернутые в листья коровьи лепешки, выкинули в кусты. Сходили на речку — сполоснуть руки.

— Удачного вам дня,— крикнул пастух и погнал коров к мосту. Впереди, высоко задрав морду и вода тяжелым, размокшим от дождя хвостом, бежала Найда. Вера проводила ее долгим взглядом, рассмеялась: «Смотри какая важная».

— Ну еще бы! Хозяйка стада! — улыбнулся Петрос.— Пойдем. Обопрись о мою руку.

Они добрались до тропинки, осторожно пошли вверх — впереди, не выпуская руки жены, ступал Петрос, следом шла она. На полпути он остановился, обернулся к старому кладбищу, стал что-то выглядывать сквозь редкие потоки дождя. Вера терпеливо стояла рядом, ждала. Оборачиваться не стала.

— Я на могиле деда и бабушки хлеб оставила. Наверное, его дождем смыло.

— Ничего.

Он пошел дальше, ступая приставным шагом. Влажная земля сыто чавкала, хваталась скользкими пальцами за обувь, норовила стянуть ее с ноги. Приходилось поджимать пальцы и немного косолапить, чтобы не остаться без туфель. Дождь унимался, совсем уже моросил, кричали петухи, макушка Восточного холма переливалась лучами солнца. Возвещая

наступление нового дня, стремительно возвращалось летнее утро.

— Тебе надо прекратить эти хождения на кладбище,— обернулся к жене Петрос.

— Мне так спокойней,— отозвалась Вера.

— А мне нет. И мать переживает. Пора смириться с тем, что случилось.

— Ты смирился?

— Нет. И не смирюсь. Но я с этим как-то молча справляюсь, Вера.

— А я что, кричу на каждом углу?

— Не кричишь. Но твои постоянные походы на кладбище... В этом есть что-то очень неправильное, откровенно демонстративное, словно ты говоришь всем — хотели этого, вот и получайте.

— Но они же именно этого хотели. Чтобы я ходила по всему кладбищу и поминала предков. Каждого. И гадала, в чьей могиле похоронена Ниночка.

— Вера, беда ведь не в том, с кем и как похоронили нашу дочь, а в том, что она умерла. Неужели ты этого не понимаешь?

— Понимаю. Но...

— Подожди! Хорошо, представь, что у Ниночки есть отдельная могилка. С надгробным камнем. Это тебя как-то бы утешило? Или, может, оправдало бы ее смерть?

Вера сердито выдернула ладонь из руки мужа:

— Не смей держать меня за дуру!

— Я и не держу. Я задаю тебе простой вопрос.

— Нет у меня ответа на твой вопрос!

Петрос хмыкнул, протянул жене руку:

— Пошли.

Остальной отрезок пути они проделали в молчании. Когда добрались до края тропинки, Вера вздохнула с облегчением — самая трудная часть дороги осталась позади.

— Я понимаю, что ты хочешь до меня донести, — нарушила молчание она. — И где-то с тобой согласна. В психологии это называется вымещением. Когда человек, чтобы защитить свою психику, бессознательно переносит то, что его беспокоит, с одного объекта на другой. Но согласись и ты со мной, Петрос, что это очень глупо и ошибочно — слепо следовать обычаям. Мы ведь не в первобытные времена живем.

— Не в первобытные. Поэтому, когда я умру, тебя со мной в могилу не положат. Вот, будь я фараоном, тогда другое дело.

Вера невольно улыбнулась. Петрос обнял ее за плечи, прижал к себе.

— Вера, нельзя бесконечно бегать по одному кругу. Ты изводишь себя, не спишь ночами, плачешь. Пожалей хотя бы дочку. Она ведь тоже переживает. Спит с игрушками, боится темноты.

— У нас в детстве тоже были страхи.

— Одно дело детские страхи, и совсем другое — взрослые страхи, которые мы навязываем им. Она хоть и маленькая, но все чувствует, все понимает. Ты думаешь, зачем она выкинула твою косу в реку?

Вера прижала ладонь к горлу, туда, где, высоко подскочив, бешено заколотилось сердце.

— Вчера она выпрашивала у Тamar, почему ты так часто ходишь на кладбище. У тебя выяснять не

стала, побоялась расстраивать,— продолжал Петрос.

— Зачем нужно было рассказывать ей о Ниночке? Если бы она не знала, не стала бы переживать.

— А почему нет? Вера, дети — маленькие взрослые, они не терпят снисходительного к себе отношения. Ты учительница, знаешь это лучше моего. Почему мы должны им недоговаривать? Она спросила — я ответил. Она имеет право знать, что у нее была старшая сестра.

— Какое-то странное у вас отношение к детям, вы их совсем не щадите. Здесь каждый, каждый ребенок с рождения знает не только о своих ушедших родственниках, но даже о резне знает. Разве это правильно?

— Ты предпочла бы, чтобы твоя дочь выросла манкуртом?

— Нет. Но зачем говорить детям то, к чему они не готовы?

— Затем, Вера, что, если ребенок спрашивает, значит, он готов к ответу. Иначе он спрашивать не будет.

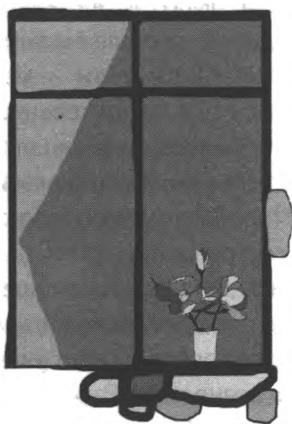
Дорога, резко вильнув, повернула к их дому. На крыльце, прижав к груди игрушечного зайца, стояла Девочка. При виде родителей она сделала шаг вперед, но спускаться по лестнице не стала. Вера взлетела вверх по ступенькам, прижала ее к себе.

— Испугалась грозы?

Девочка обвила шею матери руками, прижалась щекой к ее щеке:

— Не-а, не испугалась. Сначала я спала, потом проснулась, потом слушала грозу. Потом я искала вас. А потом просто ждала.

БАБУШКА ШУШИК



1

У Таты две младшие сестры — Шушик и Кнарик. Девочка называет их бабушками и любит одинаково сильно. У Таты два младших брата — Сергей и Жорик. Они давно переехали в другой город, и Девочка видится с ними раз в год, на Пасху. В этот день Меликяны собираются в своем родительском доме, там, где живет нани Тamar. Нани накрывает традиционный пасхальный стол — с крашеными яйцами, обязательной отварной рыбой, зеленью, сырами, красным вином, несладкой выпечкой. Они сидят допоздна, говорят о чем-то своем, вспоминают. Сморенная их долгим разговором, Де-

вочка засыпает, положив голову на колени нани. Та сдергивает косынку, накрывает правнучку — шелковая бахрома забивается за ворот, щекочет подбородок и шею.

Бабушки и дедушки называют Тamar по имени. Девочка как-то поинтересовалась у Таты, почему она не зовет нани мамой. Они сидели за круглым кухонным столом — Тата, Вера и Девочка, полдничали. Тата разрезала яблоко на мелкие дольки и выстраивала шеренгой на тарелке. Это у них игра была такая — фруктовые дольки назывались витаминными войсками, которые нужно было немилосердно уничтожать.

— Ты их съедаешь и становишься сильнее. Чем больше в тебе витаминов, тем меньше ты болеешь, — объясняла Тата.

Вопрос Девочки ее не удивил. Она помолчала, принаравливаясь к словам, которые хотела произнести, но Вера поймала ее взгляд, сделала умоляющее лицо, едва заметно помотала головой — нет! — Тата коротко кивнула, улыбнулась:

— Мне просто очень нравится ее имя. Вот я и зову ее Тamar.

— А можно я тоже буду звать тебя по имени? Просто Татой? — Девочка отправила в рот очередную яблочную дольку, расплылась в смешной гримасе — небо мгновенно защипало от кисло-сладкого фруктового сока.

— Конечно, можно.

— Ура! Спасибо, Таточка. Mam, ты слышала? Я могу называть Тату по имени!

— Слышала,— дождавшись, когда дочь обернется, Вера беззвучно, одними губами, сказала све-крови: — Спасибо.

Тата еще раз кивнула. Придвинула к себе вазу с фруктами, придирчиво выбрала грушу.

— Теперь будут грушевые войска. Грушевые, а потом еще черешневые.

— А конфетные войска тоже будут? — хитро прищурилась Девочка.

— А по попе получить? — рассмеялась Тата.

— Ну хотя бы один маленький конфетный солдатик! — заканючила Девочка.

— Ладно, так и быть. Когда справишься со всеми витаминными войсками, дам тебе ириску.

— Спасибо, Таточка.

На том и порешили.

Бабушка Кнарик живет на другом конце Берда. К ней, если пешком, очень долго идти. «Раз-два-три-четыре-пять,— считает про себя Девочка,— пять дорог и один широкий мост!»

А бабушка Шушик живет совсем рядом, через двор. Девочка любит разглядывать крышу ее дома из окна своей комнаты, сквозь ветви ореховых деревьев, растущих в северном крыле сада. В снег крыша напоминает макушку мятного пряника, откусил — и замер, привыкая к сладкому вкусу сахарной глазури. В дождливую же погоду она мгновенно меркнет, приобретая густой мышинный оттенок. И светлеет после, неровно поблескивая матовыми боками там, где обсох шифер, и упрямо темнеясь в тех местах, где до влаги еще не добрались солнечные лучи.

Добежать до дома бабушки Шушик можно в два длинющих вдоха-выдоха. Правда, это требует предварительной подготовки. Во-первых, нужно надеть правильную обувь — такую, чтобы она плотно сидела на ноге и не слетала при беге. И второе — нужно обязательно распахнуть калитку. У калитки очень замысловатая задвижка — массивная, неповоротливая. Девочка умеет отпирать ее в два приема — сначала, поднявшись на цыпочки и крепко упершись локтями себе в живот, она приподнимает железный крюк и только потом, навалившись всем телом, отодвигает его в сторону. Крюк с жалобным стоном поддается и нехотя тянет за собой тяжеленный штырь. Как только Девочка выскальзывает за калитку, задвижка приходит в обратное движение — штырь с лязгом возвращается на место, крюк падает острым клювом в гнездо и победно щелкает, отрезая пути назад. Теперь, чтобы вернуться домой, нужно идти через сад нани.

Девочка набирает в легкие воздуха, задерживает на секунду дыхание и на медленном выдохе срывается вниз по проторенной через соседский участок тропинке. Недовольно квохча, разлетается в разные стороны куриная стая, обиженно клокочет индюк, вскидываются драчливые деревенские гуси — нужно успеть добежать до спасительных ворот, пока они, сбившись в воинственную стаю, не погнались за тобой, вытянув длинные шеи и разинув крепкие клювы. На излете первого выдоха Девочка выскакивает в соседские ворота.

— Ты снова бегаешь как угорелая? — летит ей в спину скрипучий голос старой Анико.

Девочка снова набирает в легкие воздуха и мчится дальше — по пыльной, опаленной солнцем деревенской дороге, цепляя носками сандалий камушки, перепрыгивая через кусты мальвы, прислушиваясь к гулкому стуку своего сердца — бух, бух. А вот и нужный забор со скрипучей калиткой — в ненастную погоду она хлопает мерным, печальным стуком, аккомпанируя завыванию ветра. Огромный гампр Боцман, гремя тяжелой цепью, выскакивает на шум из конуры и, узнав Девочку, заходится в счастливом лае. Раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь-девять-десять — мелькают истертые по краю ступени старой каменной лестницы, еще секунда — и Девочка врывается на увитую виноградной лозой террасу, скидывает сандалии — фууух.

— Опять бежала как угорелая? — слово в слово повторяет за соседкой Жено.— Смотри, упадешь, сломаешь ноги-спички.

Жено приходится Девочке двоюродной тетей. Младшая из дочерей бабушки Шушик, она как две капли похожа на свою мать — такая же маленькая, хрупкая, с тонко вылепленным лицом — высокие скулы, глаза необычайно глубокого вишневого цвета, узкий чистый лоб. Густые каштановые волосы неизменно стянуты на затылке в длинный крупного локона хвост. Жено сидит в тени винограда и чистит фасоль. Возьмет нежно-салатовый стручок, оборвет хвостик, повернет в руке, оборвет другой, разло-

мит на три части и кинет в глубокую миску. Только и слышно «хруст-хруст-хруст».

— Не упаду. Не сломаю.— Девочка с разбега утыкается в грудь тете, замирает на секунду.— Привет.

— Дай я тебя обниму, егоза. Ты ведь знаешь, когда я тебя обнимаю, у меня продлевается жизнь,— прижимает ее к себе Жено.

И девочка терпеливо ждет, пока у тети продлится жизнь. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь виноградные листья, рисуют на каменном полу террасы золотистые марлевые узоры, настойчиво стрекочут цикады — возвещая наступление самого жаркого времени суток. Их акапельное пение льется медовой каплей на летний сад, запутывая его в полуденную дрему — по-летнему глубокую и по-летнему же недолгую. Платье Жено пахнет лавандовым мылом, руки — зеленой фасолью. Девочка любит свою двоюродную тетю всем сердцем. За красоту, за веселый и ласковый нрав. А еще за то, как она здорово умеет играть в карктик. Это игра такая, в камушки. Нужно собрать пять одинаковых величиной с грецкий орех камушков, усесться на ковер и, подкидывая в воздух один, собирать остальные четыре камушка, сначала по одному, потом по два, потом сразу три камушка в один присест выхватить! А потом загонять их в «пещеру» — для этого сплетаешь указательный и средний пальцы, далеко отставляешь большой и в полученное отверстие загоняешь один камушек за другим, не забывая подкидывать и обязательно ловить в воздухе пятый камушек. Девочка может ча-

сами наблюдать, как играет в картик Жено. Когда-нибудь она тоже научится так ловко вскидывать и ловить камушки. Подрастет немного — и научится.

— А где бабушка Шушик? — спрашивает Девочка.

— В погребе. За банками пошла. Для компота.

— Она компот будет варить? Какой?

— Сборный. Малина, смородина и яблоки.

— Пойду помогу ей с банками.— И, нацепив сандали, Девочка бежит вниз по лестнице.— Бабушка Шушик! Ба-буш-ка Шу-шиик!

Боцман выскакивает из конуры, виляя огромным палевым хвостом. Девочка подлетает к нему, заглядывает в медово-золотистые глаза:

— Бо-о-цман, со-о-бака! Тебя зачем на цепь посадили? Снова набедокурил?

Боцман прячет глаза, скулит — уии, уии.

— Гусей старушки Анико гонял? — выпытывает Девочка.

— Ррр-гав!

— Какой же ты дурачок, Боцман,— тербит его за ухо Девочка,— вроде уже большой, а ведешь себя как маленький. Пойдем сегодня к нам? Я тебе вкусных косточек отложила. Много. Целую миску!

Пес, услышав любимое слово, заходится в радостном лае. Девочка иногда уводит его к себе — погостить до вечера. Боцман гоняет по двору воробьев, облаивает ос, если Тата затевает хлеб — крутится возле каменной печки, выпрашивая свежеспеченную хрустящую горбушку. Витька часами возится с ним, неуклюже дрессирует. На каждый его «апорт»

Боцман, недоуменно пожимая плечом, бредет в кусты, отыскивает палку и с жаром принимается закапывать ее в землю.

— Боцман, фу! — ругается Витька.

— Ничего не фу,— застывает Девочка.— Ему просто не нравится эта игра!

— Ну что, пойдешь сегодня к нам? — Она чешет пса за ухом.

Боцман коротко гавкает, виляет хвостом.

— Вот и договорились! — Девочка ныряет под лестницу, идет вдоль каменной стены. Справа, за привставшими на цыпочки кустами винограда — они тянутся вверх, к террасе, цепляясь усиками за решетчатое ограждение,— раскинулся большой сад. Пахнет малиной и смородиной, а над грядками с помидорами жужжат пчелы — у деда Арама, мужа бабушки Шушик, десять ульев. Небольшие, окрашенные в масляный голубой, они резко выделяются на зеленом полотне сада.

А вот и погреб. Девочка толкает тяжелую деревянную дверь — несмазанные петли отзываются сварливым ржавым скрипом, в лицо ударяет сырой дух картофельной ямы и аромат молодых, но уже набравшихся ядреной силы солений.

— Бабушка Шушик!

— Это ты, егоза? — отзывается бабушка. В погребе стоит непроглядная темень, единственная лампочка под потолком, слабая, двадцативаттовая, теплится немощным светом.

— Я пришла помочь тебе с банками.— Напуганная мраком, Девочка делает неуверенный шаг вперед,

отпускает дверь — та мигом захлопывается, глухо стукнувшись о-притолоку.

— Иди ко мне,— почуяв страх внучатой племянницы, Шушик выходит из темноты и протягивает руки, делая призывные движения ладонями,— иди ко мне. Расскажи, как там Тата.

И девочка, счастливо вздохнув, виснет на шее бабушки.

С самого рождения она привыкла к объятиям родных — нежным, любящим, спасительным. Они защищают и благословляют, утешают и исцеляют. Девочка засыпает и просыпается в этих спасательных кругах, живет и дышит ими. Она не знает, что эти объятия, эти спасательные круги когда-нибудь оборвутся и, взмахнув высвобожденными крыльями, унесутся в безмолвное небытие. Девочка еще слишком мала, чтобы уметь распознавать течение времени. Каждый миг для нее — бесконечность. Каждый миг для нее — вечность.

Там, наверху, на солнечной террасе, двадцатилетняя Жено чистит фасоль. У Жено едва заметно дрожат кончики пальцев и прыгают уголки губ — от волнения и радости. Через две недели приедут сваты — просить ее руки. А осенью сыграют большую свадьбу — традиционную, с зурной-доолом, с выкупом, с привязанной шелковыми лентами к капоту машины куклой. Жено увезут далеко, в другой конец Армении — в город Арарат. И у нее начнется новая, бесконечно счастливая жизнь.

Жено разламывает салатový, в нежных фиолетовых разводах стручок, тот выстреливает крохотной,

беззащитно-молочной фасолиной. Она отлетает в сторону, закатывается под деревянную грубо сколоченную скамью и остается там лежать до следующего утра. На рассвете каменный пол террасы сбрызнут водой, чисто подметут шуршащей, колючей метлой и выкинут фасолину с остальным сором в мусорную кучу за домом — на радость вездесущим и всеядным курам.

2

— Слышала ночную грозу? — Бабушка Шушик перебирает малину и смородину, перезрелые рыхлые ягоды откладывает в сторону — на компот они не годятся. На расстеленном кухонном полотенце, горлышком вниз, высятся десять вымытых трехлитровых банок — обсыхают.

Девочка отзывается не сразу — она увлечена пусканием солнечных зайчиков — поймает в зеркальце солнечный луч, пустит то в угол комнаты, то на кухонный шкафчик, то в миску с ягодами. Бабушка Шушик не торопит ее, терпеливо ждет, когда она наиграется.

— Грозу? Не слышала,— наконец отвечает Девочка,— зато, как только проснулась, сразу поняла, что она была.

— Как поняла?

— Пахло дождем. Ну и земля была мокрая.

— Ты ж моя умница! — Бабушка ставит на стол тарелочку с ягодами малины и гроздьями красной, прозрачной смородины.— Ешь!

— Не хочу. Смородина кислая.

— Не кислая.

— Мне кислая.

— А если сахарным песком посыпать?

— С сахарным песком — тогда ладно,— расплывается в улыбке Девочка.

— Ах ты хитрая лиса! — смеется бабушка Шушик.— Ладно, так и быть, посыплю сахаром. Но совсем немного — сладкое зубы портит.

Девочка очень любит ее смех. Никто больше не умеет так тихо и ласково смеяться, как она. Ну, может, еще Жено умеет. Но Жено громкая, а бабушка Шушик — совсем неслышная. И даже незаметная — ходит всегда в темном — простые платья, наглухо застегивающиеся на все пуговицы жакеты, строгие пиджачки. Она вообще очень сдержанная, даже в движениях — такое впечатление, словно наперед продумывает каждый свой шаг, чтобы лишний раз не повториться. Девочка заворуженно наблюдает, как бабушка Шушик открывает дверцы навесного шкафчика, поднимается на цыпочки, тянется за коробочками со специями. Молотая корица. Лимонные корочки. Ваниль. Палочки гвоздики. Летний сквозняк колышет простенькие шторы на кухонных окнах, тихо позвякивают кольца на металлическом карнизе. Как только в большой эмалированной кастрюле начинает булькать сироп, бабушка кидает туда очищенные от сердцевины яблочные дольки.

Следом отправляются малина со смородиной. В самом конце — лимонные корочки, корица и ваниль. Довести до кипения — загасить огонь. Всё.

— Нужно, чтобы все было идеально чистым — и банки, и крышки. Тогда с компотом ничего не случится, и он простоит в погребе до зимы.

— А если не чистое? Что тогда?

— Тогда компот прокиснет, крышки вздуются и полетят. Вся работа насмарку.

— А что такое «идеально»?

— Совершенно. Превосходно,— бабушка Шушик ловит растерянный взгляд Девочки, спохватывается,— непонятно объясняю?

— Ну да.

— Сейчас найду объяснение проще. Идеально — это лучше не бывает. Теперь понятно?

— Теперь понятно,— кивает Девочка.

Жено размешивает горячий компот большой поварешкой — чтобы равномерно распределить гущу, и заливает в банки по самое горлышко. Бабушка Шушик кидает в каждую банку по две палочки гвоздики, ошпаривает металлическую крышку кипятком и тут же накрывает ею горлышко банки. Крышки горячие, поэтому она ловко цепляет их за край вилкой. Накрыв банку, щелкает кончиком пальца по крышке.

— Чтобы плотно легла,— поясняет Девочке.

В этих краях азам кулинарии испокон века обучают с раннего детства — ненавязчиво, словно мимоходом раскрывая кухонные хитрости. Дети все схватывают на лету, схватывают — и, казалось, мгновенно

забывают. Но потом, когда наступает время, каким-то непостижимым образом, яркими картинками, из памяти выплывают удивительные знания — о вкусе приправ, о надменной пахучести сушеных трав, о верном количестве соли, добавляемой в обед,— четыре щепоти, и ни одной больше!

Жено быстро убирает со стола все лишнее — кухонное полотенце, миску из-под крышек, эмалированную кастрюлю. Бабушка Шушик тем временем берется за самое ответственное — закатывание банок. Накрывает закатывающей машинкой крышку, крепко давит на нее левой рукой и крутит по часовой стрелке ручку. Закатка, понемногу сужая диаметр вращения, зажимает крышку вокруг горлышка банки. Жено, обмотав руки кухонным полотенцем — чтобы не ошпариться, подхватывает готовые банки и укладывает их на пол — остывать. Скоро под стеной выстраивается батарея из лежащих на боку банок. Солнечный зайчик лихорадочно мечется по ним, бликуя золотом на вспотевших стеклянных боках.

Девочка следит за работой бабушки и тети как за театральным действием. Они двигаются так слаженно и споро, словно не работают, а развлекаются. Если бы не напряжение на лицах, можно подумать, что они исполняют какой-то простой и привычный ритуальный танец, и все движения в этом незамысловатом танце даются им с чрезвычайной легкостью.

Когда компот уже закатан, стол к обеду накрыт, а на плите «доходит» стручковая фасоль, Жено уходит в погреб — за сыром.

— Пойдем со мной! — зовет она Девочку.

— Нет, я лучше в окно понаблюдаю.

И девочка ныряет за ситцевые шторы. За шторами прохладно и тихо. Если выглянуть в окно — весь двор лежит как на ладони: слева — большой фруктовый сад, справа — прорубленная в скале «ступенька», за полвека густо проросшая колючим кустарником дикой сливы. Плоды сливы мелкие, терпкие, твердые — не раскусить, зато отдающие щавелевой кислоткой молодые листья — любимое лакомство домашней живности.

Со скрипом распаивается калитка, Боцман выскакивает из конуры, но, завидев деда Арама, тут же принимается радостно плясать хвостом. Девочка, прижавшись лбом к оконному стеклу, наблюдает за мужем бабушки Шушик. Дед Арам высокий, плотный, смуглый и совсем лысый, с крупными мясистыми ушами и тонкой щеточкой усов под носом.

— Кязим? Ай Кязим! — раздается скрипучий голос Анико — она вынырнула из-за живой изгороди, словно все это время в нетерпении ждала появления соседа. — Ты когда забор в порядок приведешь? Смотри, совсем на боку лежит.

— А толку его чинить? От первого же урагана обратно повалится, — откликается дед Арам.

— Ну и что? На то и забор, чтобы валиться. А ты поднимай! — не унимается старая Анико.

— Бабушка Шушик, — выглядывает из-за шторы Девочка, — а почему деда Арама все зовут Кязимом? И даже ты его так зовешь?

— Он в детстве сильно болел, был при смерти, — отзывается бабушка. — А в народе есть поверье: хочешь обмануть смерть — назови умирающего ребенка именем врага своего. Поэтому дома стали звать его Кязимом. И болезнь отступила.

— Именем врага своего, — повторяет Девочка, принаравливаясь к неприятному слову так и эдак. Над тарелочкой с недоеденными ягодами, жужжа, летает пчела. Девочка не боится пчел. Они умные и никогда без причины не жалят. Если не дергаться и не размахивать руками, пчела повернется вокруг тебя, а потом улетит прочь — собирать сладкую пыльцу.

— Пап, ты как раз к обеду! — раздается голос Жено. Через секунду она появляется на лестнице, ведущей на террасу. В одной руке — тарелочка с прохладной от погребной стыни головкой брынзы, в другой — миска с помидорами. Девочка зажмуривается — если принюхаться к плодоножке помидора, можно учуять запах спелой мясистой плоти и напитавшейся солнечной лаской земли.

— Значит, Кязим — это имя врага? А кто наш враг? — спрашивает она у бабушки.

Шушик поднимает крышку сковороды, пробует фасоль.

— Ну вот и готов обед. — Она выключает плиту, щедро сыпает фасоль измельченным укропом. — Закрывать сковороду крышкой нельзя. Иначе зелень потемнеет. На вкусе это не отразится, но будет некрасиво. А нам нужно, чтобы еда была красивой. Так что пусть фасоль постоит немного с открытой крышкой.

Девочке сейчас не до кулинарных премудростей, она нетерпеливо отмахивается, словно отгораживаясь от лишних слов,— боится упустить мысль.

— Так кто наш враг? — повторяет она.

Бабушка Шушик отводит глаза:

— Никто. Теперь уже никто. А имя у деда турецкое.

Девочка молча оборачивается к окну. Взрослые очень наивные. Они думают, что дети не умеют читать между строк. Они думают, что дети не чувствуют, когда им недоговаривают. «Именем врага своего,— повторяет она про себя,— именем врага своего».

— Позови Кязима, пора есть,— просит бабушка Шушик.

Девочка нарочито шумно распахивает окно, впуская в дом жаркий летний полдень, настойчивое пение цикад и журчание далекой, пенной речки. Дед Арам задумчиво ходит вокруг покосившегося забора. Закрепить его можно, но это до первого ливня со шквальным ветром. Случись такой ветрище — и забор снова опрокинется набок. И будет лежать, обиженно свесив губу.

Девочка высовывается далеко в окно — Боцман раздражается встревоженным лаем, рвется к лестнице, конура накреняется, еще немного — и она опрокинется, подмяная под себя тяжелую цепь...

— Ты что творишь? — хватает ее за плечи бабушка Шушик.— Что ты творишь?

— Дед Арам! — Девочка цепляется руками за подоконник, чтобы ее не смогли оттащить от окна.— Дед Арам!!!

Дед Арам оборачивается, встревоженно высматривает, кто его зовет. Делает резкое движение рукой — отойди от окна!

— Дед Арам! — задыхается Девочка.— Ты уже большой и старый. Ты уже давно выздоровел! Зачем тебя называть именем врага твоего?!

ВИТЬКА



ВИТЬКА

1

Витькина мама сидела на стуле бабушки Лусинэ и курила. У бабушки Лусинэ был свой, специально подогнанный под ее рост стул. Внешне он ничем не отличался от других стульев мебельного гарнитура, но, если внимательно приглядеться, можно было заметить, что он чуть ниже остальных. У бабушки Лусинэ всю жизнь болела спина, и сидеть ей легче всего было так, чтобы ноги сгибались под прямым углом. Поэтому, когда сын накопил денег на новый гарнитур, он, не обращая внимания на проте-

сты матери, первым делом принялся переделывать под нее один стул.

— Зачем ты мебель портишь? — причитала бабушка Лусинэ.— Вон у меня есть деревянный табурет.

— Ничего не знаю,— отрезал Витькин папа,— ты моя мать, а я хочу, чтобы моя мать сидела на красивом стуле, а не на обшарпанном старом табурете!

Битый час он возился с сиденьем, а потом махнул рукой и просто подпилил на нужной высоте ножки. Девочка не застала Витькиного папу живым, но историю о том, как он переделал для своей матери стул из нового мебельного гарнитура, знала наизусть — каждый раз, когда бабушке Лусинэ надо было сесть, она говорила внуку:

— Витька, ну-ка принеси стул, который переделал для меня твой отец!

Витька часто таскал этот стул по дому — то в гостиную принесет, чтобы бабушка могла посмотреть телевизор, то в ванную, чтобы, не сильно напрягая спину, она сидя прополоснула белье.

Сейчас на этом стуле сидела другая женщина и курила. Красивая, худая, с ярко накрашенными губами и пышными, крупно завитыми волосами. Платье на ней было двухцветное, красное и желтое, с широкими короткими рукавами, собранными вверху и у манжет. Длинный пояс обхватывал узкую талию. Подол платья заканчивался оборкой в частую складочку. На столе стояла чашка с недопитым кофе, блюдце с окурками — Девочка посчитала в уме — три окурка, четвертая сигарета дымится в пальцах. Разуваться го-

стья не стала, сидела нога на ногу в босоножках на высоком каблуке.

Девочка сразу поняла, кто эта красивая и ухоженная женщина. Она ее себе такой и представляла — надменной, холодной, пахнущей горькими духами. «Совсем и не кукушка», — подумала Девочка, но вслух произнесла другое:

— Где Витька?

Бабушка Лусинэ чистила картошку. Картофельная кожура выползала из-под ее ножа аккуратной полоской, завиваясь в серпантинную ленту. Несмотря на то, что в мойке тонкой струйкой лилась вода, а радио на стене бубнило монотонно и неразборчиво, на кухне стояла такая тишина, что закладывало уши.

— Не знаю, — нарушила звенящую кухонную тишину бабушка Лусинэ, — где-то там, во дворе.

— Это дочь Петроса? — спросила женщина и, не дожидаясь ответа, продолжила: — Похожа как две капли воды.

— Похожа, да, — отозвалась бабушка Лусинэ.

— Подойди ко мне, — женщина отложила сигарету, провела рукой по волосам, приводя их в порядок, — как тебя зовут?

— Девочка, — нехотя ответила Девочка.

— Я вижу, что ты девочка. А зовут тебя как?

— Так и зовут.

— Не может такого быть.

— Она хочет, чтобы ее звали Девочкой, — объяснила бабушка Лусинэ, — вот мы ее так и зовем.

— А имя-то у нее какое? — вздернула тонкие брови женщина. — Что в метрике написано?

— Это стул бабушки Лусинэ,— оборвала ее Девочка.

— В смысле?

— Это стул бабушки Лусинэ! Она потому и чистит картошку стоя. Сесть на другой стул не может — спина болит.

— Надо же. А я забыла.— Женщина поспешно поднялась, хотела пересесть, но зацепила локтем пачку сигарет, уронила, неловко полезла под стол — поднимать.

Пока она возилась с сигаретами, Девочка перетасила стул к мойке, поставила его так, чтобы он уперся сиденьем в ноги бабушке Лусинэ.

— Садись.

— Да я почти уже все,— ответила бабушка Лусинэ, но села, улыбнулась: — Спасибо, деточка.

— Такой клоп, а утерла мне нос,— хмыкнула женщина.

— Марина! — Бабушка Лусинэ выкинула картофельные очистки в мусорное ведро.— Оставь ребенка в покое.

— Я понимаю, что мне тут никто не рад. Даже собственный сын. Даже чужая дочка.

— Ну какая она чужая? Она дочка Петроса, ты его с детства знаешь.

— Я-то его знаю, а он меня, уверена, знать не хочет! — Женщина выудила из пачки новую сигарету, затянулась, выпустила длинную струю дыма, прищурилась: — Можно подумать, я кого-то здесь обидела или оскорбила.

— Давай не при ребенке.— Бабушка Лусинэ перемыла картошку, слила воду из миски, закрутила кран.— Ты бы лучше помогла мне с готовкой.

— Сейчас докурю и помогу.

— Вонь такая от твоего курева — задохнуться можно.

— А еще у бабушки Лусинэ сердечная астма,— прозудела Девочка.

— Да я уже поняла, что немила тебе,— хмыкнула женщина,— все, последняя сигарета, больше дома курить не буду. Ты лучше объясни мне, почему не хочешь, чтобы тебя по имени звали?

Девочка сделала вид, что не слышит вопроса. Она подошла к Витькиной бабушке, дернула ее за рукав.

— А где Витька?

— Я не знаю. Где-то в саду. Прячется.

— Пойду поищу его.

— Ладно.

— Передай, чтобы возвращался домой, мне с ним поговорить надо,— попросила женщина.

Девочка оборачиваться к ней не стала, только бросила через плечо:

— Я пошла.

— До свидания,— голос у женщины звучал глухо, надтреснуто и неровно — словно за нее, перебивая друг друга, одновременно говорят два разных человека. У одного голос женский, с тонкими переливами, а у другого — глуше, с мужской хрипотцой.

— До свидания,— чуть помедлив, ответила Девочка.

Искать пришлось долго. Девочка обошла сад, заглянула на чердак, спустилась в погреб. Даже в курятник заглянула. Искала старательно, но молча — смысл звать Витьку, если он спрятался? Все равно не откликнется. Несколько раз забредала на задний двор, топталась на подступах к старенькому полуразрушенному чулану. Позвала шепотом: «Витька!»

Тропинка, ведущая к чулану, густо поросла кустами злой крапивы — она вытянулась в человеческий рост, ощерилась огромными листьями — не пройти не проехать. Бабушка Лусинэ давно уже ничего не хранила в этом чулане — там было сыро, пахло плесенью и ветошью, в щелях изъеденных жуками стен свистел ветер, а прохудившаяся крыша протекала даже от обильной росы.

Девочка растерянно покружила по двору, заглядывая в совсем уже несусветные места — под старую кособокую лавку, в дождевую бочку, даже в почтовый ящик заглянула. Потом сунулась за невысокую бетонную плиту — ту, которая всегда кишела турки затиками. Спрятаться за этой плитой невозможно, хотя если лечь на землю и плотно привалиться к ней боком... Нет, за плитой места ровно столько, чтобы просунуть руку.

Значит, Витька убежал со двора. Вот только куда?

Она вышла за калитку, огляделась по сторонам. Далеко, в самом конце улицы, у входа в продуктовый

магазинчик толпилась очередь — наверное, привезли что-то дефицитное. Девочка представила, как шумно, гамно и неуютно в этой толпе людям. Если бы не Витька, она обязательно пошла бы туда, чтобы понаблюдать за очередью. Иногда это очень интересно — стоять в сторонке и следить за тем, как ведут себя в толпе женщины и мужчины. Женщины очень живые и крикливые, они могут поссориться, тут же помириться, а следом снова поссориться. А мужчины откровенно страдают. Они делают вид, что оказались тут совершенно случайно и никакого отношения к этому сборищу не имеют.

«Сначала посмотрю у нас, а потом решу, где еще Витьку искать»,— подумала Девочка, резко развернулась и побежала вверх по улице.

Дома нани Тамар и Таты стояли совсем рядом. Когда выныриваешь из-за поворота, первым делом утыкаешься в невысокий забор, который тянется вдоль дороги и отгораживает проезжую часть от сада. Девочка знала каждую жердь, каждый заусенец этого забора и, пробегая мимо, водила ладошкой по его шершавому, подернутому лишайником боку. Дорога обросла по краям одуванчиком и пастушьей сумкой. Нани каждое растение называла по-своему. Пастушью сумку, например, пищей бедняков.

— Цветки и листья отдают малосольной брынзой,— объясняла она,— поэтому в народе это растение называют «хлеб и сыр». А хлеб и сыр — это пища бедняков.

Нани очень любит угощать детей разной травой. То щавеля нарвет, то пастушьей сумки, а то молодую

крапиву с крупной солью в руках перетрет — и давай кормить их, словно птенцов, — щепоть одной, щепоть другому. Ладонь у нани небольшая, с глубокими поперечными линиями, на безымянном пальце левой руки поблескивает старое серебряное кольцо. С ее рук все кажется необычайно вкусным.

Вечер только занимался. Во дворе, на грубо отшлифованной и накрытой пледом скамье, сидели Вера и Тата и в четыре руки чистили грецкие орехи — на варенье. Эта скамья была излюбленным местом отдыха взрослых — сидишь на домотканом пледе, над головой шумит тутовое дерево, высоко в небе летают деревенские ласточки. Иногда они усаживаются шумной стаей на проводах и щебечут о чем-то своем, умиротворенном.

При виде мамы с бабушкой Девочка расплылась в счастливой улыбке — как хорошо, что они дома. Летом и мама, и Тата, и бабушка Шушик рядом — в школах каникулы, учителя не работают.

— Ты где пропадала? — спросила у дочери Вера. Узел сине-голубого платка смешно топорщился у нее в волосах.

— У бабушки Лусинэ.— Девочка, чтобы не испачкаться — ореховый сок не смывается с одежды, обошла скамью, ткнулась лбом сначала в затылок маме, потом — Тате. Они обернулись одновременно, чмокнули ее в щечки.

— Сама худющая, а щеки — во,— кругло повела руками в воздухе Тата.

Девочка прыснула, боднула ее в плечо. Вера рассмеялась:

— Вся в Петроса. Даже щеками.

— Это да,— самодовольно откликнулась Тата.—
Вся в моего сына.

— Витьку не видели? — спросила Девочка.

— Видели,— Тата ткнула пальцем вверх,— сегодня он играет в молчаливого покорителя вершин.

Девочка задрала голову. Витька сидел на шершавой ветви шелковицы, свесив вниз худые, искусанные комарами ноги.

— Тут я,— пробубнил он.

— А я тебя ищу. Сейчас поднимусь.

Девочка вскарабкалась на дерево, осторожно подползла к Витьке, уселась рядом, плечом к плечу. Скосила глаза на него, завозилась, шумно вздохнула. Первой заговорить не решалась, поэтому сидела молча, только водила в воздухе ногами. Внизу, прямо под ними, мама с Татой чистили орехи — срезали острым ножом зеленую, плотную, пахнущую горечью кожуру. Ореховый сок моментально окрашивал пальцы и ногти в кофейную черноту. На земле стояли две большие кастрюли. В одну женщины кидали кожуру, а в другую — очищенные плоды.

— Как вовремя мы взяли за варенье,— посмотрела вверх Тата,— видишь, перегородки мягкие, еще не затвердели. С грецкими орехами нужно держать ухо остро: промахнулся на два дня — и они уже непригодны для варенья.

— А как не промахнуться на два дня? — спросила Девочка.

— Нужно каждый день срывать по одному плоду и проверять его зрелость. Я тебя потом научу, как правильно вычислять зрелость ореха.

— А когда варенье будет готово?

— Недели через две,— Тата спохватилась, растопырила почерневшие пальцы,— через четырнадцать дней. То есть десять и еще четыре дня.

— Уууу, как долго. Да, Витька? — Девочка ткнула его локтем в бок, как бы приглашая к разговору.— Скажи?

Витька шмыгнул носом, нахохлился.

— Он сегодня молчаливый как никогда,— Вера кинула в кастрюлю очищенный орех, взялась за другой,— прибежал, взобрался на дерево и сидит. На все расспросы отвечает угрюмым молчанием.

Витька зашебуршил, снова шмыгнул носом. И выдал неожиданно глухим, ломким голосом:

— Она за мной приехала. Хочет забрать с собой. Насовсем хочет забрать. В Симферополь. Это город такой. Она там живет.

У девочки резко разболелось в животе. Она обхватила себя крест-накрест руками, чтобы утихомирить боль.

Внизу воцарилась тишина. Вера отложила нож, встала:

— Мама за тобой приехала?

Витька молча кивнул.

— Я ее видела,— голос Девочки предательски зазвенел, оборвался,— она нехорошая. Она мне совсем не понравилась!

— Слезайте с дерева. Пожалуйста,— попросила Вера.

Тата продолжала чистить орехи — мерными, однообразными движениями — срежет кожуру по окружности ореха, а потом убирает остатки короткими стежками ножа. Наверху шумно хлопнула дверь. По лестнице, опираясь рукой о металлические перила и аккуратно ступая боком, спускалась нани Тamar. Девочка при виде нани заскулила — тихо, жалобно.

— Нани, ай нани. Витьку увозят.

— Что? — Нани остановилась, приложила ладонь к глазам, выглядывая правнучку в ветвях дерева.— Повтори, я не расслышала.

— Слезай,— Вера подошла к стволу шелковицы, протянула к дочери руки,— и дай Витьке слезть.

Девочка словно не слышала и не видела ее. Она сидела, горестно ссутулившись, и скулила однотонным, жалобным голосом. На Витьку не оборачивалась, словно его здесь уже нет, словно он уехал — далеко и навсегда. Витька молчал, только иногда громко, зло шмыгал носом.

Нани заторопилась, заковыляла вниз по ступенькам, приговаривая:

— Что она говорит? Что она говорит?

— Доченька,— позвала Вера,— посмотри на меня. На меня посмотри, пожалуйста.

Девочка утерла ладошкой слезы, глянула на мать.

— Спускайся. Мы все обсудим. Мы найдем решение. Я тебе обещаю.

— Хорошо.

Девочка нашарила ногой кривой выступ на стволе дерева, поползла вниз. Вера обхватила ее под мышками, помогла спрыгнуть на землю. Протянула руку спускающемуся следом Витьке:

— Держись.

— Я сам.

Нани уже мелко семенила к ним, приговаривая:

— Ну что с ней такое? Тата? Хоть ты ответь!

— Марина приехала за Витькой.— Тата кинула последний орех в кастрюлю, встала, с трудом выпрямила спину.— Вот дети и переживают.

— Явилась! Столько лет ее не было, и вот, на тебе! — Нани осеклась, поджала губы. Видно было, что хотела еще что-то добавить, но не стала при Витьке. Она погладила его по голове, потом полезла в карман фартука, достала горсть сухофруктов — нате, ешьте.

Девочка прижалась к ней, заныла:

— Она ведь не заберет его, да?

— А может, Витька сам хочет уехать? Пожил с бабушкой, а теперь с мамой поживет.

— Не хочу,— замотал головой Витька.

— Давайте дождемся Овакима и Петроса. Они вернутся с работы и подскажут, что делать. Мужчины лучше знают, как в этой ситуации быть,— вздохнула Тата.

— А и верно,— подхватила нани,— давайте дождемся.

Упоминание мужчин успокоило детей. Уж кто-кто, а они точно не дадут Витьку в обиду — он ведь вырос у них на глазах. Витька часто бывал в доме

Девочки. То к Тате с задачником по математике прибежит, то Вера с ним русский делает, то они с Девочкой затеют очередные прятки и носятся по чердакам и задним дворам, выискивая укромные уголки. Иногда дети ссорились — чаще всего это случалось, когда в Витьке просыпался задиристый мальчик, а в Девочке — плаксивая девочка. В такие дни они демонстративно не общались, игнорируя друг друга. Правда, в гости ходить друг к другу не переставали. Взрослые наблюдали, посмеиваясь, за ними, но виду не подавали и мирить не стремились — сами поспорились, сами и находите друг к другу подход.

К тому времени, когда вернулся с работы Оваким, Тата с Верой быстро управились с орехами — помыли их, залили водой и отставили в сторону. Теперь орехи будут лежать в воде трое суток. Единственное, что нужно, — несколько раз в день менять старую воду на свежую. Между делом Вера позвонила бабушке Лусинэ:

— Ну как вы там?

— Ночью приехала, — отозвалась бабушка Лусинэ. — За восемь лет ни звонка, ни приветов...

За окном раздались возмущенные причитания нани.

— Что же делать? — Вера прижала трубку плечом к уху, подхватила телефон, подошла к окну, чтобы посмотреть, чему так возмущается Тамар.

Посреди двора горел небольшой костер. Нани хлопала себя по коленям, возводила руки к небу и отчитывала детей:

— Отвернулась на секунду — а они уже набедокурили. Быстро за водой — будем костер тушить. А потом принесите чипот¹ — надо заговорить плохую погоду.

— Тamar, ты снова за свое? — раздался голос Овакима.

— Бабушка Лусинэ, потом поговорим, свекор вернулся, — заторопилась Вера. — Вы, главное, не волнуйтесь за Витьку, он у нас.

— Хорошо, дочка.

Когда Вера вышла на веранду, Оваким вел один из своих привычных, но совершенно бесполезных диалогов с тещей. Почему бесполезных, потому что толку от этих разговоров был ноль — в итоге каждый оставался при своем.

— Тamar, — возмущался Оваким, — мы в каком веке живем?

— В каком надо, — отозвалась Тamar и опрокинула на костер ковш с водой. Костер зашипел, задымился и погас.

— Какие такие заговоры? Что за мракобесие? — тянул свое Оваким.

— Сынок, тебе жалко, что ли?

— Мне не жалко! Я просто не могу этого понять! Ты зачем головы детей всякой ерундой забиваешь?

— Мы выросли на этой ерунде — и ничего. В людей выросли, не в илиштраков!²

¹ Чипот — специальная палка, которой выбивали шерсть.

² На местном диалекте — демон.

— Оваким,— окликнула мужа Тата,— оставь их в покое. Пусть делают что хотят. Пойдем лучше поешь, Вера твою любимую окрошку приготовила — с огурчиком, на мацуне.

Оваким хотел возразить жене, но не стал — только махнул рукой и пошел вверх по лестнице.

— Глядишь, поест — складка между бровями разгладится,— шепнула Тата Тamar.

Тамар прикрыла рот ладонью, неслышно рассмеялась. Дождалась, пока Оваким скроется из виду, потом обернулась к детям, рявкнула на них:

— Кому было велено принести чипот? Натворили делов и стоите разинув рты? А ну-ка быстро метнулись в погреб!

— Сейчас! — И девочка с Витькой помчались наперегонки за чипотом.

— Ты бы не возражала Овакиму при младших! — попросила Тата.

— Значит, он при детях может на меня, старую женщину, повышать голос, а я не должна ему возражать? — обиделась Тамар.

— Я с ним тоже поговорю.

— Тогда другое дело.

Тата ушла на кухню, принялась за приготовление летнего салата.

— Петрос сегодня опаздывает,— глянула на часы Вера,— полвосьмого уже.

— Может, что-то срочное, больного, например, привезли. Позвони узнай.

— Накроем стол, и позвоню. Картошка пожарилась — пора уже есть. Остынет — будет невкусно.

— Дети сейчас придут, только костер заговорят...— Тата осеклась, оглянулась, чтобы удостовериться, что Оваким не слышит.

— Он наверху, переодевается, — рассмеялась Вера.

— Я между ними как голубь мира рею! — Тата выложила овощи в большую миску, посолила, посыпала зеленью, украсила большой ложкой сметаны, но размешивать не стала — она не любила, когда помидоры раньше времени пускали сок. — Тамар упирается в традиции, а Оваким считает это мракобесием. Вот ты, дочка, молодая, начитанная, ты считаешь мракобесием то, что Тамар заговаривает с детьми костер?

— Нет, — улыбнулась Вера, — это, наоборот, хорошо. Развивает у них фантазию.

— Вот и я так считаю. А Овакима не переубедить, у него одна верная линия — партийная. А все остальные побочные и, значит, неправильные.

— Еще раз увижу, что кинули в костер живую ветвь — выпорю вас этим чипотом, — раздался скрипучий голос Тамар. Тата с Верой выглянули в окно. Дети, навесив на лица фальшиво-скорбные мины, наблюдали за тем, как нани колдует с останками костра.

— Фелен, Пелен и Самум Гелен, — фыркнула Вера, выудив откуда-то из памяти персонажей старинной болгарской сказки. Эту сказку им с Лилькой часто рассказывала Анна Николаевна. Девочки взбирались с ногами на кушетку, укутывались пледом, Анна Николаевна садилась рядом, вязала или штопала и долго, с подробностями, рассказывала сказку о трех братьях-бездельниках, которые однажды решили взо-

браться по высокой лестнице на небо, чтобы забрать оттуда луну — уж очень она напоминала им большой круг вкусного, жирного сыра. Ну и кончилось все тем, что лестница сломалась, и братья кубарем полетели вниз.

Вера внимательно наблюдала, как Тамар чертит чипотом крест таким образом, чтобы кострище оказалось в его центре. Потом она обсыпала тонкой плоской соли крест, соединяя его концы в круг.

— По часовой стрелке,— бубнила Тамар себе под нос,— обязательно по часовой стрелке. Чтобы вымолить у природы прощение за то, что погубили ее живое дитя. Вот сколько раз я вам говорила — нельзя кидать в костер живую зелень? — снова напустилась она на детей.

— А мы специально! — тренькнула Девочка.— Нам было интересно узнать, работает примета или нет?

— Нечего демонов будить, раз они спят. Разбудишь — обратно не загонишь. А теперь несите метлу, будем мусор выметать!

— Сейчас! — Дети были счастливы — бурчание нани их ничуть не задевало. Они относились к нему с легкостью и с пониманием: набедокурил — получил втык. Закон справедливости.

Хлопнула дверь наверху. Оваким — переодетый в домашнее, со свежей газетой под мышкой — спустился со второго этажа.

Вера вытащила из холодильника кастрюлю с крошкой — холодная, на разбавленном мацуне, с мелко рубленными огурчиками и зеленью, она была

излюбленным летним блюдом бердцев — спасала от жары и не утяжеляла желудок.

— Пора ужинать,— позвала в окно Тата.

— Идем!

Пока дети мыли руки, Тата в двух словах рассказала Овакиму о приезде Марины. Оваким выслушал молча, крякнул, побарабанил пальцами по краю стола:

— Вернулась, кукушка. Вспомнила о ребенке. А на кого она Лусинэ собирается оставлять?

— Но мы же не бросим ее.

— Мы-то не бросим, а она?

Продолжить разговор не получилось — на кухню влетели дети.

— Я не голодна. Мне немного картошки и больше ничего! — заявила с порога Девочка.

— Началось! — закатила глаза Тата.— Ты можешь хоть раз по-человечески поесть?

— Могу. Но не хочу.

Девочка взобралась на колени к Овакиму, прижалась щекой к его щеке:

— Паааапик! Паааапичек!¹

Оваким поцеловал ее, погладил по голове, усадил рядом.

— Виктор, а ты справа от меня садись. Вот тут.— Он похлопал рукой по сиденью стула.

Витька кивнул, сел, молча принялся есть, не поднимая глаз,— Овакима он любил, но очень стеснялся.

¹ Пап, папи, папик — дедушка (арм.).

Вера уже собиралась идти звонить в больницу, но заметила в окно мужа. Тот стоял у забора и разговаривал с высокой темноволосой женщиной. Вера несколько секунд наблюдала за ними — Петрос был явно не в духе, раз убрал руки за спину,— он всегда так делал, когда сердился. Молодая женщина сильно жестикулировала — волновалась.

Вера вышла из дому, пошла к ним. Петрос заметил ее, подался навстречу, она замотала отрицательно головой — стой где стоишь.

— Марина? — спросила, хотя спрашивать не имело смысла — Витька удивительным образом был похож и на отца, и на мать. На отца — большими, немного навывкате глазами и высокими скулами, на мать — овалом лица и полноватыми губами.

— Вы Вера?

— Да.

— Витька у вас?

— Какая тебе разница? — встрял Петрос.

— А тебе какая разница? — резко обернулась к нему Марина.— Он вообще тебе кто?

— Да он вырос у меня на глазах! А вот кто ты ему — это большой вопрос.

— Подождите,— Вера встала между мужем и Мариной,— не ссорьтесь. Витька у нас. Ужинает.

— Я хотела забрать его.— У Марины запыргали уголки губ, еще немного — и расплечется.

Вера испугалась, что Марина сорвется в крик, устроит истерику. На шум выбегут дети... Этого нельзя было допускать.

— Вас не было так долго,— она заговорила медленно, аккуратно подбирая слова,— дайте ему обвыкнуться с мыслью, что вы вернулись. Ему ведь всего восемь, он еще ребенок. Пусть он сегодня останется у нас, успокоится. А завтра я его приведу к вам. Обещаю.

Марина колебалась с минуту.

— Хорошо. Спасибо.

Она повернулась, пошла по дороге, неловко ступая высокими каблуками босоножек.

— Ты почему с ней так грубо? — обернулась к мужу Вера.

— Я что, хороводы вокруг нее должен водить?

— Она — женщина, ты — мужчина. Должна же между вами быть хотя какая-то субординация.

— Вера, мы с ней выросли вместе. В одном классе учились, за одной партией сидели. Я был шафером на их с Аветисом свадьбе. Она бросила его, уехала с каким-то военным. Аво по гарнизонам мотался, а его мать с ребенком сидела. Когда он погиб, она все не верила, все думала, что в гробу не ее сын, а какой-то другой офицер лежит. Я сам вскрывал этот чертов гроб, чтобы удостовериться, что там — Аво. Вера! Какая! К черту! Может быть! Между нами! Субординация!

— Извини.— Вера зарылась лицом в грудь мужа, вдохнула знакомый запах лекарств — Петрос после работы всегда пах больницей.— Извини. Пойдем ужинать. Потом, когда дети уснут, поговорим. Все уже в курсе — и нани Тамар, и твои мама с папой. Пойдем.

Высоко над головой, царапая острыми крыльями подол неба, летели деревенские ласточки. «Заговор нани помог,— подумала про себя Вера,— раз ласточки летят высоко, значит, дождя не будет». Подумала — и улыбнулась своим мыслям. Надо же, она уже научилась предугадывать погоду по приметам.

После ужина пришла бабушка Лусинэ. Взрослые уложили детей, а сами расположились на старой лавочке под тутой. Оваким с Петросом курили, женщины тихо переговаривались. Настроение было безрадостное, все понимали, что настало время перемен. Бабушка Лусинэ приговоренно плакала, утирала краем фартука слезы. Тамар гладила подругу по плечу, утешала как могла. Солнце давно уже ушло за плечо Хали-кара, в воздухе разливалась долгожданная прохлада. Тень от дома, поначалу неуверенная и бестелесная, постепенно набралась силы и стремительно расплзлась по чисто выметенному двору. Затопив все и вся, она тихо плескалась в ожидании ночи — заколдовывала ветер.

Витьке постелили в комнате Девочки. Притащили сверху раскладное кресло, поставили его так, чтобы дети могли спокойно шушукаться. Они заснули мгновенно, сморенные долгим, беспокойным днем. Это была первая ночь, когда Девочка уснула без игрушек и книжек — с Витькой ей было не страшно. Он был неотделимой частью ее семьи, ее мира, ее дома. Ее городка.

В первое воскресенье июля Марина его увезла.

ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕР

Я лежу на старой скрипучей тахте и наблюдаю небо. Мама распахнула окна, впустила в дом ветер, и он теперь вытворяет что хочет: надувает шторы в воздушные паруса, громко хлопает ставнями, шелестит страницами красочного журнала. Дома пахнет ореховым вареньем, летним садом и совсем немного — речкой. Мы живем почти на краю Хали-кара, отсюда речку не видать, но, если открыть окна, можно ее услышать, а иногда даже почувствовать — запах талого снега, нагретых на солнце валунов и мокрого мха долетает до нас и недолго витает по дому.

Я лежу на старой скрипучей тахте и наблюдаю небо. Оно высокое, ослепительно-летнее, в молочной дымке облаков. Облака стремительно меняют очертания, словно играют в угадайку на скорость — только успел сообразить, что тебе показывают корабль, как он распадается на две части и превращается в бабочку-капустницу.

Нани говорит, что по углам горизонта стоят восемь огромных узкогорлых кувшинов — медные, тяжелые, с нежным узором чеканной вязи. Каждый такой кувшин набит до краев ветром и крепко закупорен. Бог просыпается утром, открывает один кувшин и ставит его на бок. Ветер вырывается на свободу и целый день гуляет по земле — играет с облаками, шумит в кронах деревьев, нагоняет и разгоняет грозу, а вечером возвращается обратно. Бог журит его, если он

плохо себя вел, загоняет в кувшин, закупоривает и ставит как надо, горлышком вверх.

— Поэтому никогда не знаешь, откуда завтра ветер подует,— вздыхает нани.

— Тамар, ты снова за свое? — хмурится бабушка.

— А что нани не так сказала? — спрашиваю я.

— Это просто легенды, никаких кувшинов за горизонтом нет!

— О восьми ветрах мне прабабка Тейминэ рассказывала! А ей рассказывала ее прабабка Нунофар! Восемь поколений разве могут врать? — вскидывает голову нани. Косынка съезжает со лба, открывает седые волосы. Нани неспешно убирает выбившиеся пряди, снова берется за спицы. Она вяжет полосатый носок. «Квик-квик-квик»,— стучаются друг о друга острые кончики спиц, «шур-шур-шур»,— отматывается с клубочков шерстяная пряжа. Клубочков три — оранжевый, фиолетовый, зеленый. Носки получатся веселые — в полоску, и немного кусачие — когда стягиваешь их с ноги, ступня чешется, как от комариных укусов.

— Я не говорю, что ты врешь. Это сказки, легенды. Никаких кувшинов за горизонтом нет,— гнет свою линию дед.

— А если есть?

— Тогда почему мы их не видим?

— Наверное, много чести их видеть, вот и не видим,— отзывается нани.

Дед с шумом захлопывает книгу. Барабанит пальцами по колену. Хочет возразить, но косится на меня и передумывает. Снова раскрывает книгу.

Нани повязывает платок причудливым тяжелым узлом на затылке. Я люблю заплетать его бахрому в косички — она длинная, почти невесомая, шелковая на ощупь. Это очень старый платок, таких сейчас не делают и никогда уже не будут делать.

— И что, никому не увидеть этих кувшинов? — расстраиваюсь я.

— Если тебе удастся пройти под радугой, ты их увидишь,— отвлекается от вязания нани.

— То есть как?

— А вот так. Только тебе придется заплатить за это высокую цену. Человек не может безнаказанно пробегать под радугой. Поэтому те девочки, которым это удастся, превращаются в мальчиков, а мальчики — в девочек.

— Тamar! — снова подает голос дед.

— Читай своего Ленина и не мешай нам,— возражает деду нани.— В Бога не веришь? Не веришь. Вот и не возмущайся.

Я лежу на старой скрипучей тахте и наблюдаю небо. Бог сегодня откупорил тот кувшин, что стоит на востоке. Поэтому кружевная вереница облаков уходит за солнцем на запад, туда, куда гонит их восточный ветер. Сегодня был тихий день, ни грозы, ни ливня, Бог не станет его ругать.

Утром, зацепившись крылом за плечо этого ветра, улетел в далекие края Витька. Нам уже никогда не поиграть в прятки, и к уста Саро в гости не сходить, и на речке тишину не послушать...

Я вспоминаю дельфина, который привиделся Витьке под водой. Он, наверное, приплыл предупре-

дить нас, что скоро его заберут, а мы не поняли... Какие мы глупые — я, Витька и даже нани...

Я поворачиваюсь на бок, осторожно, чтобы не видели взрослые, смахиваю слезу. За первой слезой бежит вторая, потом третья. Зарываюсь лицом в тугий диванный валик, сдерживаю дыхание, чтоб не расплакаться в голос.

За окном, цепляя высокие кроны кипарисов, течет великая небесная река, перекатывая на гребнях своих ласковых волн тюлевые лоскуты облаков.

ДЕВОЧКА



УТРО

Наш городок делится на две части — старую, где живем мы, и новую. В новой строят высотные дома — трехэтажные и пятиэтажные, из розового гладенького туфа. Если провести по стене нового дома рукой, ладонь ни за что не зацепится. Такое впечатление, что туф, словно масло, разрезали горячим ножом.

Я люблю старые дома. У них шершавые стены, потому что речной камень, из которого их возводили, в крупных, неровных сколах. Проводишь ладошкой по боку такого дома — и он цепляет тебя за пальцы, словно хочет удержаться рядом.

Старые и новые дома пахнут совсем по-разному. Наш дом — старый, и пахнет он садом, свежеевыпеченным хлебом, дровяной печкой, домашней ветчиной, соленьями из погреба и амбарным замком, на который нани запирает хлев Сето. А новые дома пахнут стеклом, бетонными лестницами, газовыми колонками, шумными дворами, высоченными фонарями. Мне нравится новый Берд — он почти такой, какими показывают города в телевизоре. Но жить я там, наверное, не смогла бы. Может быть, потому, что все мои родные живут в старой части городка, а еще потому, что я не могу представить, как это такое возможно — поселиться на пятом, например, этаже. Просыпаешься — а за окном — ничего. Ни яблоневых деревьев, ни цветочных кустов, ни серых, утопающих в осеннем разноцветье шиферных крыш.

Я хорошо знаю, как пахнет шифер, потому что часто вожусь у нани на чердаке. У чердака скошенная крыша, с одного бока она высокая — не допрыгнуть, а с другого лежит на полу. Я могу долго наблюдать волнистый узор шифера сквозь балки перекрытия. Если немного прищурить глаза, он начинает рябить и перекатываться, кажется — еще чуть-чуть, и укатит волнами за горизонт.

После отъезда Витьки я провожу много времени на чердаке. Одна. Маму очень беспокоит моя замкнутость. Сначала она водила меня к соседям, у которых маленькие дети. Чтобы я завела себе новых друзей. Но мне было скучно с ними, даже поговорить было не о чем — у них свои разговоры, у меня — свои. Они

мне про то, что за домом большая лужа с головастиками, айда ловить их и выкидывать в сортир, а я им в ответ словами нани — нельзя обижать живую природу, обижая ее — обижаешь себя. Соседские дети выслушают меня, покрутят пальцем у виска и убегут ловить головастиков. А я ухожу с мамой домой. Держусь за мамину руку, а другой рукой цепляюсь за подол ее платья. Для надежности.

В сентябре Тата записала меня в детский сад. Чтобы я научилась жизни в коллективе. Такое вот смешное слово — коллектив.

Мне в садике не понравилось. Во-первых, он пахнет невкусно — остывшей манной кашей, несладким чаем и кусачими одеялами в унылую клетку. А во-вторых — там много детей, и они дразнятся. И воспитательница какая-то странная. Вывела меня в центр комнаты и представила:

— Дети, у нас новенькая, и зовут ее так-то и так-то.

Я ей говорю — зовите меня просто Девочка. А потом детям говорю — зовите меня Девочка.

А тут мальчик один — смешной такой, вся голова в мелких кудрях — говорит:

— Да какая она девочка, она настоящий дядя Степа.

И громко рассмеялся. И дети рассмеялись за ним. И я тоже рассмеялась.

— Можете называть меня, если хотите, дядей Степой,— предложила я им.

И полдня ходила дядей Степой. А когда воспитательница обращалась ко мне по имени — делала вид, что не слышу ее. Сначала она удивлялась, потом

рассердилась — ей, наверное, показалось, что я издаваюсь над ней. Но я ей объяснила еще раз — не называйте меня по имени, по имени меня никто не называет, даже мама.

Воспитательница выслушала меня и повела к садиковому психологу. Психолог мне сразу понравилась — толстая, румяная, с большой грудью и попой. Настоящая русская народная печка. Она вручила мне карандаши и предложила нарисовать свою семью. Ну я и нарисовала. Большой дом, синее небо, красное солнце, тутовое дерево. На лавочке сидят мама, папа, дед, Тата и нани. Дед с папой играют в нарды, мама читает, Тата перебирает горох. Нани вяжет. Рядом с лавочкой стоит конура Боцмана. После Витькиного отъезда Боцман навсегда переселился к нам. Сам так решил, никто его не заставлял. А бабушка Шушик завела себе новую собаку, правда, теперь уже девочку. Зовут ее Чита. Смешная такая — сил нет. Первым делом прорыла лаз под конурой. Нормальные собаки в конуру через вход пробираются, а она — через лаз. Дед Арам говорит, что она прирожденная разведчица. «Или воровка», — смеется Жено. Жено в последнее время постоянно смеется, ей вообще все кажется смешным, даже пасмурная и дождливая погода. Наверное, она столько раз обнимала меня, что продлила свою жизнь до тысячи лет. Вот и радуется такой долгой жизни. Да и свадьба у нее на носу. Тоже радость.

Но я отвлеклась, мне надо было про психолога дорассказать. Так вот. Когда я вручила ей свой ри-

сунок, она принялась расспрашивать, кого я нарисовала. А потом спросила: а себя ты почему не нарисовала?

— Потому что я на них с чердака смотрю,— объяснила я.

— Почему с чердака? — полюбопытствовала тетенька-психолог.

— А я знаю? — пожалала я плечом.— Я просто много времени там провожу. Вот и наблюдаю за ними оттуда.

Потом психолог расспрашивала меня о разном. Умею ли читать, что люблю, что не очень. Сколько будет два плюс два. А если два плюс два, а потом плюс три, а потом минус один? Удивилась, как споро я умею складывать цифры. Хотя что тут удивляться, у меня в роду почти все математики. А Тата моя, говорю я психологу, когда училась в десятом классе, преподавала младшеклассникам математику. Так хорошо ее знала.

— Подожди,— психолог раскрыла тетрадку, прочитала мою фамилию,— ты внучка Таты Меликян?

— Да,— говорю я,— а что, в вашей тетрадке не написано, чья я внучка?

— Не написано,— говорит психолог.— Надо же! Я как раз была одной из тех младшеклассниц, которым твоя бабушка преподавала.

Она убрала в ящичек тетрадь, встала из-за стола. Ну все, теперь понятно, почему она такая толстенькая. Живот у нее большой. Скоро ребенок будет. Я осторожно глянула на ее ноги. Интересно, на какой ноге доктор сделает надрез, чтобы вытащить ребенка? На этой или на той?

Тетенька-психолог проследила за моим взглядом, почему-то смутилась. Снова села за стол.

— Ноги от жары отекают,— объяснила она мне.

Ага, держит меня за дурочку. Думает, что я не знаю, отчего отекают ноги. Ребенок идет, вот они и отекают!

Потом тетенька-психолог спросила, почему я не хочу, чтобы меня называли по имени. Я молча пожалала плечом. А потом вытянула губы в ниточку и уставилась в окно. Я всегда так делаю, когда не хочу говорить.

— Тебе не нравится твое имя? — не унималась психолог.— Если не нравится, можно поменять. На Анну, например. Или на Асмик. Как тебе?

— Красиво. Но я не хочу. Мне мое имя нравится,— буркнула я.

— Тогда почему ты не хочешь, чтобы тебя называли по имени?

Ну я подумала, что она от меня просто так не отстанет, и пустила слезу. Я всегда так делаю, когда хочу, чтобы взрослые оставили меня в покое. Хитрость у меня такая. Годами проверенная.

Психолог при виде моих слез тут же растерялась. Пересела ко мне, принялась гладить по волосам и говорить, что я хорошая и умная девочка. И что если я не хочу об этом говорить, то и ладно. Потом вытащила из своей сумки карамельку и протянула мне.

Я еще немного поплакала, чтобы она не расслаблялась, а потом, убедившись, что расспрашивать она меня больше не собирается, развернула конфету и съела. И попросила отвести меня в группу.

Вечером, когда мама пришла меня забирать, тетенька-психолог долго разговаривала с ней. Все повторяла — необычный ребенок, необычный ребенок. Ну не знаю, по мне — я вполне обычный ребенок. Может, немного трусливый, потому что Гектора боюсь. Но кто из детей не боится злых собак? Правда, причин бояться Гектора у меня сейчас нет. Теперь он меня в упор не видит. Облаивает из-за забора всех прохожих, а при виде меня умолкает. Наверное, заговор старой знахарки повлиял не на меня, а на пса. Поэтому он меня просто не замечает. Но я его все равно боюсь. Он огромный, как медведь, если захочет — в один прыжок через деревянный частокол забора перелетит. Или вообще в два приема прогрызет в нем дыру размером с себя. Чтобы легче было пролезать. Поэтому я редко хожу мимо дома тети Вардик. А с дядей Леваном здороваюсь так, издали. Рукой помашу, и все. Он кивает мне и приговаривает: здравствуй, деточка, здравствуй,— а выходить за калитку уже совсем не может — сейчас на дворе осень, а осенью и весной у него ноги особенно сильно болят. Так и сидит на скамейке, пока кто-нибудь из сыновей не поможет ему обратно пройти до дома. Однажды дядя Леван остался под дождем — тетя Вардик ушла в магазин, а сыновья гоняли в футбол в школьном дворе. Я возилась у нани на чердаке, случайно выглянула в окно и увидела его. Если бы такое случилось с кем-нибудь из моей семьи, наш пес Боцман мигом бы поднял шум, чтобы привлечь внимание. А Гектор — недаром я его тер-

петь не могу — малодушно скрылся у себя в конуре и оттуда наблюдал, как мокнет под дождем его хозяин. Хорошо, что папа был дома. Я прибежала к нему, все рассказала. Папа сразу пошел к ним, взвалил дядю Левана на плечо и принес к нам. Дядя Леван у нас три часа просидел, пока не вернулась из магазина тетя Вардик. Она стояла в очереди за полотенцами, вот и не стала уходить, подумала, что кто-нибудь из сыновей вспомнит об отце. А никто из сыновей и не вспомнил — так и гоняли мяч на школьном дворе до позднего вечера. Странная у них какая-то семья, тетя Вардик с сыновьями словно из одного теста, а дядя Леван — совсем из другого.

На следующий день после разговора с мамой психолог пришла к нам в гости. С мужем и коробкой конфет. Муж у нее такой смешной — близорукий, долговязый, с торчащей колом бородкой. Папа его всухую переиграл сначала в шахматы, потом в шашки, а потом в нарды. Муж тетеньки-психолога от этой череды проигрышей сделался мрачным и немногословным. Правда, потом отошел и даже шутил на тему того, что это он специально поддавался, а то как-то неудобно у хозяина дома выигрывать. А папа делал вид, что верит.

Тетенька-психолог долго разговаривала с Татой, мамой и нани. С того дня я уже не ходила в садик. Мама объяснила, что я все равно опережаю садиковских детей. «В росте и вообще, — вздохнула она. — Так что посиди еще год дома, а в следующем сразу пойдешь в школу. В первый класс».

Счастьем моему не было предела! За два дня, проведенных в садике, я подустала от их порядков и даже приболела. Кашляла, чихала. Потом начала чесаться. Потом покрылась сыпью. Оказалось — у меня открылась аллергия.

— На нервной почве,— заключил доктор, к которому повела меня нани, и выписал целую кучу лекарств. Нани вышла за порог его кабинета и выкинула рецепт лекарства в урну.

— Ишь чего надумал — химией ребенка травить. Я сама тебя вылечу. Народными средствами.

Я неправильно расслышала про свою болезнь, мне показалось, что доктор сказал «аллергия на нервной почке». Поэтому сначала аккуратно спрашивала у нани, что такое почка, а потом — с чего это у меня такие нервные почки. Нани так смеялась, что не заметила колдобины на дороге и угодила туда ногой. Зачерпнула целую туфлю воды и потом долго ругалась на коммунальные службы за разбитые дороги, суля им геенну огненную и другие страшные напасти.

И у меня наступили счастливые времена. Никто из взрослых уже не пытался сводить меня с другими детьми на предмет дружбы или приучать меня к жизни в коллективе. А про садик мы забыли раз и навсегда: не нравится мне там — ну и ладно!

Теперь я почти все время провожу с нани. Потому что все на работе — мама, Тата и бабушка Шушик в школе, Жено в музыкальной школе — она преподает там фортепиано, папа в больнице, дед в своем горкоме, а дед Арам — в нотариальной

конторе. Он там разные важные бумаги заверяет — нацепит очки и давай ставить печати, сколько не жалко. Хоть по три на каждой странице. Хорошая работа, не скучная. Я однажды понаблюдала за дедом Арамом, а потом решила тоже стать нотариусом. Буду ходить важная, в очках, и все пальцы в чернильных разводах. Красота!

Дни у меня похожи один на другой. Утром я играю на чердаке — пока нани ковыряется в огороде, кормит кур и Сето, а потом занимается готовкой, я ей не мешаю. А потом, после обеда, мы проводим время вместе. Иногда в гости ходим — к моей бабушке Кнаррик — младшей сестре Таты, или к бабушке Лусинэ. Бабушка Лусинэ как увидит меня, тут же хватает в охапку, прижимает к себе, целует в макушку, в щеки, в глаза.

— Когда я обнимаю тебя, моя тоска по Витьке чуть-чуть убывает,— говорит она.

— А жизнь не удлинится? — на всякий случай уточняю я.

— Конечно, удлинится.

Я безропотно даю бабушке Лусинэ обнимать себя. С отъездом Витьки обнимать ей некого, и я чувствую, как из нее, словно из решета, каплями уходит жизнь. Бабушка Лусинэ теперь целый день плачет. Готовит, убирается, стирает с мокрым от слез лицом. Когда она начинает рассказывать о Витьке — как он устроился в хорошую школу, как его хвалят учителя, я ухожу в другую комнату — туда, где висит портрет его папы. И сижу там, пока бабушка Лусинэ тихо пересказывает последние новости нани. Ухожу, потому что не могу

видеть, как она рыдает, рассказывая о Витьке. Да и не люблю я о нем слушать. До сих пор в носу щиплет, когда вспоминаю его.

Позавчера, когда мы с нани возвращались от бабушки Лусинэ, столкнулись на улице с уста Саро.

— Ты совсем ко мне не заглядываешь,— ответил он на мое приветствие.

— Витька уехал, вот и не прихожу,— принялась оправдываться я,— у вас дом стоит на краю ущелья, мне страшно туда одной приходиться.

— Мне, значит, не страшно на краю ущелья жить, а тебе страшно ко мне в гости заглядывать?

— Ну вы старенький. Вам можно,— чуть подумав, ответила я.

— В смысле мне можно? — Часовщик удивленно вздернул брови, потом обернулся к нани и сделал такой жест рукой, словно пригласил ее к разговору.— Тамар, слышишь, что твоя правнучка говорит?

— Правильно говорит,— ржаво отозвалась нани — у нее с уста Саро странные отношения, они постоянно шутят друг над другом,— тебе, старому пню, только там и жить. Отвалится край ущелья — и унесет тебя нашей речкой прямо в Куру. Останешься без могилы, зато сэкономишь на похоронах и панихиде.

— Ну никаких других слов от твоей нани я и не ожидал,— теперь часовщик уставился на меня,— у нее не язык, а бритва.

— Вот и не нарывайся,— встала руки в боки нани.

— Знаешь что? — Уста Саро говорил со мной так, словно нани рядом вовсе нет: — Приходи ко мне в го-

сти с прабабушкой. У меня есть специальный инструмент для шлифовки. Отшлифуем ей язык, сделаем его коротким и кругленьким. Жалить никого она уже не сможет.

— Если обещаешь не трогать язык нани, то мы к тебе придем,— ответила я.

— Хорошо,— согласился уста Саро.

— Твоему аппетиту — укус!¹ — отозвалась нани.— И не надейся, я в твой дом — ни ногой!

— Я кркени испеку. По рецепту Лусинэ,— не обращая на нее внимания, гнул свою линию уста Саро.

— Придем,— кивнула я.

— Пригрела на груди змею! — дернула меня за руку нани.

А я только плечом повела. Я же вижу, что, несмотря на все колкости, которые нани с часовщиком отпускают, относятся они друг к другу очень тепло. Нани много лет его знает, с тех пор как он переехал в Берд. Раньше семья уста Саро жила в Ливане (название этой страны очень легко запомнить — берем диван и меняем «д» на «л»), а потом вернулась в Армению. Жена уста Саро умерла, а трое его сыновей уехали за границу. Нани говорит, им быстро удалось уехать, потому что их мама была еврейка, и от этого у них была еврейская кровь.

Я живо представила себе, как это происходит. Приходит человек в поликлинику, сдает кровь. Одному говорят — у тебя советская кровь, иди домой и воспитывай детей. А другому говорят — а у тебя

¹ Соответствует русскому «губу раскатал».

еврейская кровь, поезжай-ка ты в Ливан! И он собирает свои вещи и уезжает! Я два раза сдавала кровь из пальца, когда у меня аллергия была. Но мне ничего такого не сказали. Значит, у меня советская кровь. Это хорошо, потому что никуда из Берда я уезжать не собираюсь. Так и буду жить здесь. Пока не состарюсь, как моя нани.

Было очень нелегко убедить ее пойти в гости к уста Саро. Но я канючила-канючила и все-таки добилась своего. Вчера вечером она сдалась.

— Так и быть, — говорит, — заглянем к нему. Посидим с полчасика и уйдем. Но только ради тебя!

И смотрит так, словно из-за меня идет на костер.

Я обещала быть сегодня особенно послушной и, пока нани крутится по дому, вожусь на чердаке, перебираю старое, всеми давно уже забытое добро: глиняные плошки — с трещинами, с отбитыми краями; латаную-перелатаную медную посуду с тонкой чеканной надписью на ободке — я знаю, там указано полное имя моей прапрабабушки Анатолии, буквы немного кривенькие, местами стертые, на древнем армянском, но я умею на нем читать — меня научила бабушка Кнарик; пришедшие в негодность садовые инструменты — Тата не дает их выкидывать, потому что смастерил их ее дед-кузнец Василий Меликян. Папа рассказывал, что люди его звали не Василием, а Пашо — сокращенное от слова «пашахусти» — неумный. А нашу семью называют Пашоянц — род неумного. Папу — Пашоянц Петрос, маму — Пашоянц невестка Вера. Тату — Пашоянц Тата, деда — Пашоянц зять Оваким. А меня — Пашоянц внучка.

В кованом сундуке, переложенные от моли лавандой, лежат два старинных платья и головной убор — небольшой, круглый, плоский. Нани называет его «динг». Говорит, что края динга раньше были украшены серебряными монетами и цепочками. Надо спросить у нее, куда эти монеты подевались. Платья из какой-то тяжелой, бархатной на ощупь ткани, с серебристой вышивкой по подолу и рукавам. Они напоминают мне спящих царевен. Когда-нибудь прискочут на конях два сказочных принца, поцелуют эти платья, и те превратятся в живых красавиц.

Наигравшись с платьями и посудой, я выглядываю в чердачное окно, чтобы посмотреть, чем занимается нани. Боцман сразу выскакивает из конуры, виляет мне хвостом. Я улыбаюсь, машу ладошкой — привет, ушастый, привет. Возьмем его с собой в гости — пусть побегает по кромке обрыва, полает в пропасть. Боцман это любит. Стоит на самом краю и облаивает свое эхо. А мы, посмеиваясь, наблюдаем за ним со стороны. Вот ведь Боцман, вот ведь дурачок! Ему кажется, что кто-то сидит в пропасти и облаивает его в ответ. Сообразить, что это просто эхо, он не может.

Нани нигде не видно — значит, она на кухне, готовит обед. Высовываюсь по пояс в окно, делаю глубокий вдох. Воздух прохладный и немного колючий, словно шерстяная варежка. У кур, ковыряющихся в огороде, такой недовольный вид, будто им сначала обещали мороженое, а потом не дали. Ходят они с постными минами по опустевшим грядкам, поджимают то одну, то другую лапку и бубнят себе под нос — ко-ко-ко, ко-ко-ко. Петух, нахохлившись, дрем-

лет на заборе. Иногда кукарекнет — вполгорла, нехотя, а потом обратно замолкает. Скучает по лету.

Холмы почти совсем облетели, только макушка Хали-кара переливается зеленью ельника. Я закрываю глаза, замираю на секунду и на медленном выдохе вызываю в памяти хвойный аромат. И запах легкой сырости, которой всегда отдает земля под елями.

Есть у меня странности, о которых никто, кроме близких, не знает. Я умею создавать в своей голове запахи и с их помощью вспоминать прошлое. Мне достаточно разбудить в голове запах ржавых сундуков, которые стояли в прихожей дома знахарки, чтобы вспомнить весь тот день — большой ларь, портреты на стенах, скрипучий деревянный пол. Постового, перебегающего дорогу, толпу на тротуаре. Тетечку, которая шепчется с нани, а потом уходит, придавленная своим горем, — высокая, крупная, сутулая. Пахла она так же, как наши куры по осени, — тоской и отчаянием.

Есть у меня еще одна странность, которой я особенно стесняюсь, — я путаю цвета с цифрами. Могу вместо «красный» сказать «пять». Вместо «три» — «желтый». Не знаю, как это у меня получается, но путаюсь я часто. Когда Витьке исполнилось восемь лет, я его нечаянно поздравила с синелетием. Витьке так это понравилось, что он потом на вопрос «сколько тебе лет» лукаво прищурился и отвечал — синих! Иногда уточнял у меня — а цифра четыре какого цвета? «Зеленого», — говорила я. «Ух ты! — радовался Витька. — Мне синих лет и зеленых месяцев!»

Сначала я сильно переживала из-за своих странностей, но мама меня успокоила:

— С возрастом все пройдет, не думай об этом.

Я сидела у нее на коленях и наблюдала, как она проверяет тетради. Мама подчеркивала красной ручкой какие-то слова, зачеркивала одну букву, надписывала сверху другую, а потом, закончив с проверкой, размашисто выводила оценку.

— Я бы на твоем месте, наоборот, радовалась. Это так здорово — быть не такой, как все,— сказала она мне.

Я обняла ее, зарылась носом в волосы — они с лета стали длиннее, мама решила их снова отращивать.

— А что хорошего в том, что ты не такой, как все?

— Понимаешь, может, люди все неправильно сделали. Может, это они перепутали названия цифр и слов. А ты, наоборот, все видишь таким, каким оно должно быть на самом деле! — Мама умолкла, дожидаясь, пока смысл ее слов дойдет до меня, а потом добавила: — Что скажешь?

И что я могла сказать? Я снова надулась, как индюк. От важности. До чего же приятно, когда взрослые разговаривают с тобой не как с маленькой, а как с большой! Сразу чувствуешь себя сильной. И даже Гектора прекращаешь бояться. На время.

Вспомнив о Гекторе, высовываюсь в окно, чтобы посмотреть, что творится у соседей. Двор у них пустует — тетя Вардик на работе, сыновья в школе. А дядя Леван, наверное, лежит у себя в кровати и ждет, когда они вернуться. Ну и Гектор, должно быть,

спит в своей конуре. А что ему еще остается делать? Всех небось облаял с утра, а теперь отдыхает.

Я захлопываю окно, оглядываю чердак — все ли лежит на своих местах? Не люблю оставлять после себя беспорядок. Платья сложены, посуда высится горкой в углу, только динг остался лежать на подоконнике. Убираю его в сундук и спускаюсь на первый этаж. До свидания, чердак, не скучай по мне. Я вернусь к тебе завтра. И буду приходить каждое утро, пока не наступят настоящие холода.

ДЕНЬ

Боцман, конечно же, не подкачал.

— Лаёт так, словно за каждый «гав» ему десять копеек платят,— заключила нани.

Мы стоим на балконе дома уста Саро и любимся природой. Она такая красивая — хочется смотреть на нее бесконечно. А потом, наглядевшись, закрыть глаза и слушать тишину. Но разве Боцман даст ее послушать? Он мечется по краю обрыва и выясняет отношения с эхом.

Уста Саро накрывает стол на балконе. Нани предложила помочь ему, но он отказался:

— Десертный стол не нуждается в женских руках. Я сейчас сам все сделаю.

— Сарибек, иногда и ты умеешь умное сказать,— хмыкнула нани.

— Ну я хотя бы иногда,— развел руками уста Саро,— а кое-кому и этого не дано.

И хитро прищурился, явно намекая, что этот кое-кто — нани.

— Даааа, река не всякий раз бревно приносит,— невозмутимо продолжила нани,— а в твоём случае даже сучка к берегу не прибило.

Уста Саро открыл рот, потом закрыл. Снова открыл, снова закрыл. Крякнул.

— Ладно, пойду кофе заварю.

— У меня от него сердцебиение,— возвестила ему в спину нани.

— Я научу тебя пить кофе так, что обойдешься без сердцебиения,— не дрогнул уста Саро.

Пока он возился на кухне, мы с нани прошлись по комнатам, полюбовались коврами, висящими на стенах, посидели на большой тахте — у нани в гостиной стоит такая же тахта — широкая, с резной ажурной спинкой, с облупленной на локтях темной краской. Долго рассматривали альбом с фотографиями.

— Это его жена, Ноя,— рассказывала нани, обводя пальцами черно-белую карточку,— хорошая была, добрая. Умерла десять лет назад. А это его сыновья.

Разглядывать незнакомые лица на портретах было не очень интересно — никого, кроме уста Саро, я не застала. От этого вся его семья казалась мне совсем чужой и не имеющей к нему никакого отношения. Я быстро пролистала альбом, пытаюсь отыскать детские фотографии уста Саро, но не нашла.

— А где его детские карточки?

— В Муше остались. Мы оттуда наспех уезжали, ничего не успели с собой взять.— Уста Саро вошел

в комнату, осторожно неся перед собой поднос с дымящимися чашечками.

Нани убрала альбом на полку, шепнула мне:

— Не расспрашивай его о детстве.

Я молча кивнула. Мы с Витькой давно уже заметили эту странность — уста Саро всегда хрипнул голосом, когда рассказывал о своем детстве. И не только он. Мой дед тоже никогда не рассказывал о своем детстве. А на мои расспросы отшучивался, мол, рассказывать нечего. Жили в Эрзруме, потом уехали.

Мы знали, почему они уехали. Но тоже старались об этом не говорить. Лучше не говорить о вещах, которые делают больно взрослым.

Уста Саро накрыл красивый стол — фрукты, орехи, кофе, выпечка, кизилковый и сливовый лаваш.

— Старался все сделать по рецепту, но, кажется, не очень получилось, — он разрезал на кусочки кркени, разложил по тарелкам. Налил в стакан молока, пододвинул его мне, — я помню, что ты не любишь теплое молоко, поэтому разогреть не стал.

Потом он принялся учить нани правильно пить кофе:

— Каждый глоток нужно запивать водой. Во-первых, так вкуснее. А во-вторых, ты таким нехитрым способом его разбавляешь. Конечно, в нашем возрасте кофе много пить нельзя. Но один раз в день — почему нет?

Уста Саро отпил из чашечки, закатил глаза, зацокал языком:

— Кофе — это удовольствие, Тамар. А пить нужно с удовольствием. Чтобы было потом что вспоминать.

Нани отхлебнула кофе, запила глотком воды, прислушалась к себе.

— Хорошо-то как, Сарибек!

— Ну! Я же говорю! — Уста Саро довольно крикнул, откинулся на спинку стула, потянулся за своим чибухом¹.

— Уста Саро, у меня есть любимая книжка, называется «Рассказы деда Чибуха»,— наблюдая, как он набивает трубку табаком, принялась рассказывать я.— Каждый раз, когда я рассматриваю картинки в этой книжке, представляю вместо деда Чибуха тебя.

— Потому что он на меня похож?

— Потому что у него такой чибух, как у тебя.

— И что этот дед Чибух делает?

— Раскуривает трубку и рассказывает разные истории. О том, как в молодости с драконом бился. О том, как на спине чудо-птицы в дальние страны летал.

— Нееет, мне до него далеко,— рассмеялся дед Саро.— Хотя по молодости я тоже много чего вытворял. Но с драконами не бился. Чего не было, того не было.

— Зато он такую вкусную гату не пек,— отозвалась с набитым ртом я.

— Нравится?

— Угум!

— Ешь на здоровье.

— Раз ребенку нравится, то и я попробую.— Нани откусила кусочек выпечки, медленно прожевала.

¹ Трубка.

— Ты в тесто кардамона добавил? И, кажется, корицы? Очень вкусно. И ароматно.

Пока нани нахваливала кркени, а польщенный уста Саро, делано хмурясь, набивал трубку табаком, я молча умяла один кусочек гаты, потом потянулась за вторым. Справившись и с ним, откинулась на спинку стула, погладила себя по животу — наелась!

— Вот если бы ты так обедала! — вздохнула нани.

— Вот если бы вы на обед сладкое подавали! — мигом отозвалась я.

— Вся в прабабушку,— рассмеялся уста Саро,— за словом в карман не лезет.

Зря он, конечно, это сказал. Нани хмыкнула, отодвинула от себя чашку с остатками кофе, закинула концы косынки за спину таким чеканным жестом, словно зарядила оружие, а потом сложила на груди руки:

— Сарибек! Я смотрю, ты сегодня не просто красноречивый, но еще и наблюдательный!

— А я вообще не жалею на свои качества,— отозвался уста Саро,— я своим личным богом очень даже доволен! Он меня ничем не обделил — ни умом, ни сообразительностью, ни расторопностью.

— Ни говорливостью,— в тон ему продолжила нани.— Ты такой говорливый, аж уши закладывает. Как та маслбойка, которая издает громкий звук. А знаешь, почему она издает громкий звук? Потому что пустая!

Я, растянув в широкой улыбке рот, слушаю их перепалку. Они всегда так — сначала обмениваются колкостями, а потом, угомонившись, прини-

маются мирно разговаривать. О соседях, о последних новостях, о жизни. Если бы нани и уста Саро не были такими старенькими, то, наверное, пожеглись бы. Очень уж они похожи друг на друга — не внешностью, нет, лицом уста Саро некрасивый, а нани, наоборот, красивая. А вот характером они так похожи, словно друг другу приходится братом и сестрой.

Пока я думаю об этом, нани припоминает уста Саро его грехи:

— А помнишь, как ты напился в день помолвки сына Косого Цатура? Залил зенки так, что их осла дядей называл!

— А тебе что, обидно, что я не твоего осла дядей называл?

Уста Саро раскурил трубку, передвинул свой стул так, чтобы табачный дым уходил в другую от нас сторону. Отпил глоточек кофе, зажмурился:

— Ооооохай! Хорошо-то как, Господь-джан!

— Курить бросишь — еще лучше будет.— Нани собрала в ладонь крошки со стола, кинула их за перила балкона — птицам.

— Нет, Тамар, курить бросать я не буду. Если уйду раньше тебя, скажи, чтобы положили со мной кисет и трубку. И чтобы сделали дымоотвод на моей могиле. Я там заживо угорать не собираюсь.

— И-их, балабол! — махнула рукой нани.

— Уста Саро, какой же ты шутник! — хихикаю я.

— А с этими женщинами по-другому нельзя,— подмигивает уста Саро,— если относиться к ним серьезно, то и недели не протянешь. Вот я и отшучива-

юсь постоянно. А знаешь почему? Потому что шутка продлевает жизнь.

Нани отрывает кусочек кизилового лаваша, протягивает мне — хочешь? Я отрицательно мотаю головой — нет, не буду. Она пробует лаваш, зажмуривается, передергивает плечами.

— Совсем кислый. У кого брал?

— Сам сушил,— уста Саро выдыхает облачко дыма, отпивает глоток кофе,— купить каждый дурак горазд, а вот приготовить!

— Что же сахара пожалел?

— Я специально. Мне кисленькое больше нравится.

— А у меня зубы сводит от кислого.

— Так у тебя зубы. А у меня протез.

— Желудок у тебя тоже протез? Изжоги не боится?

— Изжоги у меня давно уже нет. Вот как преставилась моя Ноя, так и прошла изжога. Не пойму, то ли на жену у меня была изжога, то ли на ее готовку.

Нани какое-то время пытается сохранить невозмутимое выражение лица, но потом у нее начинают прыгать уголки губ и она срывается в хохот.

— Ноя-джан, не обижайся на меня,— хватается за бок, за сердце нани,— ох, ах, аж колет в груди.

— А зачем ей на нас обижаться? — не унимается уста Саро.— Я же не вру. Всем была хороша моя Ноя, вот только солить и перчить так и не научилась. Говоришь ей — Ноя, ты просто готовь, мы сами посолим себе обед. Так нет, она все сделает по-своему. Пересолит и переперчит так, что аж глаза слезятся.

Отсмеявшись, нани с уста Саро вдруг резко грустнеют. Сидят какое-то время молча, размышляют — каждый о своем. Нани задумчиво перебирает в руках край косынки, наматывает его на палец, потом обратно отматывает. Уста Саро пускает колечки дыма, смотрит, не отрываясь, мне куда-то за спину. Я оборачиваюсь, чтобы разглядеть, что он там такого увидел. Но за моей спиной ничего интересного нет. Только тень от голой виноградной лозы прыгает по стене и по дощатому полу.

Сразу становится так тихо, что слышно, как далеко внизу по каменному подолу ущелья бежит речка. Я выглядываю во двор — посмотреть, чем занимается Боцман. Его нигде не видно — видимо, устав перелавиваться с эхом, он убежал за дом — там сейчас солнечно, можно подремать, греясь в скудном осеннем тепле.

— Нани, ай нани,— решаю прервать затянувшуюся тишину я,— а почему на твоём динге не осталось монет? И куда они подевались?

Нани кладет руки на стол, ладонь к ладони, на фоне темной скатерти ее кисти выделяются двумя маленькими светлыми пятнами, я вдруг замечаю, что они очень похожи на те глиняные миски с оббитыми краями, что хранятся на чердаке ее дома.

— Это не мой динг,— говорит она.— А монет на нем нет потому, что их пришлось продать, чтобы покрыть долги.

Я хочу спросить, чей это динг, если не нани, но незнакомое слово «долги» сбивает меня с мысли.

— А что такое долг?

— Вот если ты возьмешь у меня яблоко и скажешь — нани, я беру его в долг, это означает, что ты мне должна будешь через какое-то время вернуть такое же яблоко.

— А что это был за долг, из-за которого пришлось монеты продавать? Ты взяла у кого-то монеты?

— Нет. Твой прадед задолжал денег.

— Кому?

— Магазину.

— Это как?

— А вот так. Вырастешь — все узнаешь, я сейчас тебе подробности рассказывать не буду.

— Я уже большая!

— Прабабушка права, есть вещи, которые тебе рано знать,— вклинивается в разговор уста Саро.

Я упираюсь спиной в деревянные перила балкона, обиженно складываю на груди руки.

— Вот если бы я спросила папу или бабушек спросила, они не стали бы мне говорить, что я маленькая. Они на все вопросы отвечают сразу!

— Оно и ясно. У бердцев принято говорить все в лоб.— Уста Саро откладывает трубку, подзывает меня движением руки.— Ну-ка подойди, джигяр-балам¹.

— А вы что, не бердцы? — Я упрямо не двигаюсь с места.

— Нет. Мы не бердцы. Я из Муша, а прабабушка твоя из Тифлиса. Там, откуда мы родом, одни были порядки, а здесь — другие. Да, Тамар?

¹ Дитя — душа моя (арм.).

— Да,— нани тоже протягивает мне руки,— по-
дойди ко мне.

— То есть как? — От удивления я приросла но-
гами к полу.— Ты не в Берде родилась, нани?

— Нет, не в Берде. Я переехала сюда, когда мне
было шестнадцать лет.

— Почему?

— Так получилось. Переехала, жила у своей тетки.
А потом вышла за твоего прадеда замуж.

— А где сейчас твоя семья? Так и живут в Ти... где
ты родилась?

— В Тифлисе. Все умерли. Осталась только я. Ты
подойдешь ко мне или нет?

Мне становится очень жалко нани. И я с разбега
кидаюсь в ее объятия.

— Зато у тебя есть мы, нани. Теперь мы — твоя се-
мья.

— Знаю, джигяр-балам, знаю.

Я обнимаю одной рукой нани, а другую протяги-
ваю уста Саро, чтобы и его обнять. Он гладит меня по
ладоньке, целует ее. А потом быстро рисует пальцем
на месте поцелуя крест. Я сердито отмахиваюсь, но
уже поздно.

— Зачем ты так? — говорю ему.

— Мне для тебя ничего не жалко,— улыбается он.

Я не зря сержусь — если целуешь кого-то в ла-
донь, отнимаешь у него несколько дней жизни.
А когда ставишь сверху крест — возвращаешь ему
эти дни и добавляешь еще год. Из своей жизни. Зачем
мне нужен год жизни уста Саро? Он и так старенький.
Пусть лучше сам живет. Много-много лет.

Когда мы собираемся уходить, уста Саро вручает мне маленький сверток.

— Обещай открыть его, когда придешь домой, ладно?

— Ладно.— Я трясу тихонечко сверток, чтобы понять, что там внутри. Мало ли, может, что-то гремучее. Но сверток попался какой-то тихий, совсем не гремит.

— А спасибо сказать? — напоминает нани.

— Спасибо.— Я зарываюсь лицом в руки уста Саро, замираю на секунду — они пахнут деревом и дымом. Хорошо пахнут.

— Заходи к нам в гости, Сарибек,— говорит нани.— Что ты целыми днями сидишь дома, как одинокий сыч? Приходи вечером, с Овакимом в нарды поиграете, телевизор посмотрите.

— Да мне как-то неудобно навязываться.

— Я тебе говорю — приходи. Ты не тот человек, которому моя семья будет не рада.

— Ладно, приду.— Уста Саро подает нани жакет, а потом помогает мне застегнуть куртку.— В старости особенно тяжело быть одиноким.

— Это да,— нани мелко кивает, соглашаясь с ним,— нет ничего печальнее старости. Знаешь, что я тебе скажу, Сарибек? Если бы человек не знал горя, он бы, наверное, не старел.

— Правда твоя, Тамар.

Уходя, я цепляю взглядом висящий на стене перевязанный черной лентой портрет. Это жена уста Саро, Ноя. Глаза у нее большие и немного грустные. Волосы собраны в строгий пучок. На вороте платья — круг-

лая брошь. С верхнего угла портрета свисают четки. Крестик на четках деревянный, легкий. От распахнутой входной двери тянет осенним ветром, и подхваченный этим ветром крестик качается туда-сюда. Туда-сюда.

ВЕЧЕР

Теперь у меня есть свои собственные часы. Круглые, красивые, с тонкими стрелочками. Одна стрелочка длинная, а другая короткая. Вместо застежки на ремешке кнопка. Это так здорово, никакой возни. Раз — застегнул ремешок, раз — отстегнул.

Я глазам своим не поверила, когда развернула сверток. Решила, что уста Саро по ошибке положил туда часы. Но нани сказала, что они предназначены мне. И помогла надеть их на руку. Я приложила часики к уху. «Тик-так, тик-так», — отозвались они.

Никто из взрослых еще не вернулся с работы, поэтому я побежала хвастаться Боцману. Но Боцмана часы не заинтересовали — он просто обнюхал их, коротко гавкнул — и убежал облаивать гусей старушки Анико через забор. Вот даже не знаю, чем эти гуси не угодили ему. Ко всем остальным домашним животным у Боцмана очень уважительное отношение, особенно к коровам. Но вот гусей он на дух не переносит.

— Нани, ай нани!

— Чего тебе? Не путайся под ногами, сейчас Вера с Татой вернутся, надо им стол накрыть.

— А можно я позвоню уста Саро?

— Хочешь поблагодарить его?

— Ага.

— Ну пошли.— Нани вытерла краем фартука руки, направилась в гостиную. Нацепила очки, долго шуршала страницами телефонной книги, наконец нашла нужный номер.

— Ты мне говори цифры, я сама наберу,— попросила я.

— Ладно. Набирай. Два...

Я нашла цифру два, вставила в круглую дырочку палец, крутанула диск. Нани следила, чтобы я не ошиблась в наборе цифр.

— Набрала два? Молодец. Теперь набирай дальше. Один. Девять. Семь. Один.

— Все?

— Все. Есть гудок?

Я кивнула — трубка в ухе звучала длинными мерными гудками.

— Але? — отозвался дед Саро глухим, незнакомым голосом.— Слушаю вас!

— Уста Саро, это ты? — удивилась я.

— Нет, это черная собака,— рассмеялся уста Саро.— Конечно, это я, кто же еще может в моем доме подходить к телефону?!

— У тебя голос другой.

— Это потому, что я через провода с тобой разговариваю.

— Уста Саро, спасибо большое за часы. Они мне очень понравились!

— Да? Очень рад. Носи на здоровье.

Я помолчала.

— Не знаю, что тебе еще сказать, уста Саро.

Трубка отозвалась довольным уханьем.

— От радости потеряла дар речи?

— Ага,— расплылась в улыбке я.

— Ну беги, егоза. До свидания тебе.

— До свидания!

На кухне пахло бараниной и рисом. Нани накрывала стол — зелень, сыр, соленая капуста, камац мацун, хлеб.

Я встала у окна, выставив перед собой руку — чтобы легче было любоваться часами.

— Что-то мама с Татой долго не идут!

— Это потому, что сегодня у них педсовет,— отозвалась нани.— Скоро уже будут.

В другое время я бы поинтересовалась, что такое педсовет, но сейчас не стала. Мне, главное, дожидаться возвращения взрослых, чтобы похвастаться часами. Это надо же, как мне сегодня повезло! И в гости сходила, и сладкого поела, и подарок такой получила!

Время тянется медленно. Даже медленнее, чем в жизни. Переминаюсь с ноги на ногу, выглядываю своих — идут? Не идут. Ну и ладно, я подожду. Я умею ждать.

НОЧЬ

Иногда мне снится один и тот же сон. Я уже выучила его наизусть, поэтому знаю, что будет сна-

чала, а что — потом. Я его боюсь ужасно, этого сна, и, когда он начинает мне сниться, принимаюсь плакать. Тихо, наверное, плачу, поэтому мама с папой не слышат меня. Если бы услышали — прибежали бы и разбудили. И забрали к себе.

От этого сна не помогает ничего — ни разноглазый зайчик, ни книжка со сказками, ни кукла с бантом в волосах. Банта, правда, теперь у куклы уже нет, я его где-то потеряла и не могу найти.

Сначала в этом сне все такое мирное и красивое — светит солнышко, дует ветер. Над нашим домом проплывают облака. Тата возится с тестом, мама читает. Нани перебирает шерсть. Я подхожу к ней, чтобы взять клочок шерсти, и вижу, что руки у нее в крови. И шерсть вся в крови. И тут я начинаю плакать. Потому что знаю, что сейчас побегу к маме, а ноги мои будут подкашиваться, я буду падать, и расстояние между нами, вместо того чтобы укорачиваться, будет удлиняться. И добежать до мамы я не смогу. Я буду звать ее, но она меня не услышит, а книга в ее руках будет сочиться кровью. И Тата будет месить красное от крови тесто.

Потом я резко оказываюсь в нашем саду. Лежу на земле, спрятавшись за старую грушу, тихо всхлипываю про себя. Знаю — шуметь нельзя, а то меня найдут. А если не шуметь, то, может, они не найдут меня, и тогда я выживу. Я чувствую резкий запах земли — острый, неприятный. Так пахнут большие лужи, когда долго не высыхают. Гнилью и картофельной ямой.

Потом раздается громкий треск, я выглядываю из-за груши и вижу, как рухнет наш дом. Поднимается

большое облако пыли, и оттуда выныривает огромный турки затик. Жук такой большой, что подпирает спиной небо. Он топчет наш дом своими тяжелыми лапами, и каждая его лапа как большая гора. Он громкий и красный, этот жук. А из глаз его валит черный дым.

И я лежу за грушей, тихо скулю и жду, когда он придет и затопчет меня.

Иногда, когда мы с мамой одни и рядом совсем никого нет, она называет меня по имени.

— Ниночка,— говорит она тихим голосом, аккуратно выговаривая каждую букву моего имени так, будто всякий раз свыкается с ним,— Н-и-н-о-ч-к-а.

Я взбираюсь ей на колени, обнимаю за шею.

— Мамочка,— говорю ей,— мамочка.

Она до сих пор не привыкла, что меня так зовут.

Папа рассказывал, что дед хотел назвать меня в честь своей мамы, Сирануйш. Потому что я очень на нее похожа. Но моя мама захотела по-другому. Она, наверное, думала, что если меня назвать Ниночкой, то сестре моей это понравится.

Думаю, сестра этому рада. Она живет где-то там, на небе, в маленьком домике из облаков, ест с утра до вечера конфеты, играет в игрушки и радуется тому, что меня называли ее именем.

И теперь нас двое. Она там, а я тут.

Мне кажется, я повзрослела раньше, чем другие дети. Потому что вокруг меня одни взрослые. У дру-

гих детей есть сестры, братья. Когда рядом маленькие, ты тоже остаешься маленьким. А когда вокруг тебя только взрослые, то ты быстрее вырастаешь. Поэтому я такая. Снаружи ребенок, а внутри уже большая.

Это папа мне рассказал о старшей сестре. Ну то есть как рассказал. Сначала я услышала их разговор. Мама снова плакала, а папа говорил ей: Вера, ну сколько можно, отпусти дочку, отпусти.

Я так испугалась, что он хочет отобрать меня у мамы, что потом целый день не разговаривала с ним. Он меня спрашивал — что с тобой, что с тобой, а я слова не могла сказать в ответ.

А потом решилась.

Говорю: папа, я слышала ваш разговор. Мама плакала, а ты говорил — отпусти дочку. Почему она должна меня отпускать?

А папа у меня такой — он всегда отвечает на вопросы. Никогда не скажет, как нани или мама, — тебе это рано знать. Поэтому, когда я спросила, он ответил правду — вот так и так, Ниночка, ты не первая Ниночка в нашей семье. До тебя у нас была девочка, она родилась больной, жила недолго и умерла. Но твоя мама до сих пор не может смириться с ее смертью.

У меня от его слов сначала громко забилося сердце, а потом защипало в носу.

Но я сдержалась, не стала плакать.

Я спросила у папы — а что такое смириться?

Он говорит — это когда что-то случается, и тебе приходится дальше жить с этим.

«А ты смирился?» — спросила тогда я.

У папы такие длинные ресницы, когда он опускает глаза, тень от них падает на щеки. И он опустил глаза, и щеки его сразу потемнели. И папа тихо сказал — нет. И обнял меня. И я почувствовала, как громко и быстро колотится его сердце.

Так и сидели, обнявшись. И колотились друг о друга сердцами.

И я думала об этом долго, вечером, перед тем как уснуть, и еще утром, когда проснулась. А потом, когда все сидели за столом и завтракали, я сделала как в кино. Взяла молоточек, постучала по столу.

Тишина, говорю.

И все рассмеялись.

И я им сказала — я не хочу, чтобы вы меня называли по имени. Называйте меня Девочкой.

И никто уже не смеялся.

А мама заплакала.

И я ей сказала — мам, ты не плачь.

Я побуду Девочкой, пока ты не научишься смеяться.

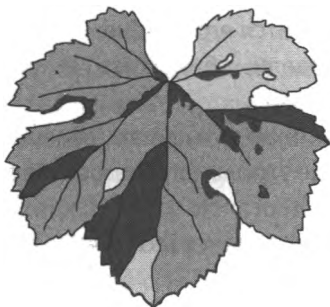
А потом обратно буду Ниночкой.

Тата однажды сказала — пока живет имя, живет человек.

Получается, я живу за двоих.

Получается так.

ЖЕНО



В Берде очень низкое небо. Оно стелется по синему краю горизонта, размывая косые линии холмов в акварельную зыбь. Оно опрокидывается на крыши домов с тяжелым вздохом столетнего старика:

«Пшшш...»

«Пха-пха-пха»,— откликаются полотенца и простыни.

Бельевая веревка тянется через длинный двор, на ней аккуратным рядом вывешено приданое Жено — восемь махровых полотенец, шесть комплектов вышитого гладью постельного белья, льняные кухонные полотенца, два больших покрывала, стеганные шерстяные одеяла — тяжелые, душные, почти неподъемные. На кривом заборе подставил спину

солнцу большой ковер — нежно-желтый по краям, темно-вишневый по центру. Технахундж. Это старый ковер, он многое видел, многое помнит. Таких ковров в Берде раз-два — и обчелся. Его узор привезли с собой из Карабаха Мелкумяны — один из пяти родов, спасшихся во время персидского нашествия в неприступных карабахских горах. Он погрееется-проветрится на скудном ноябрьском солнце, а потом его загрузят с остальным приданным в большой грузовик и увезут в новый дом Жено.

Свадьбу гуляли в доме Таты. У нее двор больше, да и машинам проще было подъехать — не надо петлять вверх по склону Хали-кара, чтобы там, отчаянно фырча и нависая над пропастью колесами, разворачиваться на маленьком пяточке возле дома уста Саро.

Народу пришло много — сто пятьдесят приглашенных и полсотни якобы случайно проходящих мимо — не станешь же отказывать от стола человеку, который, собравшись с утра в поликлинику — выдрать три дня ноющий зуб, каким-то неведомым образом оказался в другом конце городка (зуб подождет), во дворе дома, где играют самую настоящую деревенскую свадьбу — с зурной, с доолом, с выкупом невесты, с хитрым шафером, который снует по толпе гостей, привязав к заливчатски сдвинутой на затылок «шляпке» лисий хвост — знак того, что он не лыком шит и просто так обвести вокруг пальца своего подопечного, то бишь жениха, не даст.

Всю неделю, пока шли приготовления к свадьбе, Девочка провела в счастливом ожидании. Она бе-

гала от одного взрослого к другому, сыпала бесконечными вопросами, щебетала о чем-то своем, детском. Ей было интересно все — что подадут на столы, сколько народу придет, как долго будет длиться веселье, и самое главное — как выглядит подвенечный наряд Жено!

— Вот уж не знаю, как выглядит платье, я увижу его только в день свадьбы,— в сотый раз терпеливо объясняла ей Жено.

— Почему в день свадьбы?

— Потому что обычай такой. Свадьбу сначала играют в доме невесты, потом жениха. В дом невесты родственники жениха приезжают с большим, красиво упакованным свертком — там лежит платье, туфли, фата. Невеста переодевается во все новое и уезжает с ними.

— Куда уезжает?

— К ним домой.

— Я не дам тебе уехать. Я попрошу твоего мужа не забирать тебя отсюда. Он меня послушается, я знаю.— Девочка обнимала Жено, зарывалась носом в ее кофту — кофта пахла простым мылом и крахмалом, руки Жено пахли чистотой и сушеным чабрецом. На плите шумел чайник — еще немного, и вода закипит. Позавтракать никто толком не успел, все были заняты стряпней. В доме Таты приготовления шли полным ходом, там негде было повернуться, вот Жено и возилась на кухне нани — затеяла поздний завтрак. Девочка вертелась рядом, помогала чем могла — выставила на стол сыр и мед, разложила тарелки. Жено быстро почистила несколько головок

репчатого лука, ополоснула пучок свежей мяты, разбила в миску шесть яиц — сегодня будет омлет по-персидски.

— Я ем только чай и сыр,— наморщила нос Девочка,— ненавижу этот ваш омлет с луком.

— Да что ты понимаешь в искусстве! Это же так вкусно — мята, яйца, лук, сыр, молотый черный перец!

— Буэ.

— Раз «буэ», иди тогда зови остальных, пусть хотя бы они сытно поедят.— Жено накинула на плечи племянницы куртку, легонько подтолкнула ее к входной двери.

— Сейчас.— Девочка привстала на цыпочки, понаблюдала, как распускается в чугунной сковороде кусочек масла — оно быстро растаяло, зашкворчало, пошло сливочным паром. Жено тем временем нарезала мелко репчатый лук и мяту, добавила к яичной смеси, посолила-поперчила, взбила. Натерла сыр.

— Я пошла.— Девочка выскользнула в дверь, побежала вниз, перескакивая через ступеньки высокой лестницы.

— Осторожнее,— высунулась вслед Жено — осенний ветер подхватил ее волосы, откинул на лицо — Жено привычным жестом поймала их, заправила под заколку.— Не лети как угорелая! Омлету еще минут пятнадцать готовиться!

— Хо-ро-шо!!!

На первом этаже, в просторной хозяйственной комнате, Тата возилась с тестом на хлеб. Засыпала в большую деревянную квашню две высокие горки

муки, залила воды, добавила несколько щепотей каменной соли. Принялась быстро месить.

— Как вовремя ты прибежала,— обернулась она на топот внучки.— Подай мне, пожалуйста, закваску:

— Хорошо.— Девочка поднялась на цыпочки, осторожно достала с полки глиняный горшочек. Тата всегда заливала небольшой кусочек взошедшего теста водой и оставляла на следующий раз. Тихо бродя, закваска ждала своего часа в глиняном горшочке. От такой закваски хлеб получался кисловатым и не таким пышным, как магазинный, но Тата говорила, что он в сто раз лучше покупного, потому что полезней.

— Тат, Жено есть зовет.— Девочка поставила горшочек на край стола, заглянула под крышку. Пахло холодом и кисло-дебелым, подернутым по краям ржавой крапушкой щавелевым листом.

— Сейчас, я быстро. Добавлю закваску, домешу тесто и приду завтракать.

— Ты можешь не спешить. Она только-только распустила масло на сковороде.

— А что она готовит?

— Омлет с мятой.

— А, тогда у меня много времени. Ты куда?

— Пойду остальных позову.

— Подожди. Поправь мне фартук, а то я не смогу — руки в тесте.— Тата наклонилась, повела плечом: — Вот здесь.

Девочка подцепила узкую лямку фартука, заправила ее под воротничок платья, расправила ладошками. Прижалась к бабушке всем телом. Тата пахла

вкусным и родным — мукой, яблочным чиром¹ и осенним садом.

— Ты ж моя золотая!

— Хорошо, что я у тебя есть, да, Тат?

— Не говори!

— Пойду остальных позову.

Нани с Верой второй день возились с выпечкой. В холодильнике ждали своего часа заготовки слоеного теста — скоро их снова раскатывать, обмазывать сливочным маслом, припудривать мукой, складывать конвертиком и убирать на полтора часа. На больших подносах остывали сладкие круги гаты — глянцева корочка, рассыпчатая, пахнувшая ванилью начинка. В большой сковороде подрумянивались половинки грецких орехов — на начинку для пахлавы.

Не обошлось без происшествий — с коржами для бисквитного торта случилась беда — они плохо поднялись. И Вера сейчас ломала голову — выпекать торт по новой или просто допечь несколько коржей.

— Допеки, и все, — махнула рукой нани.

— Вот эти, которые плохо поднялись, будут отличаться от тех, что хорошо пропекутся. Нет, придется снова браться за бисквитное тесто.

— К тому времени, когда мы подадим на столы сладкое, гости будут такие пьяные, что ничего не заметят.

— Нет, бабушка Тамар, давай все сделаем как надо. Мы же не для них, мы, в первую очередь, для Жено стараемся.

¹ Сушеные дольки фруктов, их заготавливают на зиму.

— Как скажешь, Верушка. По новой так по новой.

— Жено завтракать зовет! — влетела на кухню Девочка.

— А ну-ка взгляни на свои часы! — встопорщилась нани.— И напомни нам время. Может, сейчас не завтракать, а обедать пора, а?

— Большая стрелка на семи, а маленькая между двенадцатью и одним.

— И который у нас час?

— Три?

— Вот чудо расчудесное,— под общий хохот отозвалась нани,— ты когда-нибудь научишься правильно называть время?

— Нани, ну чего ты! Я и так вижу — время какое надо.

— И какое?

— Завтракать.

— Ну, раз в полдень завтракать, значит, как скажешь.

— Только вы можете не спешить, Жено омлет с мятой готовит. По-персидски.

— Это хорошо, успею доделать рулетики,— обрадовалась бабушка Кнарлик — они вместе со старой Анико и бабушкой Шушик были заняты приготовлением многочисленных салатов — столичный, свекольный, баклажанный, куриный и самый вкусный — «Праздничный» — фасолевые рулетики на грецком орехе и чесноке с тонкой прослойкой сливочного масла.

Девочка обвела довольным взглядом кухню, хлопала в ладоши:

— Как хорошо, что все вы здесь.

— Ну а как же, пришлось отпроситься с работы. Иначе мы бы не успели.

— Смысл так возиться. Всё съедят и даже спасибо не скажут,— проворчала старая Анико.

— Анико, вот когда мы три дня к свадьбе твоего сына готовились, ты и слова не сказала о том, что нет смысла возиться! — засварливилась нани.

Анико хмыкнула, поправила на голове платок:

— Так вот о том я и говорю — три дня провозились, а спасибо так и не дождалось. Смысл было так убиваться?

— Вот будешь внучку замуж выдавать, убиваться не станем, так и быть!

— Ну чего ты сразу про мою внучку? — забеспокоилась Анико.— Традиция остается традицией. Столы все равно надо накрывать.

— Так все-таки традиция или спасибо не дожждаться? А то я уже запуталась.

— Тамар, тебе лишь бы за слово зацепиться!

— Лучше за слово зацепиться, чем в глаза вцепиться, Анико.

— Это я уже поняла.

— Ты нашей Тамар не перечь, Анико,— подмигнула бабушка Шушик,— нас тут много, а ты одна. Побьем ведь!

Девочка слушала шуточную перебранку взрослых, переводя радостный взгляд с одной женщины на другую.

— Это кого тут собираются бить? — заглянула на кухню бабушка Лусинэ.

— Явилась! Где тебя все утро носило? — переключилась на подругу Тамар.

— Головой маялась.

— Небось давление?

— Да какое давление в моем возрасте?

— Лусо, тебе сколько лет? Чай не двадцать! Лечиться надо, Лусо. Хотя бы валерьянкой. Не поможет, так успокоит.

— Я смотрю, ты сегодня в ударе, — не осталась в долгу бабушка Лусинэ.

— А я всегда такая на голодный желудок!

— Так поешь!

— Жено есть звала! — вспомнила Девочка. — Пора уже!

— Пошли поедим, пока Тамар нас всех со свету не сжила, — сняла фартук старая Анико.

Жено разливала по чашкам сладкий чай с чабрецом. На дровяной печке подсушивались ломти хлеба, тихо скрипел дощатый пол, заскучавший ветер царапал пальцем шушабанд. В глиняной миске переливался янтарным липовый мед, чуть подтаявшее сливочное масло проступило матовыми каплями пахты. В центре стола, на большом блюде, пестрел листьями мяты, прозрачными луковыми дольками и расплавленным сыром золотисто-румяный пышный омлет.

Завтрак, несмотря на общую усталость, прошел неожиданно шумно и весело. Вера взбила масло с медом и намазала на теплые ломти хлеба — к чаю. Нани, получив свою порцию вкусного омлета, сразу впала в благодушное состояние. Кнарик — самая говорливая

и смешливая из бабушек, загадывала загадки — заговаривала Девочке зубы, чтобы та поела.

— А что это, что это такое — не имеет крыльев, но летает, не имеет рта, но воет,— хитро прищурилась она, подсовывая ребенку кусочки хлеба с омлетом.

— Ласточка? — увлеченно жевала Девочка.

— Может, и ласточка. Если, конечно, она воет.

— Ворона?

— Нет!

— Жаворонок. Нет, подожди! Сова!!!

— А вот и нет.

— Передай соль, мне не достать,— попросила Девочку бабушка Шушик.

Когда Девочка обошла стол, чтобы передать солонку, она шепнула ей на ухо:

— Это ветер!

— Ну конечно же, ветер,— хлопнула себя по лбу Девочка,— это ведь так просто!

— Просто, когда знаешь отгадку. А когда не знаешь — сложно.

— Загадай мне еще одну загадку, бабушка Кнарик. Эту я точно отгадаю.

— Уверена?

— Ага!

— Ладно. Что это за дерево такое — не цветет, но плодоносит?

— Нууууу! Откуда мне это знать?

— Ты его каждый день видишь!

Девочка перебрала в памяти все деревья — яблоня, груша, орех, вишня, черешня, слива, айва, гранат, инжир... Вроде все цветут. Обернулась к ба-

бушке Шушик за подсказкой. Та кивнула в сторону сада, вздернула брови.

— Сестра, смотри, чтобы голова от такого энергичного кивка не оторвалась,— хмыкнула бабушка Кнарик.

— Не оторвется, не волнуйся.

— Что же это такое может быть? — Девочка подошла к окну, принялась изучать сад — вдруг пропустила какое-нибудь дерево.

— Ты очень любишь по нему лазить,— подсказала Вера.

— Тутовое? — осенило Девочку.

— Конечно!

— А оно разве не цветет?

— А ты вспомни.

— И правда не цветет. Я и не знала.

— Ты просто не обратила на это внимание.

— Но я отгадала, да? Да, бабушка Кнарик?

— Конечно, отгадала!

— Ура! Я же говорила, что отгадаю!

— Умница ты наша!

В печке потрескивали дрова, от порыва ноябрьского ветра тихо звенел стеклами шушабанд, в тарелке лежала недоеденная горбушка хлеба — по ее боку сонно стекала прозрачная капля меда. Бабушка Лусинэ, подперев голову рукой, о чем-то шепталась с нани, шепот ласковый, убаюкивающий, Жено водила пальцем по узору скатерти — мелкие букетики ромашек по зеленому полю, Вера допивала чай — чашка большая, белая, в синий горох. Тата, Шушик и Кнарик сидят напротив, Девочка переводила взгляд с одной

бабушки на другую — они были совсем разные, но, если посмотреть на их руки, сразу становилось ясно, что это родные сестры. Ладони бабушек были совершенно одинаковые — маленькие, сухие, узкие, средний и безымянный пальцы повернуты кончиками чуть вбок, словно обижены на остальные.

Завтра будет совсем другой день, завтра, с самого утра, во дворе натянут большой шатер, расставят столы — много столов, рядом лавочки, каждая лавочка накрыта пледом — чтобы удобно было сидеть. К приезду гостей выставят угощение — салаты, закуска, сыры, зелень, спиртное, горячие блюда подадут потом, когда все уже рассядутся по местам и тамада произнесет тост за счастье и благополучие молодоженов, будет играть живая музыка — зурна, доол, дудук, но это потом, а сначала, когда во дворе будет шуметь и толпиться приезжий из далекого Арарата народ, знакомиться с родственниками невесты, обмениваться подарками, будущая свекровь со своими двумя старшими дочерьми заведет Жено в отдельную комнату — переодеваться, Девочка увяжется следом, будет цепляться за подол платья тети — не надо, не надо, Жено растеряется, прижмет ее к себе — так надо, солнышко. Она нечаянно заденет Девочку круглым обручальным кольцом, кольцо напугает ребенка больше, чем беспомощность Жено, и она заскулит, скорбно выгнув губу. Одна из сестер жениха попытается вывести Девочку из комнаты, но та не дастся, забьется в угол и, горько всхлипывая, будет наблюдать, как, спотыкаясь о колючие взгляды женщин своей новой семьи, переодевается Жено.

Она впервые увидит свою тетю голой — узкая талия, розовые соски небольших грудей, родинка на бедре, Жено переоденется во все чужое — кружевное белье, вычурное, хрустящее от обилия воланов и оборок платье, белые прозрачные колготки, длинные нелепые перчатки, пышная фата. Потом, когда ее накрасят — бестолково, обильно, sprыснут из большого флакона сладкими духами и выведут из комнаты, Девочка сдернет с кресла простенькое, пахнущее крахмальной чистотой и чабрецом платье Жено, завернется в него, ляжет на кровать и проснется, лишь когда придет время прощаться.

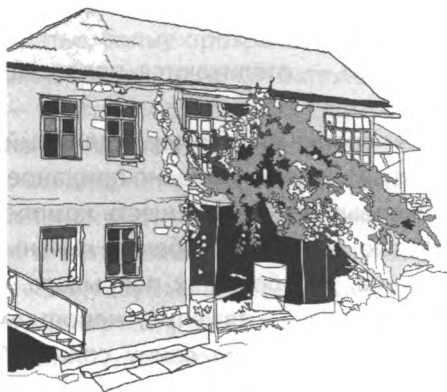
Свадебный кортеж уедет засветло, чтобы успеть в Арарат к наступлению темноты; зарядивший с утра мелкий дождь к полудню превратится в настоящий ливень — тяжелый, кусачий; тропинка, ведущая от калитки к дороге, взмокнет, разбухнет, жирно зачавкает под ногами разряженных гостей; машины завизжат, застревают колесами в набрякшей колее; Шушик, увозят твою дочь, хоть обними ее на прощание, скажет кто-то из гостей, не хочу расстраивать ее слезами, шепнет бабушка Шушик, но потом, когда свадебный кортеж, сигналя, двинется в путь, она выскочит из дому и побежит под ноябрьским дождем, увязая туфлями в грязи, кортеж резко затормозит, и Жено выпорхнет из машины, в кипенно-белом платье, в развевающейся фате, пачкая длинный подол в осенней грязи, мама, мама, ты только не плачь, все будет хорошо, мама, крикнет она и, обливаясь счастливыми слезами, побежит навстречу бабушке Шушик.

В Берде очень низкое небо. Оно стелется по синему краю горизонта, размывая косые линии холмов в акварельную зыбь. Оно опрокидывается на крыши домов с тяжелым вздохом столетнего старика:

«Пшшш...»

«Пха-пха-пха»,— откликаются полотенца и простыни.

Бельевая веревка тянется через длинный двор, на ней аккуратным рядом вывешено приданое Жено — восемь махровых полотенец, шесть комплектов вышитого гладью постельного белья, льняные кухонные полотенца, два больших покрывала, стеганные шерстяные одеяла — тяжелые, неподъемные. На кривом заборе подставил спину солнцу большой ковер — нежно-желтый по краям, темно-вишневый по центру. Если внимательно приглядеться, можно прочитать в бесконечном его узорном плетении всю жизнь Жено — с того дня, как она переступит порог чужого дома, и до того, когда уйдет насовсем — молодая, недолюбленная, несчастная. Но никому не дано распознать молчаливое предназначение узоров старого ковра. Он прогреется-проветрится на скудном ноябрьском солнце, потом его загрузят с остальным приданым в большой грузовик и увезут в Арарат. Туда, где теперь живет Жено.



СНЫ О ГОРОДЕ СОЛНЦА

— Гял бура! — У нищего морщинистая ладонь — узкая, с длинными, причудливо загнутыми кончиками пальцев. Локоть не разгибается — неправильно срослись кости после перелома. Нищий улыбается беззубым ртом и кивает мне: — Гял бура!

Я хочу подойти, но мама крепко держит меня за руку:

— Стой на месте!

— А что он сказал?

— Он сказал — подойди ко мне.

— А почему нельзя подходить?

— Нельзя, и всё.— Мама поворачивается к нищему спиной, роется в сумке. Достает из кошелька несколько монет, кидает в баночку для мелочи.

— Пошли,— говорит.

Нищий протягивает обезображенную руку — ладонь беспомощно сгибается в запястье, он что-то быстро говорит, в речи много звуков «я» и грубого, на выдохе — «п». Смеется неожиданно визгливым, резким смехом.

— Иншалла,— говорит мама, и мы уходим.

— Мам, а что такое «иншалла»?

— Так говорят азербайджанцы. Иншалла — дай бог.

— Но ведь мы тоже говорим — дай бог.

— Ну да. Бог один, но все его по-разному называют. Мусульмане называют его Аллах.

— А кто такие мусульмане? — не прекращаю расспросы я.

— Люди.

— Тогда почему ты не дала мне к нему подойти?

Мама не отвечает. Она крепко сжимает мою руку и убыстряет шаг. Мне непонятно, почему она так странно себя ведет.

— Смотрим сначала налево, потом направо,— напоминает мама, когда мы переходим улицу.

Я послушно поворачиваю голову, стараюсь не отставать. Чувствую затылком взгляд нищего. Мне нравится его взгляд, затылку от него тепло и щекотно.

— Нам сюда.— Мама ныряет в высокую арку.

— В булочную? — уточняю я.

— Да.

В булочной пахнет сладким — плюшками, печеньем «Курабье», мятными пряниками. На прилавке, рядом с деревянными счетами, стоят два больших подноса. На одном плавится темными боками огромный брус халвы, на другом — кунжутные козинаки. Эту булочную я запомню на всю жизнь — тяжелая, гладкая на ощупь деревянная дверь, пахнущая старым и немного сырым, металлические решетки, запирающиеся на большой амбарный замок. Замок находится с внутренней стороны решетки, поэтому продавщице каждый раз приходится просовывать руки через прутья и вслепую, царапая ключом стекло, отпирать витрину. Вдоль стен высятся полки со свежим хлебом. Мы всегда берем маленькие, величиной с ладошку, кирпичики белого — к завтраку, и черный, обсыпанный семенами кориандра, — к обеду.

У продавщицы большой живот, золотые зубы и густо обведенные сурьмой глаза. С мамой она любезно здоровается, расспрашивает, как дела, отвечает килограмм халвы — отрезает из середины, там, где она не обветрилась и не изошла масляными слезами.

— Возьми, яхшы гыз, — протягивает мне пахнущий семечками бумажный сверток. Я прячу руки за спину. Мне не нравится взгляд продавщицы — тяжелый, недобрый, он пронизывает так, что делается больно в животе.

— Ее нищий напугал, — извиняющимся тоном говорит мама и забирает сверток, — не обижайтесь, пожалуйста.

Мы выходим из булочной. Я иду за мамой, держусь одной рукой за ее сумку, а другой цепляюсь за подол

платья. А то вдруг отстану, дверь захлопнется, и продавщица кинется запирать железные ставни, чтобы оставить меня в булочной навсегда!

— Ты почему не взяла халву? — спрашивает мама.

— Эта тетя мне не нравится.— Я отцепляюсь от маминого подола, но сумку не выпускаю.— Она неплохо на меня смотрит.

— Не придумывай,— говорит мама.

— Она как ведьма из сказки «Гензель и Гретель»,— настаиваю я,— у нее дом из хлеба, крыша из пряников, окна сахарные, а сама она злая-презлая.

— Ну с чего ты это взяла? — Мама садится на корточки, заглядывает мне в глаза. Я обнимаю ее за шею — у меня самая красивая на свете мама — у нее высокие брови, большой лоб и карие глаза в золотистую и зеленую искринку.

— Я не боюсь,— шепчу я маме на ухо.

Мама пахнет сладким и солнцем. Она выросла в Кировабаде, это ее город, поэтому каждый раз, когда возвращается сюда, она начинает пахнуть солнцем. И финиками. А у нас туманы, каждый божий день туманы, они стремительно расползаются по склонам холмов, волоча за собой свои длинные ватные шлейфы. Я привыкла к ним как к себе самой и не умею быть солнечной. А мама не умеет быть туманной. Поэтому она немножко не понимает меня. Поэтому она не чувствует угрозы, исходящей от продавщицы с густо насурьмленными глазами и не подпускает меня к безобидному нищему.

Я обнимаю маму и гляжу через ее плечо. По улице, переключаясь громкими звонками, проезжают жел-

топузые трамваи — таких трамваев в Кировабаде много, они ползают по городу большими толстыми гусеницами и греют свои бока на жарком солнце.

— Ай хала, Марьяиванна! — зовет бабулю соседка тетя Бэла.

Тетя Бэла высокая, грузная, с отечными ногами, большими руками и длинной косой. Коса тяжелая, пушистая, в крупный медный завиток. По вечерам тетя Бэла распускает ее, свешивается с балкона вниз головой и расчесывается деревянной расческой. Волосы подхватывает жаркий дух, поднимающийся с опаленной земли, и играет ими. Тетя Бэла похожа на старую русалку, и все, что осталось от ее былой красоты, — это живые, выющиеся на горячем ветру водоросли волос.

— Ай хала,— кричит тетя Бэла,— Марьяиванна! Приходи ко мне на сырдак!

— Обязательно приду,— кивает бабуля и обращается к маме: — Вера, а на какое блюдо меня Бэла пригласила?

— На сырдак.

— Это жаренное в масле сладкое тесто?

— Нет, мама, это баклажаны с помидорами. Ты столько лет живешь в Кировабаде, могла бы уже выучить названия восточных блюд.

— Выучить-то выучила, но все равно путаю!

Два раза в неделю мы ездим на центральный городской рынок — за продуктами. Мама тянет меня за руку к фруктовым рядам, а мне хочется туда, где развалы плюшевых диванных подушек — лиловых, малиновых, канареечных, ярко-бирюзовых.

— Фу, какая безвкусица,— говорит мама.

— Мне просто посмотреть,— объясняю я.

— Нечего там смотреть,— отрезает мама.

— Ничяди?¹ — Молодая, красивая женщина перебирает персики длинными пальцами с переливающимися на солнце перстнями.

Торговка — смуглая старуха в цветастом платке, протирает краем рукава капельки пота над верхней губой — жарко. От такой жары спасает только горячее питье. Торговка доливает из термоса чаю в стеклянный стакан, шумно отхлебывает.

— Бир манат!

— Рубль? Чего так дорого? — отдергивает руку женщина.

— А чего в таких украшениях пришла? — отрезает торговка.

Женщина обиженно уходит. Торговка смотрит на меня поверх стакана. Громко хмыкает, выбирает самый большой персик, протирает ладонью и протягивает мне:

— Ал!

— Спасибо.— Я забираю персик. Он тяжелый и шершавый. От легкого прикосновения кожица слезает лохмотьями, открывая сочную мякоть.

— Тебе по двадцать копеек отдам,— говорит торговка маме.

— Я так бедно выгляжу? — смеется мама.

— Я всем по двадцать продаю. А этой, в кольцах, и за три рубля не отдам. Ишь, вырядилась!

¹ Сколько стоит (азерб.).

— Адын няди? — обращается она ко мне, пока мама выбирает персики.

— Как тебя зовут? — переводит мама.

— Девочка, — важно отвечаю я.

— Гёзал эрмени¹, — одобрительно кивает торговка.

Мне часто снится город маминого детства — святые нищие на тротуарах пыльных улиц, огромные, в три обхвата, чинары, шумные базары в россыпи золотистого винограда и медовой хурмы.

Дохлая крыса в вонючем мусорном бачке — брюхо неожиданно розовое, беззащитное, лапы большие, страшные, тесно прижаты к туловищу. Бесконечно длинный хвост запутался в объедках.

Жаркие, жаркие июльские ночи — душные, вязкие. Чтобы спастись от жары, приходится смачивать простыню и накрываться ею. Пока простыня влажная — можно жить.

В моих снах о Кировабаде я навсегда осталась маленькой. Зажигаю свечи в церкви Мец Жам — мне не хватает роста, я поднимаюсь на цыпочки, и мама заклоняет мою руку ладонью — чтобы я не обожглась о горящие свечи. Луплю крашеные яйца, а потом, пока никто не видит, быстро-быстро отковыриваю и съедаю краешек нарядной пасхи. Стою у высокой ограды могил. Дядя Миша протирает белым платком портреты на камнях. Платок покрывается бурыми пятнами, дядя Миша комкает его в руке, убирает в карман. Я читаю по слогам надписи на камнях: Оган-

¹ Красивая армянка (азерб.).

джановы Шушаник, Араксия, Михаил, Андраник. Мелькумовы Лилия, Анна, Игорь...

Гуляю по жаркому городскому скверу. Протягиваю десять копеек мороженщице в застиранном до дыр белом халате. Пробиваю талон в веселом желтом трамвайчике. Подглядываю с бабулиного балкона, как старая русалка тетя Бэла расчесывает свои длинные волосы...

Вавилон моего детства — тебя не вернуть, не забыть, не отпустить.

И никогда. Никогда. Никогда — не простить.

МАРЬЯ

1

Телефон зазвонил резко, среди ночи. Вера вскочила, машинально нашарила выключатель, но следом вспомнила, что света нет уже второй день — авария на подстанции. Пришлось пробираться к надрывающемуся аппарату на ощупь. Дети от назойливого звонка сонно заворочались в кроватях, затревожились.

— Мам? — позвала Нина.

— Я уже, спи,— Вера подняла трубку,— алло?

— Говорите с Невинномысском,— сквозь гул и треск проводов голос оператора связи казался совершенно безжизненным.

— Алло! Вера?

Вера рухнула на колени, прижала руку к горлу. Нашарила створку двери, толкнула ее, переползла в го-

стиную. Плотно, насколько позволял шнур телефона, прикрыла за собой дверь.

За окнами занимался поздний рассвет — серовато-грязный, мрачный. Стояла настороженная, гнетущая тишина.

— Але! Але!

— Миша? — заплакала Вера. — Живой!

— Слава богу, я до тебя дозвонился.

— Ты где?

— Мы у Васи. Я, Света, дети. Спаслись. Ну как спаслись... Нас просто загрузили в крытые грузовики и вывезли на аэродром. Света лежит в больнице — ей сильно досталось... — Миша осип голосом, заторопился. Вера испугалась — она отлично знала за братом эту черту — еще с детства, чтобы не выдавать волнения, он начинал тараторить и заглатывать окончания слов: — Ты не волнуйся за нее, врачи успокаивают, говорят — выкарабкается.

— Ма-амм. Мама? — с трудом выговорила Вера. Телефон молчал несколько секунд.

— Мама осталась там.

Под ребрами лопнул огромный огненный шар. Вера резко согнулась, прижалась грудью к коленям, чтобы унять острую боль в сердце.

— Солдаты ездили по Кировабаду на бэтээрах, собирали по квартирам наших армян. На проспект Ленина они пробиться не смогли — там бесновалась толпа митингующих. Русских пока не трогают, Вера, но это пока. Я не хотел уезжать, но Света была очень плоха. Пришлось лететь с ними — боялся, что она не перенесет перелета.

Вера утерла ладонью слезы, отрывисто вздохнула. Уточнять, что именно случилось с женой брата, не стала. Жива, главное — жива. Остальное неважно.

— Думал — выведу их в Ставрополь, оставлю у Васи и вернусь за мамой, — рассказывал Миша. — Но отсюда не получается улететь — рейсы в Кировабад отменены. Я чего решил, Вера. Надо попытаться через Товуз туда пробиться. Вылечу в Ереван. А отсюда — в Берд.

— Ты к нам не попадешь, перевал завалило снегом.

— А по шоссе?

— Шоссе в Ереван осталось на азербайджанской территории. Сейчас по нему опасно ездить. Рейсовые автобусы еще ходят, но все реже. Скоро и их отменят.

— Мне плевать, Вера. Я купил билет на ближайший рейс — на послезавтра. Вылетаю утром, в девять. Значит, при удачном стечении обстоятельств вечером буду у вас. А там что-нибудь придумаем. Времени у нас мало, дорогá каждая минута. Где Петрос?

— На дежурстве.

— Предупреди его. Скажи, чтобы послезавтра, ближе к вечеру, ехал на перевал. Где машина застрянет — там пусть меня и ждет. Я доеду из Еревана на такси, если дорога будет совсем завалена — отпущу машину, пойду пешком. Тридцать километров — не такой долгий путь.

— Одевайся теплей, на перевале очень холодно.

Миша рассмеялся — коротко, зло.

— Уехали в чем были. Дети вообще в домашней одежде. Возьму что-нибудь у Васи. Он рвется со мной, но я ему не разрешаю. Если что-то пойдет не так — он будет отвечать за моих детей и за Свету.

— Ваше время истекает! — проснулся бесстрастный голос оператора связи.

— Всё, сестра, целую. До встречи.

— До встречи. Будь осторожен.

Вера убрала трубку от уха, повертела ее в руках. Попыталась сообразить, что с ней делать.

— Мам? — В комнату заглянула Нина.— Что-то случилось?

— Всё нормально, дочка. Звонил Миша. Они выбрали оттуда.

— Все?

— Все. Не стой босыми ногами на холодном полу, простынешь.

— Хорошо. Дай трубку, я положу ее на рычаг.

Вера поднялась, не обращая внимания на протянутую руку дочери, прошла мимо, положила трубку на рычаг. Нина проводила мать удивленным взглядом, но говорить ничего не стала. Вернулась в спальню, поправила на Таточке одеяло, убрала со взмокшего лба волосы. Тата мигом заворочалась, завздохала. Для шестилетнего ребенка она спала очень чутко — чуть что, сразу пробуждалась. Осторожно, стараясь не шуметь, Нина пробралась к своей кровати, легла, зарылась головой в подушку, вздохнула с облегчением, закрыла глаза. Они спаслись. Какое счастье.

Вера распахнула форточку, подставила лицо ледяному утреннему ветру. Понаблюдала, как нехотя подергивается рассветным блеклым смурый край горизонта. Зима в этом году нагрянула непривычно рано, на дворе стояли первые числа декабря, а горы уже занесло плотной пеленой снежных покрывал. Осень еще держалась в низинах — куталась в непроглядные туманы, пестрела россыпями ягод боярышника и терновника; к полудню, оттаяв от изморози, пахла кисло-терпким и перебродившим, а вечерами переливалась надтреснутым гранатовым боком на верхушках невысоких, облетавших последними листьями деревец. Но с высокогорья давно уже несло промозглым, пробирающим до костей неугомонным снежным ветром. Зима обещала быть протяжной и очень холодной.

Вера обернулась, глянула на часы — семь. Открыла шкаф, быстро перебрала вешалки с одеждой. Выбрала теплые брюки, глухую вязаную кофту. Одевалась.

Дорога каждая минута.

Миша похож на отца — крупно вылепленное лицо, широкие брови, высокая переносица. А она очень похожа на мать и легко может сойти за русскую. Русских не трогают, сказал Миша. Пока.

Она взбила подушки, заправила постель, привычным, наработанным годами движением накинула покрывало — так, чтобы оно лежало ровно, без складок. Поднялась на цыпочки, вытащила с полки томик Чаренца. В книге лежали деньги на непредвиденные

расходы. Вера пересчитала купюры — девяносто рублей. Взяла сорок, поколебалась, добавила еще две десятки.

Порылась в сумочке, проверила каждый кармашек, вынула все, что могло вызвать подозрение,— блокнот с телефонными номерами, квитанции. Забрала из ящичка секретера связку ключей от маминой квартиры — брелок большой, нелепый, с пятицветной разлапистой эмблемой Олимпийских игр.

Глянула на часы — семь двадцать. Через сорок минут от автовокзала отъезжает автобус в азербайджанский Товуз. Оттуда до Кировабада три часа езды. Обратный автобус трогается в четырнадцать ноль-ноль. Два часа на то, чтобы добраться до мамы и вывезти ее на автовокзал. Если все получится, в восемь вечера они уже будут дома.

Вера заторопилась — времени в обрез. Есть не хотелось, совсем, но в дороге от голода могло укачать. Она сделала два бутерброда с сыром, набрала в термос питьевой воды. Взяла из домашней аптечки пузырек с валерьянкой, таблетки от головной боли. Пожалуй, все.

В комнату детей заглядывать не стала, замерла на несколько секунд, прижавшись лбом к двери.

— Я вернусь,— шепнула.

Вырвала из блокнота листочек, нацарапала несколько слов, оставила записку на кухонном столе. Накинула пальто, проверила карманы. Нашла бумажку со списком продуктов, скомкала ее, выкинула в мусорное ведро. Вышла из квартиры, тихо прикрыла за собой дверь.

2

Таточка спросонья всегда была хмура и очень медлительна — если не поторапливать, так и будет сидеть — всклокоченная, со смешным следом подушки на щеке — и клевать носом. Нина заглянула в спальню, сделала круглые глаза.

— Чай заварился, а ты еще не оделась!

— Щас! — нехотя отозвалась Тата и потянулась за колготками.

— Я сварила сосиски. Давай двигайся быстрее, а то они остынут.

— А где мама?

— Уехала в Паравакар. Там какое-то мероприятие в школе, она должна присутствовать. Странно, что мероприятие в воскресенье.

— А папа вернулся?

— Нет. Позвонила медсестра, предупредила, что утром подвезли тяжелого больного. Так что он задержится. Давай быстрее, ладно? Я пошла чай разливать,— Нина закрыла дверь, но тут же снова ее распахнула,— и не забудь умыться и почистить зубы! Слышишь?

— Слышу,— буркнула Таточка и, дождавшись, когда сестра скроется из виду, показала ей вслед язык. Какая все-таки задавака эта Нина! Чуть что — начинает строить из себя взрослую. Командует, распоряжается. Говорит маминими интонациями. А самой всего тринадцать. Тоже мне, взрослая!

Тата шумно вздохнула, надела кофту, привычно запуталась в рукавах. Втянула тощий живот, застегнула пуговицу юбки. Окинула взглядом аккуратно застеленную кровать сестры, поморщилась. Заправила под матрас край своей простыни, скомкала и убрала под подушку пижаму. Накинула сверху покрывало, отошла чуть в сторону, наклонила голову к плечу, любовалась бугристой поверхностью своей постели. Удовлетворенно кивнула — сойдет.

Сдернула с тумбочки любимую игрушку — длинноухого зайца с разноцветными глазами — один зеленый, другой синий, Нина рассказывала, что этого зайца на первый ее день рождения подарила бабушка Тата. Жаль, Таточка не застала бабушку, но зато ей достался заяц — серый, раскосый, с облысевшей от частой стирки спинкой, с пуговичными глазами — одна пуговица большая, другая поменьше, и от этого у зайца немного хитрое выражение лица, словно он прищурился на один глаз. Нина показывала ей старую фотографию — черно-белую, с наспех выведенной чьей-то рукой карандашной надписью на обороте: «Берд, 1978 год», Нина там совсем маленькая, сидит на коленях бабушки, улыбается, довольная, прижимает к груди зайца, а сзади, положив руку на плечо бабушки, стоит древняя старушка в светлой косынке — нани Тamar. Таточка и ее не застала, Нина говорит, что нани Тamar умерла после бабушки спустя два года. А через месяц после смерти бабушки родилась Таточка. И имя ей досталось бабушкино — нежное, ласковое, не привычное для этих мест — но очень красивое. Тата.

Вера юркнула в подъезд, боковым зрением выхватила распахнутые дверцы почтовых ящиков, крайний справа зиял чадными подпалинами боков — у нее нехорошо сжалось сердце, это был почтовый ящик тридцать первой квартиры. Она поспешила вверх по лестнице, стараясь ступать как можно тише,— шаги зазвучали едва слышным шелестом по каменным, скованным холодом щербатым ступенькам, первый этаж, второй, дверь квартиры большой и шумной семьи Симоновых чернела вывороченным проемом, Вера прошла мимо, не поворачивая головы, третий этаж, четвертый, а вот и нужная дверь, цела, слава богу, и замок не выбит. Вера по привычке толкнула ее, но дверь не поддалась — раньше квартиры запирали только на ночь, но сейчас настали другие времена. Она полезла в сумку, долго рылась в кармашках, ругая себя за то, что не додумалась заранее достать ключи, быстро отперла замок, вошла в квартиру, задвинула хлипкий засов, вдохнула знакомый с детства сладковатый запах валерьянки.

— Мама?

— Вера? — Марья осторожно, не веря глазам своим, выглянула из комнаты, испуганно всплеснула руками: — Ты с ума сошла, а если бы кто-нибудь тебя узнал?

— Миша, Света и дети в безопасности. Они у Васи, в Невинномысске,— зачистила Вера, выпутываясь из пальто и скидывая сапоги.

Марья прислонилась плечом к стене, медленно сползла на пол. Вот уже несколько дней она находилась в полном неведении о сыне и его семье — по телефону не дозвониться, а до Аббаса Хата не доехать — по улицам шныряли толпы погромщиков. Кировабад давно уже жил по законам варварской, одурманенной запахом крови и легкой наживы толпы, на тот, армянский, берег Гянджинки стекались беженцы с этой стороны. Марья прокляла тот день и час, когда согласилась переехать в центр города. На Шаумяна никто из погромщиков сунуться бы не посмел, а здесь, в азербайджанских кварталах, армянские семьи были беззащитны.

С того дня, как не отвечал телефон в Мишиной квартире, она не могла ни есть, ни спать. Молилась ежечасно, ежеминутно. Иногда забывалась недолгим, тревожным сном, просыпалась от любого шороха. Позавчера погромщики добрались до квартиры Симоновых. Рубик с женой и детьми уехали в Армению еще в мае, а Софья Амирамовна уезжать отказалась наотрез:

— Я заслуженный врач, они меня и пальцем не тронут,— твердила она сыну.— Останусь в Кировабаде, буду стеречь квартиру. Потом, когда все успокоится, вы вернетесь.

Позавчера погромщики выволокли на лестничную клетку Софью Амирамовну, избили ее до полусмерти, скинули во двор, а сами принялись крушить квартиру. Всё, что не смогли унести с собой, превратили в мелкую труху. Никто из соседей не рискнул заступиться за пожилую женщину — страх перед

озверелой толпой оказался сильнее естественного порыва прикрыть беззащитного человека плечом. Люди сидели по домам, плотно задвинув шторы и заперев на все замки двери.

Заслышав шум в подъезде, Марья не стала терять времени. Она перетасила трехногий кухонный табурет на балкон, приставила его к перилам — так, чтобы легче было спрыгнуть вниз, когда станут ломиться в дверь. Окинула быстрым взглядом квартиру, подивилась тому, какой она стала чужой — словно отодвинулась, скукожилась, подобрала под себя ноги, подернулась паутиной. Все, что в ней так любила Марья,— большие, обитые темно-зеленым бархатом кресла, старый буфет — высокий, массивный, каждая створка украшена резным орнаментом, дымчато-молочный, расписанный лилиями чайный сервиз — единственное, что осталось от мамы,— вся эта дорогая сердцу обстановка в минуту опасности мгновенно отвернулась от нее, словно отреклась. Марья забрала с верхней полочки буфета старую семейную фотографию — десятилетний Миша — худющий, высокий, со смешной коротенькой челкой надо лбом; семилетняя Вера — улыбчивая, ласковая, теревит в руках кончик длинной, не по-детски густой косы; маленький Васенька сидит боком, уткнувшись щекой в грудь Андро,— фотографу так и не удалось поймать взгляд ребенка в объектив. Марья вытащила фотографию из картонной рамки, спрятала за пазуху, вышла на балкон. Села лицом к двери, перекрестилась, сложила руки на коленях. И приготовилась ждать.

— Марья Ивановна! — позвала сверху молоденькая Гюльназ Алимова. Муж Гюльназ уехал за длинным рублем на Север, оставив беременную жену на попечение родителей. Марья давно дружила с Алимовыми — буквально с того дня, как поселилась в этом доме. Мать Гюльназ, Бэла — высокая, крупная зеленоглазая красавица, часто заглядывала к ней поболтать, и они просиживали долгие вечера за кухонным столом, попивая ароматный чай из молочно-дымчатых чашечек.— Марья Ивановна, Марья Ивановна! — прижавшись большим животом к перилам балкона, звала шепотом бледная, перепуганная Гюльназ.— Я хотела спуститься за вами, но на вашей лестничной клетке кто-то вертится, боюсь — караулит. Вы не думайте, я уже решила что делать. Сейчас скину веревку, вы обвяжетесь ею, а я вас вытащу.

Марья усмехнулась.

— Иди домой, деточка. Ты же знаешь, что они делают с теми, кто помогает армянам.

— Ничего они со мной не сделают, я беременная. И потом, вы не армянка, вы русская. Сейчас! — Гюльназ поспешила в квартиру, вернулась с большими ножницами, чтобы перерезать веревку, на которой сушилось белье.

Марья сделала запрещающий жест рукой:

— Подумай о своем ребенке. Уходи с балкона!

Внизу, на бетонной панели подъездного козырька, лежала голая Софья Амирамовна — обезображенное тело старой женщины зияло страшными ранами, из ноги торчал острый край переломан-

ной кости. Как ни старалась Гюльназ не смотреть туда, но не получилось — она скользнула испуганным взглядом по трупу, зажала рот ладонью, чтобы унять рвущийся изнутри крик, всхлипнула, замотала головой — возьми себя в руки, возьми себя в руки!

— Марья Ивановна! — позвала она еще раз.

Марья даже не ответила.

Гюльназ поспешила в прихожую, нашарила в шкафчике с квитанциями паспорта — свой, матери, отца. Распахнула настежь входную дверь, прислушалась к усиливающемуся шуму — погромщики, расправившись с тридцать первой квартирой, пошли вверх, в поисках новых жертв.

— Сюда,— позвал тот, кто вертелся перед дверью Марьи Ивановны.— На четвертый этаж!

Времени на раздумья не оставалось, Гюльназ заторопилась вниз, ступая боком и придерживая тяжелый живот обеими руками.

— В тридцать пятой квартире живут азербайджанцы,— набрав в легкие как можно больше воздуха, крикнула она вниз, в лестничный пролет.

Тот, который стерег у двери, резко обернулся, дернулся к ней, но идущий впереди погромщиков невысокий коренастый мужчина — Гюльназ безошибочно вычислила в нем вожака — поднял предостерегающе руку — стой! Гюльназ поспешно отвела глаза — она узнала впившиеся узким краем браслета в волосатое запястье погромщика золотые часы.

— Мааальчик будет, мальчик,— ворковала Софья Амирамовна и ласково гладила Гюльназ по животу —

свисающий с часиков крохотный замочек щекотал натянутую до упора кожу. Гюльназ хихикала, подставляла под замочек ладонь, вертелась на гинекологическом кресле.

— Ты можешь хотя бы здесь не елозить? — шутиливо отчитывала ее Софья Амирамовна.

Она стянула с запястья часики и протянула ей — пока буду заполнять твою карту, найди-ка ты там, Гюльназик, секрет.

Гюльназ долго вертела в руках часы, заглядывала под циферблат, изучила каждую пластинку браслета, но ничего не нашла.

— Сдаешься? — Софья Амирамовна подцепила тонкими, длинными пальцами замочек на часах, нажала на невидимую кнопку — замочек распахнул створки, словно божья коровка — крылышки, изнутри выпал филигранно выгравированный маленький крестик на невидимой цепочке.

— Ах! — задохнулась от восторга Гюльназ. — Какая красота!

— Вот такой секретик, — улыбнулась Софья Амирамовна, — этим часам уже сто с лишним лет. Мне они достались от бабушки, а я передам их своей старшей внучке. Маше.

Маша теперь была далеко, а узкий браслет часов с секретиком сдавливал волосатое запястье убийцы Софьи Амирамовны.

— Оганджановы давно переехали на Аббаса Хата, — Гюльназ заговорила ровным, низким голосом, стараясь не выдавать своего волнения. — Тут проживала их русская мать, но три дня назад она тоже

уехала. А в эту квартиру вселились наши родственники, беженцы из Армении. Их сейчас нет дома.

Шаг, еще шаг — она добралась до нужной двери, прислонилась к ней спиной, выставив вперед большой, круглый живот. Протянула паспорта:

— Тут мой паспорт и паспорта моих родителей, проверяйте. Я азербайджанка, врать вам не буду. Можете быть спокойны, в этом подъезде не осталось ни одного гяура,— она чуть помолчала и добавила: — Клянусь Аллахом.

— Убери паспорт. Я умею своих от собак отличать.— Главарь достал из кармана мятый лист бумаги, расправил его на колене — Гюльназ пригляделась — там были списки — номера домов и квартир.

— В соседнем доме,— скомандовал он отрывисто.— Первый подъезд, второй этаж. Вперед!

Погромщики ринулась вниз, оставив за собой тошнотворный запах пота, гари и чего-то нестерпимо мерзкого и тяжелого. «Запах смерти»,— догадалась Гюльназ. Она вытянула шею, чутко прислушиваясь к удаляющемуся шуму. Скоро умолкли последние шаги, протяжно взвизгнув, хлопнула подъездная дверь, и наступила вязкая, душная, невыносимая тишина.

4

— Я за тобой.— Вера накапала валерьянки, протянула чашку Марье.— Выпей, мам. Нам надо успеть на обратный автобус, билеты я уже купила. Возьмем до-

кументы, только спрятать их надо так, чтобы не нашли. Ты посиди, а я соберу небольшую сумку. Много брать не будем, чтобы не вызывать подозрений.

Вера заметалась по квартире в поисках нужных вещей.

— У Мишеньки точно всё в порядке? — спросила Марья.

— Точно, мама. И у Миши, и у Светы, и у детей. Одевайся.

— Хорошо.

Марья быстро переоделась в теплое платье, сдернула с вешалки тяжелый вязаный жакет — ни за что его не оставит, это подарок Веры. Забрала с прикроватной тумбочки иконку Николая Чудотворца, порылась в шкафу, достала старый семейный альбом. Пожалуй, всё.

— Где документы на квартиру? — заглянула в спальню Вера.

— Ты думаешь, мы сюда вернемся?

— Не знаю. Я просто собираю все бумаги.

— Видела квартиру Софьи Амирамовны?

— Видела. Только не надо об этом сейчас.

— Хорошо, дочка, не будем.

Марья достала из ящика стола документы на квартиру, протянула Вере:

— Нужно отнести их Алимовым.

— Зачем?

— Мы больше не вернемся. Я хочу, чтобы квартира осталась им.

Вера колебалась с минуту:

— Как скажешь, мама.

Они поднялись на пятый этаж, поскреблись в дверь. Открыл Джаббар — седой, растрепанный, в старой, растянутой майке, в шлепках на босу ногу. Он ахнул, посторонился, пропуская их в квартиру, поспешно захлопнул дверь. Повернулся к Вере, хотел ее обнять, но замешкался, растерялся.

— Здравствуйте, Джаббар-киши.

— Ассалам аллеюкум, гезал-гыз¹.

Джаббар пожал Верину протянутую руку, потом привлек ее к себе, обнял. Прошептал на ухо:

— Дочка, мне стыдно глядеть тебе в глаза.

— Мне тоже, — хрипло отозвалась Вера.

— Как ты сюда приехала? А если бы тебя кто-то узнал?

— Это неважно, Джаббар-киши. Я за мамой приехала.

— А наша Гюльназ в больнице, — неловко перевел тему разговора Джаббар. — Вот-вот родить должна. Бэла осталась с ней, а я домой приехал — чего-нибудь приготовить. Проходите, что же вы в прихожей стоите!

— Джаббар-киши, времени мало, нам уезжать пора, — замялась Вера. — Иначе опоздаем на автовокзал.

— Я доеду с вами. Провожу. За квартиру можете не беспокоиться, никого туда не пустим. Потом, когда все уладится, вы вернетесь. Мы будем вас ждать.

— Джаббар Русланович, как раз о квартире я и хотела с вами поговорить, — шагнула вперед Марья. —

¹ Красивая девочка (азерб.).

Пусть туда Гюльназ заселяется. Я хочу, чтобы в моей квартире жили люди, которых я люблю.

— Марья Ивановна, я даже слышать об этом ничего не хочу. Дайте мне буквально минуту — одеться. Я поеду с вами на автовокзал.

Он поспешил в спальню, приговаривая на ходу:

— Всё уладится, я знаю. Всё забудется, и вы обязательно вернетесь. По-другому и быть не должно!

Когда, переодетый и наспех причесанный, он вернулся обратно, прихожая была пуста. На телефонном аппарате лежали документы на квартиру, а в воздухе витал легкий запах валерьянки. Джаббар выскочил из квартиры, побежал, тяжело топая, вниз по ступенькам. Выскочил из подъезда, окинул быстрым взглядом двор. На деревянной скамейке, по-мужски широко расставив ноги и упершись локтями в колени, сидела соседка Карима.

— Ты не видела их? — крикнул он.

— Видела. Только что уехали. Так удачно сложилось — вышли из подъезда — и сразу трамвай подъехал.

Карима тяжело поднялась, заковыляла к подъезду. Остановилась рядом с Джаббаром, протянула ему руку:

— Помоги мне дойти до квартиры, ноги не идут.

Джаббар перекинул руку старой Каримы себе на плечо, обнял ее за талию.

— Пошли, ай хала.

— Хоть бы смерть сжалилась надо мной и забрала, чтобы я не видела всего того ужаса, что творится кругом! — выдохнула Карима.

Автобус ехал по шоссе, загребая скрипучими дворниками капли колючего дождя. Вера сидела у прохода, немного боком, поставив на колени сумку с вещами, так, чтобы отгородить спящую Марью. Добрались они до автовокзала без приключений, никто внимания на них не обращал. Город практически вымер — люди предпочитали отсиживаться по домам, детей во дворы не выпускали. Кировабад выглядел таким тихим и умиротворенным, что, если бы не оцепленный русскими солдатами стремительно пустеющий армянский квартал, можно было бы подумать, что ничего и не случилось. Погромщиков разогнала наконец-то проснувшаяся милиция, разогнала — но никого задерживать не стала. Поговаривали, что за погромщиками стояли большие люди и что беспорядки были спровоцированы сверху, чтобы отвлечь внимание от митингов, а митинги с требованием независимости от Москвы теперь случались часто, чуть ли не каждые выходные. Водитель автобуса, забирая билеты, поинтересовался, кто они.

— Русские,— отозвалась на азербайджанском Вера.

— Муж тоже русский?

— Нет, азербайджанец,— она старалась не отводить взгляда, чтобы не вызывать подозрений,— должны были на машине за мамой приехать, но он приболел. Пришлось мне на автобусе ехать.

— Вовремя ты ее забираешь. Пусть поживет какое-то время у тебя. В городе небезопасно.

— Да, вовремя,— Вера пропустила Марию вперед, пошла следом,— мы сядем сзади, там вроде не так шумно, как впереди.

— Сзади как раз шумнее,— отозвался водитель.

Вера сделала вид, что не слышит его. Она довела Марию до крайних левых сидений — их труднее было разглядеть с входа, усадила у окна. Вытащила из сумки вязаный жакет, накинула ей на ноги.

— Мам, ты как?

— Нормально, дочка. Устала только. Очень.

— Может, поспишь?

— Постараюсь.

Марья завозилась, устраиваясь удобнее в скрипучем, продавленном автобусовом кресле, прислонилась виском к оконному стеклу, закрыла глаза. Вера хотела задернуть шторку, но потом не стала — вдруг завешенное окно вызовет у кого-нибудь подозрение. Могут и камнем кинуть, и выстрелить. Лучше не надо.

Слева, через проход, сидели двое стариков — муж и жена. Она вежливо поздоровалась с ними, осведомилась об их здоровье. Старики с большой охотой дали втянуть себя в беседу. Долго и подробно рассказывали о детях и внуках, расспросили Веру о ее семье. Вера ответила, что родилась в Кировабаде, вышла замуж за азербайджанца, живет в приграничном селе Алябайли, преподает в школе.

— Сколько детей? — поинтересовались старики.

— Две девочки. Айгуль и Гюльназ,— складно врала Вера,— вот приехала за мамой, везу ее к себе, давно с внучками не виделась.

Рассказывала чуть громче, чем полагалось, чтобы слышали другие пассажиры автобуса.

Автобус тронулся вовремя, минута в минуту. Вера сидела с поникшими плечами, теребила ручку сумки. Мимо проплывал город ее детства, знакомые улочки, высоченные, в несколько человеческих обхватов, подпирающие макушкой небосвод чинары, шумная, вся в пенных завитках волн, Гянджа. Вера ни разу не повернула головы к окну — ей нечего было ему сказать, городу своего детства, Кировабад словно выжгли-вымарали из ее сердца, и единственное, что не давало ей покоя,— это могилы, которые она навсегда оставляла здесь, в этом разом отвернувшемся от нее крае.

Оставались Мелькумовы — Лилька, Анна Николаевна, Игорь Мовсесович. Вере было семнадцать, когда они погибли — ехали на свадьбу в Шушу, да так и не доехали, водитель машины не справился с управлением, и на горном серпантине сорвался вниз, в пропасть. В день похорон во дворе армянской церкви собралось много народу, мужчины хмуро обсуждали происшествие, женщины плакали. Небо густело на глазах — ясное с утра, к полудню оно набухло рыхлыми облаками и одышливо нависло над городом. Стелилось низко, по самым крышам. Потом внезапно затихло, словно призадумалось, и закрутилось причудливой раковиной над крестом Мец Жама.

— Недобрый знак,— ткнула корявым пальцем вверх старуха Шахназарова,— таким я небо видела лишь однажды — пятьдесят лет назад, когда случилось страшное землетрясение.

— Ба, не трави душу, и так тошно,— одернул ее младший внук.

— Володя-джан, да разве я со зла? Я говорю, что даже небо скорбит о том, что случилось.

Иногда Лилька снилась Вере. Шептала, словно заговаривала, улыбалась — безмятежно, ласково, нежно. Вере ни разу не удалось разобрать ее слов, но в ее снах у Лильки всегда было такое ясное, такое светящееся лицо, что Вера просыпалась как в детстве — мгновенно, в предчувствии праздника, словно в соседней комнате тебя ждет наряженная елка, а под ней — подарки. И тебе надо бежать, пугаясь в длинном подоле ночнушки, туда, где переливаются гирлянды и стеклянные шары, где пахнет сладким и хвойным и где на толстых еловых лапах покоятся хлопья невзаправдашнего, ватного, но такого уютного снега.

Через две могилы от Мелькумовых лежал отец. Вера резко протерла лицо ладонями — раз, еще раз. Главное, не расплакаться. Вспомнила ночь, когда рыдала, уткнувшись лицом в Васькины кудри. Она мало что поняла из разговора отца и Мухи-дайи, но интуитивно почувствовала, что он сотворил нечто такое, что гнетет его всю жизнь. Однажды Вера нашла в его документах несколько старых фотографий — десяток бритых под ноль мужиков в косоворотках на грубо сколоченной сцене.

Справа, на самом видном месте, сидел отец, играл на банджо, улыбался во все свое крупное, красивое лицо. «Выступление джаз-бенда „Светлый путь“ под управлением А. Оганджанова, Холмогорский ПТЛ, 1928 год», — гласила запись на обороте одной из фотографий.

Вера к тому времени уже знала от Марьи, почему ее отец оказался в колонии.

Дед Веры, Михаил Оганджанов, был очень уважаемым в Гяндже человеком. Князем, воином. Много сделал для того, чтобы защитить армянское население Елизаветпольской губернии. Воевал до последнего, отбивая от кавказских тюрков одно селение за другим. Когда отцу Веры было восемь лет, Михаила убили на его глазах.

Конец XIX — начало XX века стали страшным испытанием в судьбе армянского народа. Западные берега когда-то могущественной, а потом на долгие столетия лишенной независимости Армении омывали моря крови, на востоке творились не менее жуткие дела. Когда к власти в Баку пришли мусаватисты, наступили совершенно беспросветные времена. Достижение мира им виделось лишь одним способом — истреблением армян. И тех стали вычесывать, как постылых блох. Тысячами. А чтобы надломить сопротивление, первым делом, по примеру младотурков, затеявших в подконтрольной им Западной Армении настоящий геноцид, мусаватисты убивали представителей интеллигенции и аристократии.

Андро чувствовал, что с отцом что-то должно случиться. В тот страшный день с самого утра ходил за ним по пятам, но не смел подойти — держался на почтительном расстоянии. Михаила Оганджанова в Гяндже уважали и побаивались убирать. Он был авторитетным человеком, почувствуй неладное — легко мог поднять восстание. Поэтому мусаватисты решили действовать хитростью — пригласили его на переговоры. Пришел даже мулла. «Когда-нибудь эта война должна закончиться,— вел свои витиеватые речи он.— Нужно заключить мир между нашими народами».

— Не ходи,— просил Андро отца,— они тебя убьют.

— Ничего они со мной не сделают.

Он плакал от бессилия. Знал все наперед, но не смог помешать отцу. Михаил запретил сыну идти с ним — оставайся дома, не детское это дело в разговоры взрослых вступать. Но Андро впервые в жизни послушался отца. Он незаметно крался следом, видел, как отец встретился с ними, их было человек пятнадцать, а отец был один. Как они зашли в ресторацию Назимовых, как поднимали бокалы вина за мир. Андро вскарабкался на растущую впритык к строению грушу и украдкой заглядывал в распахнутое окно ресторации. Отец сидел к нему лицом, несколько раз скользнул взглядом по дереву, но сына не заметил.

Потом все вышли, и остались эти двое. Люди, которых отец знал очень хорошо,— Али-хан и Касим Бабеков. И Касим сказал отцу — Михаил, мы тебя се-

годня ведем к расстрельной стене. Отец осушил бокал до дна. Пошли, бросил коротко.

И они повели его. Ну как повели, пошли рядом. О чем-то говорили, даже смеялись. Андро вдруг остро и явственно ощутил, что отец знает — сын крадется следом. Наверное, Михаил действительно догадывался об этом, потому что всю долгую дорогу до расстрельной стены он ни разу не обернулся. Чтобы не выдавать присутствия мальчика.

— Молиться будешь? — спросил перед тем, как стрелять, Али-хан. Михаил сплюнул, выругался длинной и страшной фразой. Они выстрелили несколько раз. Подошли, проверили — дышит или нет. Касим расстегнул ворот рубахи Михаила, бережно стянул с шеи нательный крест. Вложил ему в руку. Прочитал короткую мусульманскую молитву. Али-хан стоял рядом с поникшей головой.

Андро искал их долго, настойчиво. Нашел спустя десять лет, в Баку. Расстрелял в упор. Сначала Касима, потом Али-хана.

— Узнаешь меня? — спросил у Али-хана. Тот хмыкнул — вот ты и пришел за мной, сын моего друга. Андро выстрелил ему в лицо, потом в сердце. И пошел сдаваться.

Он ни разу не говорил о том, что случилось. Ни с Верой, ни с мальчиками. Да и дети не спрашивали — интуитивно понимали, что эту страницу своей жизни отец перевернул для себя раз и навсегда. Андро был очень талантливым — хорошо пел, играл на нескольких инструментах. За год до убийства записался на театральные курсы, подавал большие надежды.

И, даже оказавшись в Холмогорском лагере, в нечеловеческих для выживания условиях, от своей тяги к прекрасному не отрекся — ставил спектакли, организовал джаз-бенд, который несколько раз даже ездил на гастроли в другие колонии северных лагерей особого назначения. Ушел добровольцем на финский фронт, прошел войну. Вернулся с искалеченной ногой. И сожженной навывлет душой.

Вера поначалу осуждала отца, не понимала его необузданного нрава, непростительно разгульного образа жизни. И лишь потом, спустя много лет после смерти Андро, она примерила события его жизни на себя и с ужасом отшатнулась — увидеть ребенком, как убивают твоего отца, долго и целенаправленно выслеживать и найти убийц, расстрелять их в упор, уйти на пятнадцать лет в лагерь, потом — на фронт... Добровольно вычеркнуть половину жизни, обречь себя на тридцать два года непрерывного ада. Кто-то, наверное, и смог бы смириться с этим адом. Отец не смог...

Вера вспомнила день, когда мама впервые узнала о том, что у отца есть любовница. Взгляд старой Зои — недобрый, кусачий, как она смотрела вслед удаляющейся Марье, как раздраженно махнула рукой и заковыляла прочь — бубня себе что-то неразборчивое под нос. Глухой стук проснувшегося Марьиного сердца, свои тяжелые слезы — мамочка, мамочка. В ту ночь, прислушиваясь к слабому ее дыханию, Вера страстно пожелала старой Зое смерти — чтобы она ушла, раз и навсегда, и никогда никому не делала больше зла. Смерть словно услышала мольбу Веры и скоро за-

брала Зою, сначала вдоволь поглумившись над ней. Нашли старуху на третий день, она лежала на стеклянной веранде своего дома, под сушащимися ломтями сыровяленой бастурмы, видно, бежала к окну, чтобы звать на помощь, но не добежала, ее догнали, ударили чем-то тяжелым в затылок, она рухнула, но не умерла, пролежала какое-то время, пока воры шуровали по дому в поисках золота и денег, а потом, когда они ушли, ползла к окну, тяжело ползла, оставляя за собой широкий кровавый след, но так и не доползла — задохнулась в собственной рвоте. Когда ее нашли, она лежала, раскинув руки, с запекшейся коркой блевотины на бледном лице.

Вера никогда не вспоминала своей горячей ночной мольбы — туда, вверх, в небеса — с просьбой о смерти старой Зои, но сейчас внезапно вспомнила и содрогнулась — вдруг это она накликала ей такую ужасную гибель. Подумала — и сразу отменила эту мысль, не время для глупого самокопания, главное, доехать без приключений, главное, доехать.

Марья зашевелилась во сне, вздохнула. Вера поправила на ее коленях жакет, легко, чтобы не разбудить, поцеловала в висок. Марья открыла на секунду глаза, улыбнулась, положила голову на плечо дочери, снова провалилась в сон.

Автобус, вильнув боком, выехал на шоссе. Пассажиры зашуршали бумажными свертками, развернули припасы. Салон мигом наполнился запахом отварных яиц, копченой колбасы, сыра и пирожков с картошкой. Веру мигом замутило. Она вспомнила о бутерброде с сыром, но есть не хотелось — совсем.

Осторожно, чтобы не потревожить сон Марьи, она вытащила из сумки термос с водой, сделала большой глоток. Задышала глубоко, выдыхая открытым ртом. Тошнота отступила.

Сидящий слева по проходу старик протянул ей сырную лепешку — ешь, дочка.

— Спасибо большое, — улыбнулась Вера, — я не голодна.

— Возьми, милая, не обижай нас отказом. Это моя Зейнаб пекла. Попробуй.

Зейнаб склонила сухонькую головку к плечу, сложила руки на груди — сама пекла, сама! Вере неудобно было расстраивать стариков отказом, она взяла лепешку, отломил кусочек. Тесто было пресное, совсем чуть — солоноватое и немного отдавало козьим сыром.

— Очень вкусно, — улыбнулась Вера, — спасибо вам большое. У меня есть бутерброды с сыром, давайте я их вам отдам.

— Ну что ты! Мы уже давно не едим дрожжевой хлеб. Только лепешки. Эти вот, которые Зейнаб печет, или же армянский лаваш... — Тут старик осекся, замолчал. Кашлянул. — Сын в Абовяне жил, часто привозил нам настоящий лаваш.

— Где он сейчас? — осторожно спросила Вера.

— Уехал в Краснодар. Азербайджанцам в Армении жить небезопасно. После всего того, что случилось.

— Небезопасно? — обернулась сидящая перед стариками смуглая женщина в темном платке. Она скользнула по ним недобрым взглядом, потом уста-

вилась на Веру.— Вещи надо называть своими именами. Их там режут и убивают, даже детей не жалеют. Сволочи армяне, мы с ними бок о бок столько лет прожили, а они нас предали.

— Кого это вас? — вздернула брови Зейнаб.

— Азербайджанский народ! — Женщина хмыкнула, махнула рукой в сторону Веры.— А русские их поддерживают. Вон, оцепили своими войсками армянский квартал, вывозят их на самолетах.

Вера собрала всю волю в кулак, чтобы не выдать волнения.

— Думаю, это правильно, что их вывозят. Кому нужны лишние столкновения? Да и азербайджанцам хорошо — уедут армяне, одной головной болью меньше,— как можно спокойнее выговорила она.

— Да их убить мало! За то, что они наших убивают! — вскипела женщина.

— Успокойтесь, ай хала,— подался вперед старик.— Зачем кричать? Кто-то в этой ситуации должен оказаться умнее.

— Да если бы люди это понимали... — махнула рукой Зейнаб.

— Собакам — собачья смерть! — не унималась женщина.

— Тихо там! — сбавил скорость водитель автобуса.— Мне только скандала тут не хватало! Высажу на шоссе, дальше пешком пойдешь!

Женщина раздраженно фыркнула. Но умолкла.

— Вера? — зашептала Марья.

— Всё в порядке, мама. Спи.

Товузский автовокзал к вечеру почти опустел. Вера хотела подождать, пока пассажиры выйдут из автобуса, но потом решила, что среди людей будет как-то спокойней. Она пропустила вперед старичков, за ними — Марью, а сама пошла следом.

— Будь осторожна,— задержал ее за локоть водитель автобуса. Вера обернулась, поймала его сосредоточенный, не улыбочивый взгляд: — Станешь брать такси, поищи серый «москвич», номер легко запомнить — 19-45. Год победы. Скажи, что тебя Ибрагим отправил. Это я. Водителя я всю жизнь знаю, он мой друг, очень хороший человек. Он вас довезет без происшествий до Алябайли. А дальше... Как-нибудь сами.

— Спасибо,— Вера запереливалась глазами,— спасибо.

— Идите с Аллахом.

Серого «москвича» у автовокзала не оказалось. Вера поймала первое такси — времени на то, чтобы перебирать водителей, не было — чем дальше стоишь на виду, тем больше привлекаешь к себе ненужное внимание.

— Тридцать рублей,— сверкнув булатными зубами, отключил счетчик таксист.

— Почему так много? — запротестовала Марья.

— Потому что ехать к границе. Не всякий туда на ночь глядя поедет.

— Все нормально.— Вера усадила Марью на заднее сиденье, сама села вперед — подумала, что

лучше находиться ближе к водителю, на всякий случай. Чтобы, если тот что-то заподозрит и попытается как-то навредить ей, можно было дать отпор — ударить, вцепиться в лицо или, на худой конец, крутануть руль машины. Просто так сдаваться Вера не собиралась, не затем она проделала весь этот долгий путь, чтобы погибнуть в тридцати — сорока минутах езды от армянской границы.

Ее очень беспокоила Марья — чем ближе оказывалась спасительная граница, тем больше она суежилась и волновалась.

— Мама, в сумке термос,— Вера постаралась говорить ровным, безмятежным голосом,— налей себе воды и накапай валерьянки.

— Сердце болит? — отозвался водитель. Он притормозил на светофоре, обернулся к Марье, потом глянул на Веру.— Русские?

— Русские, да. Мама после второго инфаркта. Вот, везу к себе. Пусть поживет у нас, наберется сил.

— Давно переехали в Алябайли?

— Двадцать лет уже.

— Моя свояченица там живет, я часто у них бываю. Но вас что-то не припомню.

— Ну, село большое, всех не упомнишь.

— А где вы живете? — Водитель свернул направо, выезжая на боковую улицу.

Вера напряглась.

— Зачем вы повернули направо? Нам ведь прямо ехать.

— Раз уж в Алябайли едем, возьму кое-что, завезу свояченице. Тут недалеко, пол-улицы проехать.

— Вера, а где валерьянка, что-то не найду,— звала Марья.

— Посмотри в левом кармашке сумки.

— Поискала, там ее нет.

Машина затормозила у небольшого одноэтажного дома.

— Я быстро.— Водитель вышел, громко хлопнув дверцей. Долго рылся в карманах, чиркнул спичкой, закурил. Прошел вразвалочку к калитке. Вера подождала, пока он скроется из виду, потом обернулась к Марье:

— Мам, ты, главное, не дергайся. Чем спокойнее мы будем — тем лучше для нас.

— Не доверяю я ему. Он нехороший человек, я это чувствую.

— У нас нет выбора. Через час-полтора совсем стемнеет. Что мы будем делать на улицах азербайджанского города? Куда пойдем? Мы даже в гостиницу не можем заселиться!

— Хорошо, доченька. Я буду тихо. Обещаю.

Вера отобрала у Марьи термос, налила в крышку воды. Порылась в сумке, зацепилась рукой за что-то холодное, вытащила. Это оказалась серебряная чайная ложка, которую отец привез в подарок Марье, с оттиском на расписной ручке: «Баку, 1913 годъ».

— Откуда она тут взялась?

— Это я положила. На удачу.

Вера убрала ложку в карман пальто, завозилась в сумке, нашарила пузырек с валерьянкой. Накапала тридцать капель, протянула Марье — пей!

По улице, звеня в велосипедные звонки, с громким гиком проехала ватага мальчишек. Вера наблюдала, как они, весело обгоняя друг друга, свернули за угол, подумала с горечью, что детство — самое совершенное состояние души — всех любишь, ни на кого не держишь зла. Вспомнила о Нине с Таточкой, оцепенела от боли — мысль о дочерях делала ее бесконечно слабой и уязвимой. Петрос уже вернулся с дежурства, они, наверное, недоумевают, куда она так надолго пропала. Звонили в паравакарскую школу, узнали, что никакие мероприятия сегодня там не проводились... Как только перейдут границу, нужно постучаться в первый попавшийся дом, позвонить и предупредить, что всё в порядке. Петрос, наверное, будет в бешенстве, отругает ее за необдуманый шаг, ну и ладно, это уже не страшно. Главное, она вывезла маму из Кировабада.

Скрипнула калитка, таксист вытащил на улицу большую сумку. Кинул ее в багажник — сумка отозвалась глухим лязгом, долго возился с замком, наконец — захлопнул крышку багажника. Вера наблюдала за ним в зеркало заднего вида — небольшого роста, коренастый, на вид ее ровесник, может, чуть старше. На щеке, от скулы и до подбородка, тянулся длинный некрасивый шрам. Когда он сел за руль, в салоне машины мигом запахло сигаретами — Вера непроизвольно поморщилась, зарылась носом в ворот пальто.

— Поехали! — крикнул, заводя мотор, таксист.

Машина выехала на главную улицу, запрыгала по неровному асфальту.

— Так где, вы говорите, в Алябайли живете? — продолжил с прерванного места разговор таксист.

— Рядом со школой, — выкрутилась Вера. — Буквально через два дома.

— Свояченицу мою зовут Джейран, может, знаете? Она на Валидова живет, у продуктового магазина.

Вера раздумывала буквально секунду.

— Это та Джейран, которая историю в школе преподает? Джейран Махмудовна?

Таксист хмыкнул.

— Нет, наша Джейран не работает. Дома сидит, детей воспитывает.

— Не знаю, к сожалению. Может, и виделась, но точно не знакомы.

— А как твоего мужа зовут? — перешел на «ты» таксист. Он мазнул по Вере быстрым скользким взглядом, задержался глазами на хрупком ее запястье — Вера непроизвольно дернула рукой, убрала ее в карман пальто. Нащупала чайную ложечку, зажала ее в кулаке. Нужно было сворачивать разговор, иначе он сейчас поймает ее на лжи.

— Давайте мы помолчим немного, ладно? А то у меня голова раскалывается.

— Как скажешь.

Машина вырулила на шоссе. Ехать по пустынной дороге было спокойней, чем по людному большому городу. Вера обернулась, подбадривающе улыбнулась Марье. Марья подалась вперед, коснулась прохладной ладонью ее щеки.

— Все хорошо, мам?

— Да, дочка.

Вдоль дороги, справа и слева, устремляясь в далекий горизонт, тянулась бесконечная равнина. Вера который раз подивилась тому, как резко меняется природа по эту сторону границы. Там, в армянских краях, росли непроницаемые вековые леса, шумели быстрые речки, утренние туманы — непроглядные, густые — уползали медленным улиточным шагом, оставляя на траве влажный след прохладно-молочного своего прикосновения. А здесь, на азербайджанской стороне, большую часть года царила палящая, беспощадная жара. Летом земля подергивалась трещинной рябью и пахла так, как пахла гончарная из далекого Вериного детства — зноем, раскаленной глиной, немилосердным человеческим трудом. А зимой дул колючий и злой, наполненный шершавой пылью и мелкой трухой ветер, словно тот, кто выпускал его на волю, первым делом выбивал на пути этого ветра тяжеленные домотканые ковры. И он, подхватывая шерстяной сор вековых ковров, гнал его перед собой, словно пастух — бессловесное стадо, туда, на восток, на спаленный солнцем край земли.

День неуклонно приближался к ночи, машина мерно катилась по дороге, таксист что-то тихо подпевал себе под нос. Вера вздохнула, потерла пальцами онемевший затылок — разгоняя усталость, закрыла глаза. И на недолгие несколько минут провалилась в сон — такой отчетливый и явственный, словно не уснула, а перешагнула из одной реальности в другую. Ей снилась большая, заставленная старой мебельной рухлядью комната. За громоздким темного дерева столом, залитый бьющим из высоких окон светом, си-

дел отец и шил туфельку — крохотную, изящную, на невысоком каблучке. Вера хотела подойти и обнять его, но, как ни старалась, ничего не получалось — тяжелый массивный стол при ее приближении мгновенно оживал, обрастал новыми углами и боками, заключая отца в неприступное кольцо.

— Папа,— позвала Вера,— папа!

Андро поднял на нее до боли знакомые и родные глаза — глубокие, карие, с золотистыми искринками, удивленно вздернул брови.

— Верушка, что ты здесь делаешь? Твое место не здесь, а там.

— Где там? — оторопела Вера.

— Там,— показал отец в окно. Вера выглянула во двор и мигом его узнала — старое тутовое дерево, фруктовый сад, каменная печь, где свекровь каждую неделю выпекала караваи хлеба.

— Но...

— Возвращайся,— перебил не терпящим возражений тоном отец. И тут же задвигались стены, громко захлопнулись двери — одни, вторые, третьи, увлекая Веру в длинные незнакомые коридоры, уводя ее как можно дальше от него.

— Папа! — закричала она.— Папа!

Машина резко свернула направо, съехала с дороги, затормозила. Таксист выскочил, ринулся к багажнику. Завозился там. Подбежал к Вериной дверце, распахнул ее.

— Выходи!

Вера спросонья не очень соображала, что происходит, стала неловко вылезать, но вдруг краем глаза

выхватила предмет в его руках — одноствольное, с тяжелым неповоротливым затвором ружье. Таксист почему-то не целился в нее, а держал ружье на весу, видимо, был уверен в том, что защищаться она не станет.

— Вера! — закричала-заколотилась сзади Марья. Она вцепилась в ручку двери, но распахнуть ее не могла — дверца не поддавалась.

Вера понимала, что нужно действовать не медля, иначе будет поздно. Она почти уже вылезла из машины — одной ногой стояла на земле, но вторая еще была в салоне. Сделав вид, что зацепилась левой ногой за сиденье, она резко нагнулась, схватилась обеими руками за дверцу, рванула ее, больно ударив себя по голени. Таксист непроизвольно дернулся за дверцей — Вера так же резко распахнула ее, сильно стукнув его в грудь, тот отлетел, ударился боком о крыло машины, выронил ружье, сполз вниз. Дальше все завертелось в каком-то чудовищно быстром круговороте. Вера выскочила, навалилась на него, не давая дотянуться до ружья. Таксист резко повернулся на бок, приложил ее согнутым коленом, вцепился в горло. Вера попыталась высвободиться, не смогла, задыхаясь, пошарила кругом — в поисках какого-нибудь камня, загребла горсть колючей придорожной земли, залепила ему глаза. Таксист резко взвыл, вывернулся, подмяв под себя Верину руку, — плечо хрустнуло, натянулось до предела, еще чуть — и выскочит из сустава. Силы ее стремительно убывали, дышать было нечем — таксист не выпускал ее горла. Она зачем-то полезла в карман пальто, нашарила

ложку. Замахнулась — и всадила ее узорной ручкой в его вздутую венами шею. Ложка зашла неглубоко, Вера надавила на нее сильнее, захрипела сквозь сжатые зубы — дернешься, сука, я тебе сонную артерию перережу!

Таксист ослабил хватку, замер. Лицо исказила чудовищная гримаса, щека со шрамом задергалась в нервном тике, глаза вылезли из орбит и сильно слезились. Вера надавила на ложку еще сильнее. Ребро ладони окрасилось теплой кровью.

В ту же секунду распахнулась задняя дверца машины — Марья, наконец, справилась с заевшей ручкой. Она кинулась к ним, рухнула на колени, вцепилась в руки таксиста, оторвала их от горла дочери.

— Выдерни пояс моего пальто, обвяжи ему ноги. Быстро! — скомандовала Вера.

Таксист заелозил, захрипел, попытался вырваться.

— Не двигайся, если хочешь жить, гётверан!¹

Марья обвязала ноги таксиста крепким узлом — такими узлами полвека назад они скручивали в военном госпитале дезертиров, надо же, кто бы мог подумать, что это умение когда-нибудь ей пригодится вновь, Марья крепко стянула веревкой ноги таксиста и, убедившись, что тот не может шевельнуться, помогла дочери высвободить из-под него руку.

— Повернись на живот,— скомандовала Вера.

— У меня трое детей,— захрипел-заворочался таксист.

¹ Азербайджанское бранное слово.

— Поворачивайся, сука. И без фокусов, у меня в руках нож. Заведи за спину вторую руку. Быстро! Мам, свяжи его чем-нибудь.

Марья сдернула с головы косынку, связала запястья таксиста. Вера, наконец, убрала ложку, осторожно села, прислушиваясь к себе. Кружилась голова, сильно саднила голень, болело горло. Она пошевелила плечом — вроде вывиха нет, поднялась, вытащила из машины сумку, захлопнула дверцы. Нашла ружье, закинула его себе на плечо.

— Нужно уходить. По дороге не пойдём, нас могут заметить.

Марья рассмотрела рану на шее таксиста.

— Неглубокая, жить будет. Главное, чтобы не замерз.

— Не замерзнет, его быстро хватятся. До Алябайли рукой подать. Не дождутся, пойдут его искать. Машину с дороги видно. Нужно спешить, чтобы они потом не догнали нас.

Она наклонилась, глянула в глаза человеку, который собирался ее убить.

— Живи теперь с мыслью о том, что я тебя не убила. Хотя могла.

Таксист завозился щекой по земле, о чем-то зашептал, заплакал. Вера не стала прислушиваться, перешагнула через него, протянула руку Марье.

— Пошли.

Они спустились в неглубокий, тянувшийся вдоль дороги овраг, какое-то время шли молча, потом выбрались наверх, пошли полем. Солнце скатилось за горизонт, оставив за собой лишь неровный блеклый

ответ — еще немного — погаснет и он, уступая место глухой декабрьской ночи. Слева, через дорогу, лежало Алябайли. Холодный, пронзительный ветер нес с собой терпкий, густой запах горящего кизяка, далекий лай собак, грустное мычание коров. Женщины шли мимо, не поворачивая головы, Вера придерживала на плече ружье, Марья помогала ей нести сумку. Небо загоралось далекими, холодными, редкими по зиме звездами, нависало поникшими крыльями над голыми макушками молчаливых каменных холмов. Время тянулось бесконечно долго, так долго, что казалось — замерло навсегда, захлопнув-закольцевав будущее прошлым.

Марья заговорила, лишь когда Алябайли осталось позади:

— Вера, у тебя ничего не болит? Давай я тебя осмотрю.

— Тело ломит, и навалилась дикая усталость. Но это так, ерунда. Ты как? Хочешь передохнуть?

— Нет, дочка, не хочу.

— Он сразу понял, кто я такая. Потому и заехал домой, чтобы взять ружье. Вот почему не сдал нас в Товузе. Поглумиться хотел. Отец троих детей. Сво- лочь.

— Не думай об этом. Вырвались — и слава богу.

Вера остановилась, перекинула ружье на другое плечо. Взялась за ручку сумки.

— Мам, ты знаешь, мне отец приснился. Перед тем как все это случилось. Сказал, чтобы я возвращалась туда, где живу.

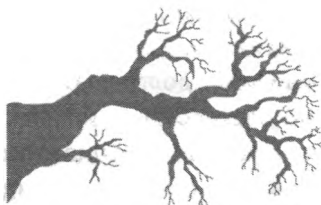
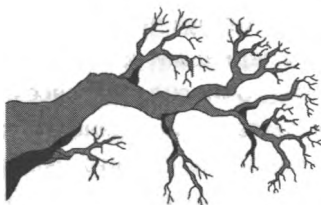
— Предупредить хотел.

Они вывернули на дорогу, пошли по обочине. Совсем недалеко, казалось — на расстоянии вытянутой руки, возвышался Старухин камень — огромный согбенный холм с покрытыми вековым лесом покатыми плечами, и ветер приносил уже совсем другие запахи и звуки: аромат свежесыпеченного хлеба, пряный дух сушеного майорана, сытый звук деревянной маслобойки — масло из такой маслобойки получается ярко-желтым, зернистым, подернутым каплями солоновато-кислой пахты.

Впереди маячили долгие, тяжелые, страшные годы войны, но Вера об этом ничего не знала. Она вела свою мать туда, где переливались огнями окна каменных домов, где, связывая невидимой пуповиной небеса с землей, вился из невысоких труб теплый печной дым, где каждый оборот скрипучего колеса деревенской арбы рассказывал о том, что было и чего уже никогда не вернуть.

Жизнь — она там, где нас любят, думала Вера. Жизнь — она там, где нас ждут.

НАНИ ТАМАР



НАНИ ТАМАР

1

— Справишься?

— Справлюсь.

— Пойдешь обратно — ступай тихо, чтобы не разлить молоко. И не забудь деньги отдать.

— Хорошо!

Девочка вышла на веранду, поскакала вниз по лестнице, пришептывая на каждом шагу — раз-два, раз-два, раз-два. Боцман с радостным лаем выскочил из конуры, забился огромным палевым хвостом, восторженно завизжал — уиии, уиии.

— Бо-о-цман! — Девочка зависла на последней ступеньке с протянутой рукой, пес подлетел, подставил под ее ладошку большую ушастую голову, замер с зажмуренными глазами.

— Со-ба-ка! Бо-о-цман! — засюсюкала Девочка, тербя его за ушами.— Ну что, пойдешь со мной за молоком?

Боцман с готовностью гавкнул, в несколько огромных прыжков преодолел расстояние до сада Тamar, ткнулся носом в калитку и терпеливо стал ждать, когда Девочка отопрет ее.

Вера запахнула у горла ворот кофты, вышла на веранду, зябко поежилась, вдохнула полной грудью молочный декабрьский воздух. Над головой, цепляясь за ветви старой груши рваным подолом, стелился туман. К полудню он рассеется, затаится на покрытой голубым ельником макушке Хали-кара, но к вечеру обязательно вернется назад и будет нести долгую ночную вахту, затопив своим молчаливо-безбрежным присутствием все и вся.

Скрипнула калитка — Девочка, пропустив вперед Боцмана, нырнула в сад. Веселый желтый помпон мелькнул за забором и растворился в тумане.

Вера зашла в дом, аккуратно прикрыла за собой дверь. Нужно успеть приготовить завтрак, пока не проснулся Петрос.

Девочка шла по узенькой тропинке, прижав к груди эмалированный бидончик. Слева тянулась стена большого погреба, дальше, чуть свернуть направо,— каменная толстобокая печь. Снега еще не было, но им уже пахло — вовсю, так истоиво и яв-

ственно, что казалось — он уже совсем над головой, протяни руку — и поймаешь первые снежинки.

— Главное — не забыть загадать желание,— напомнила себе Девочка.— Нани говорит, что первый снег всегда исполняет желания.

Боцман уже крутился у забора Вардик, несколько раз угрожающе гавкнул в туман — в назидание Гектору. Гектор зазвенел тяжелой цепью, но смолчал.

— Вардик-тетя! Вардик-тетя! — позвала Девочка.

Где-то далеко, словно на другом конце света, скрипнула дверь.

— Иду! — раздался голос Вардик.

Скоро она вынырнула из тумана, вытирая огрубевшие от тяжелой деревенской работы руки подолом фартука. Девочка поднялась на цыпочки, передала ей бидон.

— Ваши уехали? — спросила Вардик.

— Ага. Тата, дед, нани.

— Когда возвращаются?

— Сегодня.

— Петрос их отвез?

— Нет, папа не смог — работал. Дед Арам отвез.

— Какой дед Арам? Кязим, что ли? Муж Шушик?

— Его зовут Арам,— упрямо загудела Девочка. Вардик хмыкнула, пожевала губами.

— Ладно, жди.

Девочка молча смотрела ей вслед. Со спины Вардик казалась огромной и неповоротливой из-за большого, висящего ниже колен ватника. Ватник словно тянул-прибивал ее своей тяжестью к земле, и

она шла, чуть согнувшись, мелко переступая ногами в рваных старушечьих ботах.

Прошло несколько минут, и Вардик снова вынырнула из тумана, словно огромная снежная баба.

— На,— протянула через забор бидон с молоком.— Осторожно, не пролей.

— Хорошо.

Девочка поставила бидон на землю, порылась в кармане куртки, достала монеты.

— Как дед Леван?

— Совсем рехнулся. Так в хлеве и ночует,— Вардик забрала деньги, пересчитала — все правильно.

— Он хороший. Добрый,— заступилась за Левана Девочка.

Вардик смерила ее колючим взглядом, скривилась в злой улыбке. Девочка судорожно сглотнула, поежилась. Испуганно моргнула. Зрачки Вардик — холодные, злые — словно вцеплялись крючками в глаза собеседника и не отпускали.

— Твоя семья любит всякое старье себе забирать, вот и его заберите. В родственники запишите, как Тамар записали!

— Как... запишите? — растерялась Девочка.

Боцман завозился, заскулил. Несколько раз совсем по-щенячьи, беспомощно взвизгнул. Протиснулся между Девочкой и забором, прикрыл ее боком.

Вардик заклокотала, забулькала. Ее раздражал этот залюбленный ребенок и вся его заносчивая, закрытая семья — не подступиться, не допрыгнуть. Держатся на расстоянии, здороваются вежливо, но холодно, словно воздвигают вокруг себя невидимый

барьер. Строят из себя умных, а сами изо дня в день безропотно покупают у нее разбавленное молоко.

Гнев на непутевого и бессловесного мужа который день искал выхода. Леван уже неделю ночевал в хлеву. Тяжело ковыляя на костылях, перебрался туда, попросил сыновей притащить лежанку, одеяло. На все их мольбы одуматься и вернуться домой отрицательно качал головой. Пришлось уступить. Поселился в самом углу, ест что принесут, не жалуется, молчит. Только с коровой Маришкой о чем-то разговаривает. На просьбу Вардик не позорить ее перед соседями ничего не ответил, отвернулся к стене. Притих. Вардик, тихо закипая, стояла какое-то время над ним. Наконец, сорвалась в крик:

— Ты зачем из меня жилы тянешь?

Леван зарылся головой в подушку. Лежал, неудобно скрученный в поясице,— чтобы повернуть искалеченные артритом ноги, нужно помогать себе руками, а он не стал. Так и не дождавшись ответа, Вардик ушла, в сердцах хлопнув дверью хлева. Тяжелая, неповоротливая дверь запнулась о перекошенный порог, глухо скрипнула. Обиженно замычала встревоженная шумом Маришка.

Вардик ненавидела мужа всем сердцем. С того дня, как у него заболели ноги, она поставила на нем жирный крест — не подпускала к себе в постели, игнорировала. Терпеть рядом калеку ей было невыносимо — не затем она выходила за Левана замуж, чтобы возиться с ним, как с малым ребенком. Леван какое-то время мирился с таким отношением, не показывал виду. Тяжело, но стои-

чески переносил частые приступы лихорадки, не жаловался. Пока позволяло здоровье, сам за собой ухаживал. Но в последние несколько месяцев ему стало совсем худо — болезнь неустанно прогрессировала, любое движение отдавалось чудовищной болью в теле. Чтобы дойти до кухни и налить себе чашку чая, приходилось тратить почти час. Сыновей никогда не было дома, жена упорно не обращала на него внимания... Однажды Леван дождался, когда все уйдут из дома, и перебрался в хлев. Не будь кругом вездесущих соседей, Вардик вздохнула бы с облегчением. Но она боялась осуждения людей, поэтому исправно, три раза в день, носила мужу еду, выносила за ним горшок. С нескрываемым злорадством наблюдала, как он пропитывается запахом подгнившего сена и навоза, обрастает колючей, клокастой седой бородой.

Когда Девочка заступилась за Левана, Вардик сорвала на ней весь свой гнев:

— Ты думала — Тamar тебе родная прабабушка? Твоя родная прабабушка давно умерла, тридцать лет назад. Тamar просто вырастила ее детей. Она — мачеха Таты. Понятно?

Девочка потерянно молчала. В горле, там, где саднит, когда пьешь большими глотками воду, ворочался тяжелый, непроглатываемый ком.

— А что такое мачеха? — наконец спросила она осипшим голосом.

— Если твоя мама умрет, твой папа женится на другой женщине. Вот это и называется — мачеха!

Девочка сделала осторожный шаг назад.

— Моя мама никогда не умрет,— медленно выговорила она,— и папа не женится на другой женщине. А ты — злая ведьма. Из сказки «Гензель и Гретель»!

— Я тебе дам обзываться! — перевесилась через забор Вардик.

Девочка отшатнулась, зацепилась ногой за бидон. С трудом удержала равновесие, чтобы не упасть. Боцман разразился громким лаем, ринулся к Вардик.

— Заткнись! — рывкнула та, но руку убрала.

Пес угрожающе оскалил зубы, зарычал. Вардик отступила, потрясла в его сторону растопыренной пятерней. Постояла еще немного, переступая с ноги на ногу, неотрывно глядя на пса, все не успокаивалась, все бубнила под нос слова проклятия. Потом медленно повернулась, ушла. Когда Боцман вспомнил о Девочке, рядом ее не оказалось. Бидон с молоком стоял на земле, садовая тропинка, мелко петляя, исчезала в густом тумане. Боцман добежал до калитки, толкнулся в нее грудью, та распахнулась, впуская его во двор. Он помчался к дому, пролетел вверх по лестнице, встал на задние лапы, ткнулся носом в окно кухни. Вера при виде Боцмана забеспокоилась, поспешила к входной двери. Выглянула на веранду.

— Где Девочка, Боцман?

Пес залаял, вцепился зубами в подол Веринной юбки, потянул за собой. Вера выскочила из дома в чем была, полетела вниз по ступенькам, побежала по двору, зовя дочь.

— Нина! Ни-ноч-ка!

По краю дороги, припадая на правую ногу и по-минутно дергая плечом, ковылял шаш¹ Вачо. Девочка догнала его, дернула за рукав старенького пальто. Вачо резко остановился, обернулся. Расплылся в щербатой улыбке. По низкому лбу пролегли две длинные продольные морщины, глаза утонули в складках голых, тяжелых век.

— Ты куда, Вачо?

Вачо пожал плечом, а потом, чуть подумав, махнул в сторону школьного поля.

— Фу-у-фу-т...

Поморщился, покачал головой.

— Фу-у-уут...

— В футбол играть? — догадалась Девочка.

— А-га,— обрадовался Вачо.

— Ты можешь меня до дома бабушки Кнарик проводить? Она тебе вкусного даст. Хлеба с маслом. И конфет.

Вачо обрадованно забулькал:

— Ко-он-ф-фе-ты!

— Конфеты, ага,— подтвердила Девочка и поскакала по дороге.

Вачо заторопился-засуетился, стараясь не отставать от нее. Девочка убавила ход, приноравливаясь к его скорости. Потом взяла Вачо за руку. Рука была холодная, шершавая. По тыльной стороне ладони

¹ Дурачок (арм.).

тянулась длинная неглубокая царапина. Девочка погладила ее, глянула сочувственно снизу вверх:

— Болит?

Вачо замотал головой. Потом заканючил:

— Ко-он-феты?

— Ты же большой уже, Вачо. Потерпи, пока дойдем до дома бабушки Кнарик.

— По-т-терплю.

— Нам, правда, очень долго добираться. Раз, два, три, четыре, пять,— принялась загибать пальцы Девочка,— пять дорог и один широкий мост!

— Мо-ост. Зна-аю.

— Тот, каменный, большой. Если прижаться к перилам ухом, можно услышать, как гудит речка. Меня Жено научила слушать речку. Хочешь, я тоже тебя научу?

Вачо заухал, задергался плечом:

— Хочу...

— Тогда пошли. Ты, главное, держи меня за руку, чтобы я не потерялась. А дорогу я сама тебе покажу.

Туман почти рассеялся, уходил нехотя, цеплялся за голые макушки деревьев и острые коньки шиферных крыш. По-воскресному тихий и неспешный Берд просыпался под шум закипающих чайников и топот голых детских пяток по деревянным полам. Девочка вела Вачо мимо перекрестка трех дорог — постового Карапета на месте не оказалось, видимо, у него тоже выходной, очень жаль, можно было встать на этом краю тротуара, сложить руки трубочкой и следить за ним, словно в бинокль. Дальше, вниз по дороге, тянулось низенькое здание кинотеатра — двухэтажное,

ярко-оранжевое от влажного туфа. Висела афиша — девушка с густо обведенными глазами и с красной розой в волосах.

— Красивая?

— Красивая! — кивнул Вачо.

Он уже достаточно успокоился, чтобы внятно говорить. Всегда волновался, когда обращались к нему. Заикался, дергался в нервном тике, забывал слова. Потом, отойдя от первого беспокойства, понемногу разговаривался.

Скоро они добрались до моста. Чтобы услышать разбуженную последними осенними дождями речку, не нужно было прикладываться ухом к перилам — так оглушительно она сегодня шумела. Но Девочка очень хотела научить Вачо правильно слушать речку, поэтому она стянула с головы шапку, прильнула ухом к перилам, зажмурилась. Холодные и влажные перила отозвались таким живым гулом, словно волна билась где-то рядом, совсем близко.

— Послушай, Вачо.

Вачо встал на колени, прижался к перилам, зажмурился.

— Г-громко.

— Громко, ага. Летом не так громко. Зато летом слышно эхо от речки. А сейчас эха нет.

— Ж-жалко.

— Приходи сюда летом, послушай речку.

— Ладно.

Девочка помогла Вачо подняться, рассмотрела его колени, покачала головой.

— Испачкался.

— К-конфета! — напомнил Вачо.

Он взял ее за руку, пошел, сильно косолапя и припадая на одну ногу.

— К-конфета.

— Конфета, да.

3

Впереди, брэнча грузом и подпрыгивая на ухабах, ехал большой грузовик. Петрос просигналил, попытался обогнать его, выехал на встречную полосу, но снова нырнул обратно — дорога была занята. Он пропустил одну машину, вторую, попытался снова пойти на обгон. Но тут грузовик резко взял вправо, прижался к обочине. Из кабины высунулся водитель, махнул ему рукой — объезжай! Петрос поблагодарил кивком, проехал мимо, нырнул в подворотню.

До того времени, когда позвонила Кнарик и сообщила, что Девочка у нее, прошла целая вечность. Вера успела сбегать к соседке и расспросить ее о дочери. Вардик не была настроена на разговор, отмахнулась, буркнув, что отдала молоко и ничего больше не знает.

— Можно подумать — что с ребенком такое могло случиться, небось гулять пошла! — крикнула она вдогонку удаляющейся Вере.

Вера смолчала, хотя интуитивно чувствовала — что-то здесь не так. Да и неотступно следующий за ней Боцман при виде Вардик резко взволновался, оглушил ее злобным лаем. «Потом разберемся,— ре-

шила Вера,— главное сейчас, ребенка найти». Она обшарила весь двор, сбегала на чердак, заглянула в самые дальние уголки сада. Прибежала домой, обзвонила Шушик, Лусинэ, старую Анико, уста Саро. Девочки у них не оказалось.

— Я спущусь к часовне, а ты ищи ее в городе,— предложила она Петросу. Тот спешно натягивал пальто.

— Вера, кто-то из нас должен оставаться дома — на случай, если она вернется. Искать поеду я.

— Только не на машине! — взмолилась Вера.— Вдруг она где-нибудь прячется, а ты мимо проедешь и не заметишь ее.

— С какой стати она должна прятаться?

— Петрос, сердцем чувствую — что-то здесь не так. Не стала бы она без предупреждения в такую рань уходить. Да и бидон оставила там, у забора. Уж молоко-то она должна была принести домой?

— Ты, главное, не волнуйся, Вера.

— Эта старая карга — Вардик... Видел бы ты ее бегающие глаза. И Боцман ее облаял. Если она обидела ребенка, я не знаю что с ней, сволочью, сделаю.

— Успокойся, Вера. Просто седи у телефона и жди. Как только найду ее — тут же позвоню тебе, чтобы ты не беспокоилась.

— Хорошо.

Петрос поцеловал жену в висок, мягко подтолкнул к телефону, шутливо велел — дежурь на вахте. Волнения своего старался не выдавать — Вера была беременна, срок совсем маленький, два месяца всего, беременность протекала непросто, мучила присту-

пами токсикоза, и лишнее беспокойство было сейчас совсем ни к чему.

Он обошел каждую улочку, каждую подворотню своего квартала. Боцман бестолково путался под ногами, обнюхивая каждый камень.

— Вот ведь дурачок, собака, а брать след не умеешь, — пожурил его Петрос.

Он расспросил соседей — никто не видел ребенка. Попросил уста Саро спуститься вниз — к речке, заглянуть в яблоневый сад, который когда-то принадлежал деду Амаяку. С того дня, как деду пришлось продать этот сад, Петрос там не был. И возвращаться не собирался. Пока уста Саро искал Девочку на берегу реки, он сходил к часовне. Вернулся к подножию Хали-кара к тому времени, когда с противоположной стороны показался уста Саро. Один.

У Петроса оборвалось сердце.

— Нет ее? — зачем-то крикнул часовщику, хотя и так все было ясно. Уста Саро отрицательно покачал головой.

— Нужно подняться к голубому ельнику, вдруг она туда убежала.

Петрос молча пошел вверх по тропинке. Надежды на то, что Девочка ушла в ельник, было мало.

Веру они застали на дороге. Она бежала, застегивая на ходу пальто. Отросшие волосы прыгали по лицу, забивались в рот, в глаза. Она откидывала их раздраженным жестом назад, заправляла за уши. Завидев мужа, резко затормозила, согнулась в три погибели, схватилась за правый бок.

— Нашлась! — выдохнула.

— Где? — заторопился к ней Петрос.

— У Кнарик. Она говорит — сама пришла. С Вачо.

— Вачо ее увел? — удивился уста Саро.

— Что вы! Она сама попросила проводить ее до дома Кнарик.

— Ну слава богу, нашлась.

— Нашлась.— И Вера заплакала — навзрыд, заикаясь, по-детски беспомощно размазывая слезы по щекам.

Петрос приобнял ее, повел по дороге, тихо приговаривая:

— Ну зачем плакать? Тебе же нельзя волноваться! Я прямо сейчас съезжу к Кнарик, привезу ребенка домой.

— Я тоже с тобой поеду.

— Хорошо.

— Нет, лучше я дома останусь. Сегодня наши возвращаются, нужно успеть обед приготовить.

— Ладно, оставайся дома.

— Уста Саро, пойдемте к нам, я вас завтраком покормлю,— вспомнила о часовщике Вера.— А то мы вас дернули с утра. Вы, наверное, даже поесть не успели.

— Ээээ, Верушка, молодая ты, не знаешь, что такое бессонница. Я уже давно позавтракал, часов в семь утра. Так что лучше домой пойду, покемарю чуток. Эта утренняя беготня пошла мне на пользу — я даже устал.

— Спасибо вам, уста Саро,— протянул ладонь Петрос.

— Да не за что, сынок,— пожал ему руку уста Саро,— бывайте.

— До свидания.

Когда Петрос уехал, Вера вынесла Боцману поесть. Сходила в курятник, отсыпала зерна — куры, всполошенно квохча, облепили со всех сторон кормушку, стали клевать, отпихивая друг друга крыльями. Вера забрала из ящичков свежие яйца — Девочка сегодня не успела их забрать, — вернулась домой. Взясась за приготовление обеда — накрутила на мясорубке мясо с тремя головками репчатого лука и пучком зелени, посолила-поперчила, добавила горсть круглого белого риса, влила стакан холодного бульона, вымесила фарш. Поставила на плиту кастрюлю с водой — закипать, чтобы ошпарить капустные листья в кипятке. На обед будет толма.

Вспомнила о бидончике с молоком, который так и остался стоять в саду Тамар. Сходила туда — Боцман увязался следом, злился, бился тяжелым хвостом о землю — не хотел подпускать ее к забору. Вера погладила его по крупной ушастой голове — тихо, малыш, тихо, всё в порядке, всё хорошо, сняла с бидончика крышку, перевесилась через забор — и опрокинула молоко во двор Вардик.

4

Девочка лежала на ковре, уткнувшись носом в пахнущий овчиной и сухими колючками чертополоха ворс — ковер был совсем новый, только что со станка. Станок стоял рядом, вдоль стены — большой, тяжелый, с прикрепленными к изголовью разно-

цветными клубками шерстяной пряжи. Когда Петрос с Кнарик вошли в комнату, Девочка села. Глянула на отца исподлобья, завозилась-зашмыгала. Петрос опустился на ковер рядом с дочерью, сгреб ее в объятия, прижал к себе.

— Ты нас очень напугала.

Девочка высвободилась из объятий отца, отползла в другой конец ковра. Спросила, старательно отводя глаза:

— Пап. Мама не умрет?

— Конечно, не умрет. С чего ты это взяла?

— И ты не женишься на другой женщине?

— Не женюсь. Я люблю твою маму.

Девочка подвинулась ближе к нему. Вздохнула:

— А я уже все знаю о нани. О том, что она вам не родная. Мне бабушка Кнарик рассказала.

Петрос обернулся к Кнарик, та развела руками:

— Ее Вардик просветила.

— Так, — нахмурился Петрос.

— Она мачеха Таты, да? И бабушки Кнарик с бабушкой Шушик. И деда Сергея с дедом Жорой. Она их не рожала. А мне рассказывала, что рожала! — Девочка сжалась в комочек, зарылась лицом в грудь отца, забубнила: — Она показывала на своей ноге место, откуда они вылезали.

— Что? — Петрос прыснул, а потом расхохотался, не в силах сдерживать себя. — Откуда они вылезли?

Кнарик наградила племянника подзатыльником, сделала ему страшные глаза, но потом не выдержала, тоже рассмеялась.

Девочка вынырнула из объятий отца, разобиделась.

— А чего это вы смеетесь?

— Давай по порядку.— Петрос утер выступившие слезы, сел так, чтобы смотреть в глаза дочери. Взял ее за руку.— Тамар действительно не мама твоих бабушек и дедушек. Но ведь в этом нет ничего страшного! Зато она вырастила их. Когда умерла моя бабушка Антарам, дед остался с пятью детьми на руках. Он один бы с ними не справился.

— Но она их не рожала! — упрямо загудела Девочка.

— Зато полюбила всем сердцем и вырастила как своих детей.

— Зачем она не сказала мне?

— Она считала, что тебе рано об этом знать. Кстати, твоя мама тоже была против, чтобы мы об этом рассказывали.

— Почему?

— Она побоялась, что ты будешь переживать. Или отвернешься от Тамар.

— Как это... отвернешься?

— Меньше станешь любить.

— Я не стану ее меньше любить! — Девочка резко села, поймала взгляд бабушки Кнарик. Повторила с нажимом: — Я не стану ее меньше любить!

— Умница ты моя, — улыбнулась Кнарик. — Ладно, вы тут разговаривайте, а я пойду к Вачо. Он внизу, сидит у печки, любитесь огнем. Я ему обещала напечь ципулов. Спускайтесь минут через пятнадцать, первая партия ципула как раз будет готова.

— Хорошо.

Как только за Кнарик закрылась дверь, Девочка заканючила:

— Пап, ты не ругайся на Вачо за то, что он помог мне до дома бабушки Кнарик дойти.

— Ну что ты! Как можно сердиться на Вачо.

— Это я его попросила, а он помог. Взял меня за руку и повел по Берду. Я только подсказывала ему дорогу. Говорила — тут надо повернуть на эту улицу, тут — на эту.

— А что тебе Вачо рассказывал?

— Ничего. Он вообще ничего не рассказывает. Только повторяет за мной слова.

Девочка легла на спину, сложила руки под головой:

— Пап. А можно я сегодня останусь здесь?

— Можно, конечно. Но сегодня возвращаются дед с бабушкой и Тамар. Они же соскучились по тебе.

— А я завтра приду, с бабушкой Кнарик.

— Ладно.

— Видел, какой красивый ковер она соткала?

— Да разве успел? Сейчас рассмотрю.

Петрос поднялся с ковра, встал на его край, восхищенно зацокал языком. Это был знаменитый ворсовый технаундж — солнечно-золотистый фон, темно-узорчатая багряно-шоколадная сердцевина, нежно-бежевая шелковая бахрома.

— Сможешь прочитать? — спросила Девочка.

Петрос опустился на колени, провел пальцами по тонкому орнаменту, обрамляющему ковер. Если правильно вычислить первую букву, можно прочи-

тать вплетенную в ковровый узор, незаметную для непосвященного фразу. Девочка какое-то время наблюдала за отцом, потом ткнула в лежащий на боку глиняный кувшин.

— Начинать нужно отсюда. Мне бабушка Кнарик показала.

Петрос прикрыл ладонью кувшин, заскользил пальцем направо, наконец выискал в хитросплетенном ветвлении орнамента первую букву — «Ի».

— Ի ՆՈՂՈՅ ՍՐՏԻ ԿՇԻՍԵ ՏՆ ՍՍՆԻՇՈՆ ¹, — читал, медленно передвигаясь по краю ковра. Это была цитата из «Книги скорбных песнопений» Григора Нарекаци — монаха, поэта и философа раннеармянского Возрождения. Цитата была на грабаре ², поэтому Петросу пришлось изрядно повозиться, чтобы отыскать все буквы и сложить их в осмысленное выражение.

Он выпрямился, произнес шепотом: «Слово к Богу, идущее из глубин сердца», — потом повторил фразу еще раз, громче. Умолк, пронзенный совершенно отчетливым ощущением того, что где-то там, за спиной, выпрямились и простерлись огромными крылами люди, которые ушли, но навсегда остались с ним.

— Красота, да, пап? — завозилась ладошкой в его руке Девочка.

— Что? — очнулся Петрос. — Красота, да.

¹ Слово к Богу, идущее из глубин сердца (арм.).

² Древнеармянский язык.

Кнарик раскладывала на раскаленной поверхности дровяной печки тоненькие ломти сырого картофеля. Картофель схватывался румяной, мигом подгорающей по краям корочкой, скворчал. Кнарик посыпала каждый кусочек ципула крупной солью, поддевала ножом, переворачивала на другой бок. Потом выкладывала ломтики картофеля на большое блюдо, сбрызгивала растопленным сливочным маслом. Рядом, на разделочной доске, лежал домашний сыр, а в глубокой глиняной миске — соленые помидоры.

Комната, в которой она затеяла ципул, была очень большая, с высоким каменным потолком и окнами в разошедшихся деревянных рамах. Это было излюбленное место посиделок домочадцев и гостей — летом там прохладно, а зимой весело гудит печка. В углу притулился шифоньер — старенький, кривобокий, подслеповатый от затянутых мутным стеклом дверец, а покрытый простенькой клеенкой стол и деревянная тахта стояли рядом с печкой. Вдоль стены, что напротив окон, прислоненные к ней узким днищем, лежали пустые глиняные карасы, над ними висели початки сушеной желто-красной кукурузы. Пахлопряно, остро и вкусно — базиликом, чабрецом и розмарином.

— Ешьте, я сейчас еще приготовлю.— Кнарик водрузила блюдо с ципулом в центр стола.

Вачо взял горячий ломтик картофеля, подул, чтобы тот быстрее остыл, положил сверху кусочек сыра, протянул Девочке — на! Взял другой ломтик, украсил сыром, протянул Петросу. Петрос улыбнулся, погладил его по голове:

— Я возьму, Вачо-джан. Ешь.

Вачо кивнул, торопливо принялся жевать, закатывая глаза и громко причмокивая, слизывая с пальцев капли сливочного масла.

— С сы-сыром вку-снее,— прошамкал с набитым ртом.

Кнарик ходила в погреб, вернулась с трехлитровой банкой персикового компота и небольшим глиняным кувшином.

— Компот детям, а мы с тобой красного вина выпьем, Петрос. Васо из Паравакара привез.

— Васо когда вернется? — Петрос распахнул дверцы старого шифоньера, достал четыре стакана.

— Да разве я знаю, когда он вернется? — пожала плечом Кнарик.— Второй день в ремонтной мастерской пропадает, следит, чтобы технику в порядок привели. Видите ли, все тракторы к концу года из строя вышли.

— В воскресенье погнал людей работать?

— А кто ему слово поперек скажет? Вылитый Пашо.

Они переглянулись, рассмеялись. Названный в честь грозного прадеда, Васо унаследовал от него не только имя, но и несговорчивый, суровый нрав. Колхозники боялись его как огня — в гневе Васо был

даже страшнее прадеда, о крутом характере которого до сих пор в Берде ходили легенды.

Вот уже двадцать лет с того дня, как скоропостижно умер муж, Кнарик растила сыновей одна. Младший, Вардкес, учился в Ереване на инженера. Старший, Василий, работал в колхозе агрономом. Год назад он пережил мучительный развод — жена попала с таким же, как у него, темпераментом, и однажды, истерзанные бесконечными ссорами и взаимными обвинениями, они решили расстаться, чтобы не отравлять существование друг другу и детям.

— Не помирились еще? — Петрос не сомневался, что рано или поздно Васо снова сойдется с женой.

— Двое детей, куда деваться. Помирятся. Думаю, развод им на пользу пойдет. Порознь поживут, мозгов наберутся. А то замучили по мелочам скандалить.

Кнарик разлила по стаканам компот.

— Можно мы во дворе его выпьем? — попросила Девочка.

— Сидите в тепле, зачем вам на улицу?

— Там веселее.

— А если простудитесь?

— Не простудимся. Мы оденемся. И шапки натянем.

— Ну ладно, тогда идите. Но ненадолго.

— А м-можно мы с со-бой еды возь-мем? — разволновался Вачо.

— Конечно можно!

Кнарик положила на блюдо с ципулом сыра, добавила несколько соленых помидоров и большую горбушку хлеба.

— Вот вам провизия.

— Ура! — заторопилась Девочка. Она сдернула с вешалки пальто Вачо, стянула свою куртку. Быстро оделась, проследила, чтобы Вачо застегнулся на все пуговицы и натянул шапку.

— Ты бери ципул, а я возьму стаканы с компотом.

— Ишь, раскомандовалась! — Кнарик отворила дверь, придержала ее, выпуская их во двор.

— Так он же совсем как маленький,— кивнула на Вачо Девочка.

— А то ты большая! Никуда не уходите, смотрите у меня!

— Не уйдем. Мы тут, в саду. Посидим на скамейке, поедим.

— Хорошо.

Петрос поддел кочергой крюк на дверце печки, поворошил угли. Подкинул дров. Печка загудела, запылала жаром. Кнарик переложила в тарелку новую порцию ципула, сбрызнула маслом.

— А это нам.

— Расскажи, как все было,— попросил Петрос.

— Ничего такого, не волнуйся. Я на кухне как раз возилась, мыла посуду после завтрака. Оборачиваюсь на звук открываемой двери, смотрю — стоят Нарядные,— Кнарик рассмеялась: — Девочка говорит — дай Вачо конфету, я ему обещала. Я дала им карамелек. Мама с папой внизу? — спрашиваю. Я была уверена, что вы вместе приехали, не могли же вы ее одну отпустить в другой конец Берда. А она говорит — я с Вачо пришла. И объясняет — меня соседка Вардик обидела. Сказала, что мама скоро умрет и

папа женится на другой тете. А еще сказала, что нани нам не родная.

Петрос задергался желваками.

— Сволочь!

— Подожди ругаться. Дослушай сначала. Так вот. Рассказывает она мне все это, а сама не плачет. Смотрит снизу вверх вот такенными глазами, карамельки в руках теребит. Нормальный ребенок прибежал бы к матери, ткнулся ей в колени, нажаловался. А эта ушла в другой конец Берда. Спрашивать с младшей бабушки, почему соседка Вардик ее обидела.

Петрос вытащил из кармана пачку сигарет, закурил, глубоко вдыхая горьковатый табачный дым.

— Кнарик, ты взрослей и умней меня. Подскажи, как мне в этой ситуации себя повести. Я же не могу с женщины спрашивать. А у Левана не спросишь — какой спрос с инвалида? Она его до того довела, что бедный мужик вторую неделю в хлеву живет.

Кнарик пересела ближе к племяннику, погладила его по руке:

— Петрос-джан, сынок. Я тебя очень прошу — ничего не говори Вардик. Она ведь не всегда была такой. Как узнала, что мать хотела ее убить...

— В смысле «мать хотела ее убить»?

— Ты разве не знаешь этой истории? Странно. Вроде рассказывали тебе. Вардик третья дочка в семье. Когда ее мать увидела, что снова родила девочку, она завернула ее в тряпку, отнесла в хлев и оставила там, на земляном полу, чтобы коровы затоптали насмерть. А коровы не затоптали. Сгрудились в углу хлева, испуганно мычали...

Петрос задохнулся сигаретным дымом, закашлялся. Кнарлик похлопала его по спине, подождала, пока он отдышится. Продолжила:

— В тот день мама затеяла хлеб. Она как раз замесила тесто, оставила его подниматься, сходила к каменной печи, растопила огонь. Удивилась тому, как обеспокоенно у соседей мычат коровы. Прибежала в хлев, нашла девочку. Сразу всё поняла. Возвращать ее матери не стала — побоялась, что та найдет другой способ избавиться от ребенка. Принесла домой, умыла-накормила — Сергею как раз было пять месяцев, и у мамы хватило молока на двоих. Ну а на следующий день мать Вардик пришла за дочкой. Правда, после того как муж устроил ей такой чудовищный скандал, что разнимать их прибежали соседи. Думаю, опоздай они на немного — и он бы ее просто убил. Мама отдала ребенка только после того, как мать Вардик поклялась на распятии, что не причинит ей вреда.

Кнарлик разлила по стаканам вино, сделала глоток:

— Ты помнишь мать Вардик?

— Смутно. Да и особого общения между нашими семьями не было.

— Это была инициатива родителей Вардик. Отношения с нашей семьей они обрубили на корню — не здоровались, не общались. Заделали калитку в заборе, разделяющем наши участки. Впрочем, отец с матерью не осуждали их, даже в некотором роде отнеслись с пониманием. Говорили, что они таким способом хотят стереть из памяти все, что случилось. Жизнь матери Вардик сложилась очень несладко.

Муж погиб на войне, две старшие дочери умерли зимой сорок третьего — в том году в Берде случился страшный голод, половина людей вымерла. А теперь представь весь ужас ситуации — она осталась одна, лицом к лицу с ребенком, которого хотела убить.

— Подожди. Так получается, Вардик ваша молочная сестра?

— В некотором роде. Только я не потому прошу тебя быть к ней великодушным. Люди разные, у кого-то есть сердце, у кого-то его нет. Когда Вардик было лет двенадцать, ей рассказали о том, что мать хотела избавиться от нее. Не знаю, кто рассказал, да это, по большому счету, не имеет значения. От переживаний девочка слегла с высокой температурой, пролежала в бреду несколько дней. Очнулась совсем другим человеком. Мать так и не простила, отравляла ей жизнь упреками и скандалами, фактически довела ее и до смерти. Долго потом не выходила замуж — не хотела ни к кому привязываться. А когда вышла — сам видишь, во что превратила жизнь Левана. Хорошо, хоть сыновей своих щадит.

— Сыновей щадит, а дочь мою не пощадила. Поступила с ребенком так же, как когда-то с ней поступили.

— Подойди к окну и посмотри, чем твой ребенок занимается.

Петрос выглянул во двор, выискал глазами Девочку и Вачо. Вачо сидел на скамейке, доедал ципул. Девочка, о чем-то оживленно рассказывая, носилась вокруг, размахивала руками. Всякий раз, оказавшись перед Вачо, она резко притормаживала,

наклонялась и заглядывала ему в глаза. Видимо, для того, чтобы удостовериться, что он ее слушает.

— Ну как? Сильно переживает?

— Убивается просто,— рассмеялся Петрос.

— Вот и я о том. Твоя забота — правильно ей все объяснить. А что касается Вардик... Махни на нее рукой, сынок. Ее ошибки — ее грехи, ей и отвечать за них.

Скрипнула дверь, в комнату заглянула соседка — сухонькая, шустрая, крохотная старушка.

— Кнарик, ай Кнарик! — задрезжала она.— Одолжи закваски для мацуна, моя вышла.

— Здравствуйте, тетя Маргрит,— поздоровался Петрос.

— Здравствуй, сынок.

— Марго, хочешь ципула?

— Нет, спасибо. Ты мне закваски дай, а то молоко стынет.

— Сейчас принесу.

Пока Кнарик ходила за закваской, Маргрит, усевшись на край тахты и смешно скрестив худые ноги в шерстяных, домашней вязки кусачих носках, скрипучим голосом долго и подробно рассказывала о своих болячках. И глаза, мол, не видят, и спина не разгибается, и пальцы судорогой сводит, и голова по утрам гудит так, словно это и не голова вовсе, а пчелиный улей.

— Приходите в поликлинику, мы вас обследуем, лечение назначим,— предложил Петрос.

— Зачем, Петрос-джан? Восемьдесят лет без врачей прожила, даст Бог — столько же проживу. Вот

я тебе сейчас нажаловалась — и половина болячек прошла. Приду домой, заквашу себе мацуна, поем хлеба с сыром, выпью чая с чабрецом — и вторая половина болячек пройдет. Буду как новенькая!

Вернулась Кнарик, протянула соседке глиняную плошку с мацуном:

— Маргрит, может, хоть немного посидишь с нами?

— Не могу, дочка, спасибо, мне пора.— И старуха, охая и потирая на ходу поясницу, заковыляла к двери.

— Мне тоже пора,— поднялся Петрос.

— Посиди еще немного, вдруг Васо вернется.

— Лучше уговори его заглянуть к нам в гости. Я его в нарды обыграю, давно что-то мы с ним не играли.

— Завтра приведу его, обещаю.— И Кнарик задвигалась по комнате, прибирая со стола.

Петрос вышел из дому, окинул взглядом сад Кнарик, залюбовался последними оранжево-шоколадными плодами хурмы — остальные деревья стояли облетевшие, возведя к небу голые свои ветви.

— Папа! Папа! — подбежала к нему Девочка.— Смотри, чего я сделала!

Она протянула ему браслет из еловых игл. Петрос улыбнулся — в детстве они делали точно такие же украшения. Выдергивали еловую иглу, аккуратно проходились зубами по хвостику — он становился мягким, податливым. Втыкали иголку в хвостик — получалось звено. Поддевали его второй хвоинкой, смыкали ее в круг... Сплетали целые ожерелья и браслеты. А вкус еловой хвои потом очень долго держался во рту.

Он поцокал восхищенно языком:

— Какая ты умница!

— А у Вачо цепочка. Я ему тоже сплела.

— Молодец. Ну что, не передумала оставаться здесь?

— Не-а. Бабушка Кнарлик обещала приготовить сладкий похиндз¹. А еще она будет загадывать мне загадки! И сказки будет рассказывать.

— Ну ладно, оставайся. А я поехал, мне пора.

— Подожди, пап.— Девочка вложила ему в ладонь браслет: — Отдай нани, я для нее сплела. Только сбрызните обязательно водичкой, чтобы хвоинки не высохли, ладно? А то, если они высохнут, браслет развалится.

Невесомый браслет защекотал ладонь еловыми иглами. Петрос откашлялся, чтобы унять волнение.

— Спасибо, доченька.

— Пожалуйста, папочка.

6

Тамар лежала, отвернувшись лицом к стене. Тяжело вздыхала, о чем-то тихо причитала, но не плакала. В комнате пахло лекарствами и курящимся ладаном. Ладан дымился в специальной чаше, под большим, обвязанным траурной лентой портретом — Амаяк с того портрета смотрел немного растерянным, беспомощным взглядом.

¹ Похиндз — мука из обжаренной пшеницы. Сладкий похиндз — лакомство на скорую руку из такой муки.

Новость о том, что случилось, расстроила и напугала всех, но особенно сильно — Тамар. Она долго расспрашивала Петроса, как Девочка отреагировала на слова соседки, никак не решалась позвонить Кнар-рик.

— Давай я наберу,— предложила Тата. Тамар скрепя сердце согласилась. Кнаррик при ребенке ничего рассказывать не стала, только сообщила, что все у нее в порядке. Передала трубку.

— Тат, мы тут сладкий похиндз делаем,— звонко отрапортовала Девочка.

— Вкусно?

— Наверно. Пока еще не пробовали, он горячий, нужно, чтобы остыл.

— Тебе нани хочет что-то сказать.

Тамар нерешительно взяла трубку:

— Здравствуй, джигяр-балам.

— Нани! — затараторила Девочка.— Тебе понравился браслет?

— Очень понравился. Спасибо тебе большое.

Девочка помолчала немного, потом громко зашептала в трубку:

— Ты знаешь, да, что мне сказала тетя Вардик?

— Знаю. Я сама хотела тебе обо всем рассказать, но не успела.

— Нани, ты что, переживаешь?

— Нет,— дрогнула голосом Тамар.

— Молодец. Чай не маленькая, чтобы переживать! — копируя ее интонации, выговорила Девочка.

Тамар невольно рассмеялась.

— Ах ты егоза.

— Нани, а подарок вы мне привезли?

— Привезли. Раскраски.

— Красивые?

— Очень.

— Ура! Завтра приду и раскрашу. Ну ладно, мне пора идти, похиндз, кажется, уже остыл.

Тамар положила трубку, вздохнула с облегчением. Поднялась со стула.

— Пойду к себе, полежу, устала сильно.

— Тамар, посмотри на меня,— Оваким нерешительно топтался рядом, словно маленький,— я ведь тоже тут чужой. Но ничего, как-то живу с ними.

И он кивнул в сторону Таты и Шушик.

Тамар рассмеялась.

— Спасибо, Оваким-джан.

Когда Вера пришла ее проведать, она лежала на тахте, накинув на плечи косынку. На шаги невестки оборачиваться не стала, только сделала успокаивающий жест рукой — все хорошо. Вера оставила на прикроватной тумбочке стакан со сладким чаем, погладила прасвекровь по руке.

— Бабушка Тамар, хоть чаю попейте. Совсем ничего не ели.

— Спасибо, Верушка, обязательно выпью. А ты иди, милая, не волнуйся за меня. Я полежу немного, отдохну. Потом приду к вам.

— Вы, главное, не расстраивайтесь, бабушка Тамар.

— Хорошо, дочка, не буду.

После ухода Веры она еще какое-то время лежала, тихо шепча себе под нос. Потом села, выпрямилась, сложила на коленях руки.

— У меня живое сердце, не каменное. Как я могу не расстраиваться? Я даже не знаю, что бы со мной стало, если бы она отказалась от меня.— Тамар уставилась на портрет мужа, помолчала какое-то время, словно давая ему возможность ответить. Не дождав-шись ответа, поднялась, вытащила из кармана фартука мятый бумажный кулечек, отсыпала несколько кусочков ладана в чашу, ладан схватился, задышал сладковатым дымом.

Тамар снова села на тахту — вполуоборот, так, чтобы видеть портрет мужа.

— Вот скажи мне, Амаяк, ты бы смог полюбить чужих детей? А я тебе вот что скажу, Амаяк. Полюбить чужих детей не просто нелегко, а почти невозможно. Но ты поначалу ничего об этом не знаешь. Просто крутишься как белка в колесе, лишь бы все успеть. Дети ведь маленькие, нуждаются в помощи. У этого сыпь, у той температура. Постирай-погладь-убери-выкупай-накорми-утри сопли. И так изо дня в день. Каждый день. Сначала ты живешь словно в горячке, и одно-единственное, что тебя беспокоит,— это страх, что не сладишь с ними, маленькими и беспомощными. Но потом, когда ты потихоньку начинаешь справляться, приходит другой страх, сильнее первого. Страх того, что нет у тебя впереди ничего, кроме рабской зависимости от этих детей. Которые не могут принять тебя и которых не можешь принять ты. Как тебе объяснить, на что это похоже, Амаяк? Это такое бесконечное черное отчаяние. Это хуже, чем проклятие. Как будто ты попал в преисподнюю, где у тебя отняли все — прошлое, будущее, настоящее.

Единственное, что тебе оставили,— бессмысленный каждодневный труд, за который тебя никто никогда не поблагодарит.

Тамар уронила руки на колени, помолчала. Вдохнула. Закрепила косы на затылке шпильками, обвязала голову косынкой. Заправила постель, накинула покрывало — тонкий плед работы Кнарик — алые розы на темно-синем фоне.

— Однажды я совсем отчаялась,— продолжила она разговор с прерванного места.— Пришла к знахарке Забел, стою у нее в дверях, плачу. Забел скрестила руки на груди, загородила мне проход, ждет, пока я выплачусь. День был холодный, ветреный, и мы обе зябли. Но пройти в дом она мне не дала. Потом, когда я заплакалась, она спросила, чего я хочу. А мне от нее ничего не надо, мне хочется лечь на пороге ее дома и умереть. Она велела мне ждать, ушла в комнату, вернулась с бутылкой настойки. Говорит — принимай три раза в день по одной ложке. Запивай теплым молоком. Я побоялась спросить, от чего эта настойка, молча взяла ее, спрятала в рукаве, чтобы никто не видел, принесла домой. Налила в кружку молока, хотела выпить — а тут со двора такой крик пошел! Я бросилась, не разбирая дороги, споткнулась о порог, упала, ударилась головой. Выбегаю во двор — маленький Жорик лежит на земле, корчится от боли — свалился с поленницы, сломал руку. Ты на лесопилке, дети напуганы, что делать — не знаю. Схватила его в охапку и побежала к Забел. Та наполнила его чем-то успокаивающим, руку перевязала так, чтобы сломанная кость не двигалась. Вызвала

соседа, тот на телеге отвез нас в больницу. Жорик уложили гипс, оставили на ночь под наблюдением медсестры. Я подождала, пока он уснет, вернулась домой, усадила детей обедать, а сама бегом отнесла Забел настойку. Говорю — забирай ее обратно, она мне только несчастье принесла. Она мне в ответ — я так и знала, что ты обратно принесешь. И захлопнула у меня перед носом дверь.

Тамар походила по комнате, чтобы успокоиться. Открыла деревянный сундук, бесцельно порылась в стопках аккуратно выглаженного постельного белья, опустила крышку. Встала перед портретом мужа, скрестила на груди руки.

— И ты знаешь, Амаяк, с того дня все потихоньку стало налаживаться. Не сразу, конечно, но стало. Я понемногу успокоилась, а главное — смирилась со своей участью. А однажды, очень хорошо помню этот день — был февраль, второе число, проснулась я рано, раньше петухов, поворочалась в постели, но сон все не шел. Раз не спалось, решила встать, испечь сали¹. Замесила тесто, растопила печку, испекла лепешки. Даже самовар поставила, все равно время терпело. Как только самовар закипел, пошла будить тебя на работу. Покормила-выпроводила, испекла новую порцию сали, пошла детей к завтраку поднимать. Захожу в комнату — а они спят вповалку, тут Жорик с Сергеем, там Шушик с Кнарик. Тата к тому времени уже замуж вышла, Петроса родила, они с

¹ Нехитрая выпечка из слоеного теста. Готовится на раскаленной дровяной печке.

Овакимом в Чинари жили, в школе преподавали. Жорику было семь лет, Сергею — десять. Шушик уже поступила в институт, отпросилась с учебы, приехала домой подлечиться — не унимался кашель. А Кнарик как раз стукнуло пятнадцать — большая уже девочка, совсем барышня. И когда я зашла к ним в комнату, там такая стояла тишина — словно ангелы разлили целое море безмятежности, и единственное, что было слышно, — это доверчивое дыхание детей. И я постояла над ними, тихими и спящими, погладила каждого по голове и сказала себе — это мои дети. И ни одна ниточка моей души не запротивилась тому, что я сказала, Амаяк. Потому что эти дети давно уже стали моими.

Тамар умолкла. Подошла к портрету мужа, поднялась на цыпочки, погладила его по лицу.

— Но страх быть отвергнутой, Амаяк, так и остался жить в моем сердце. Ты не думай, это не страх одиночества и дурацкого стакана воды, который некому будет подать. Видишь, Верушка моя золотая чаю мне принесла. Это страх перед внуками и правнуками — вдруг кто-то из них, узнав, что я им не родная, отвернется от меня? Они ведь маленькие и глупенькие, они ничего не знают. А у меня так мало осталось времени, чтобы доказать, как я их люблю!

Тамар расплакалась. Вытащила из-под манжеты платья платок, утерла слезы. Вышла к шушабанду, распахнула окно, впустил в дом холодный декабрьский ветер. Туман с макушки Хали-кара медленно спускался вниз, укутывая старый Берд с его каменными домами, голыми садами и пустыми дворами в

непроницаемый ватный кокон. Небо, обернувшись туманом, стелилось низко над землей и безмолвно внимало слезам Тamar.

О КРЫЛЬЯХ

Вот эта подернутая инеем мушмула — мякоть кисло-сладкая, совсем чуть терпкая, подняться на цыпочки, сорвать горсть обмороженных, припорошенных снегом плодов и — есть, аккуратно выплевывая косточки на ладошку, — косточки нельзя выкидывать, нани заругает. Вечером пошел снег, тот, настоящий, которого у нас в городке очень ждут, нани обрадовалась, посмотри, зарядил мелкими хлопьями, значит, будет долго идти, какая красота, столько лет живу, а привыкнуть к ней не могу. Чудны дела Твои, Господи, чудны и прекрасны.

Трещит дровяная печка, пытит самовар — медный, толстобокий. Такие самовары есть в каждом бердском доме — большие, сердитые, стоят, подбоченившись, словно сварливые деревенские бабы, дышат жаром. Нани говорит, что пить чай на русский манер нас научили молокане. Они живут на той стороне заваленного снегом перевала, и теперь до весны до них не долететь и не докричаться. Чем они помешали русскому царю, качает головой нани, люди как люди, ну, может, молятся они немного иначе, чем русский царь. Но разве это причина высылать их с плодородных земель в наши каменистые края?

Люди, эли, вздыхает нани. Собака или волк — какая разница? Живые существа.

Снег идет всю ночь и еще целый день, ветер играет с ним, как умеет,— швыряет горстями в окно, рисует крылом на белом полотне рыхлые борозды, а потом торопливо их стирает, кружит вокруг уличных фонарей праздничным конфетти. Воздух пахнет так, словно им никто никогда не дышал — морозно-хрупким, первородным.

Я умею отличать воздух на запах и на вкус. Весной он пахнет холодным родником, проснувшимся лесом, цветущей яблоней, а еще — молодой крапивой. Летом воздух пахнет нагретыми на солнце помидорами, пчелиным жужжанием, раскаленной чердачной крышей и зацветшими кустиками просвирняка. Осенью — шершавым персиковым соком, свежеспеченным домашним хлебом и сладковатым духом печеных каштанов. И еще — пряным и соленым.

А зимой воздух пахнет так, что не хочется взрослеть.

Вот эта подернутая инеем мушмула, зеленый кипарис да синяя россыпь на макушке терновника — и есть все, что осталось от вчерашнего дня. Остальное засыпало снегом по самую макушку, приглушило-убаюкало, запутало в марлевом коконе молочного морока. Сквозь падающие хлопья снега едва различаешь бок соседского дома — неприступный, хмурый. Растерянный по зиме.

Не стой так близко к окну, говорит нани, от стекла тянет холодом, простынешь.

Помоги мне вдеть нитку в игольное ушко, а то я не вижу, старенькая уже. Ну что ты так расстраиваешься? Не старенькая я, ладно. Просто глаза устали.

Хочешь, расскажу тебе сказку? О семикрылых ангелах? У которых каждое крыло — одного цвета радуги, а каждое перо разит семерых темных дэвов? Хорошо, будет тебе сказка об ангелах и дэвах. Только отойди от окна.

Сейчас, говоришь ты, сейчас. Еще немного полюбуюсь и приду к тебе, нани. И стоишь у окна и молча наблюдаешь, как снег стирает вчерашний день с лица земли. Тишина такая, что слышно, как вздыхает старое грушевое дерево. Оно уже давно не плодоносит, но у деда рука не поднимается его срубить. Пусть стоит, говорит дед. Дерево, эли. Собака или волк — какая разница? Живое существо.

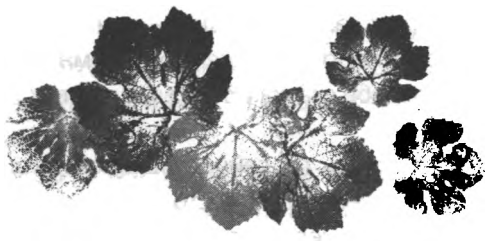
Папа говорит — ты стоишь в начале пути. За твоими плечами множатся и множатся твои ушедшие в небытие предки. За левым плечом — по линии мамы. За правым — по линии отца. Они — твои крылья, говорит папа. Они — твоя сила. Держи их всегда за спиной, и никто никогда не сможет сделать тебе больно. Потому что, пока помнишь о крыльях, — ты неуязвим.

И ты стоишь у окна, неуязвимая, осененная присутствием тех, которые ушли, но навсегда остались с тобой, — и наблюдаешь снег.

За окном — большой двор. За двором — белая дорога. Рисуй на ней что хочешь, все сбудется.

Одним концом дорога упирается в калитку, а другим — в край света.

ЭПИЛОГ



Нани Тамар говорила — послушайте, как каркают вороны. Значит, погода испортится. И, удивительное дело, если, сварливо перебивая друг друга, каркали вороны, погода обязательно портилась.

Нани Тамар говорила — сегодня придет чанг. Знаете, что такое чанг? Чанг — это крохотное, величиной в носовой платочек, облако. Оно появлялось в прозрачном утреннем небе, цеплялось за верхушку Хали-кара и быстро начинало расти. Скоро весь мир утопал в молочной немоте, замирало время, и бесконечность замыкалась ровно между тобой и выступающим из густого тумана пятипалым кленовым листом.

Нани Тамар говорила — из-за меня в Тифлисе погиб мальчик. И скорбно поджимала губы.

У меня были длинные рыжие косы, приходилось обматывать ими талию, иначе они путались под ногами и мешали убираться в доме. От женихов отбоя не было. А мне нравился грузинский мальчик. «Вано», — бережно выговаривала она имя. Отец был против, говорил — выйдешь за своего. Я переубедила его, переубедила деда. А мальчик погиб так нелепо — угодил под колеса фэзтона. Спешил ко мне.

Она гладила правой морщинистой ладонью левую, словно убаюкивала боль.

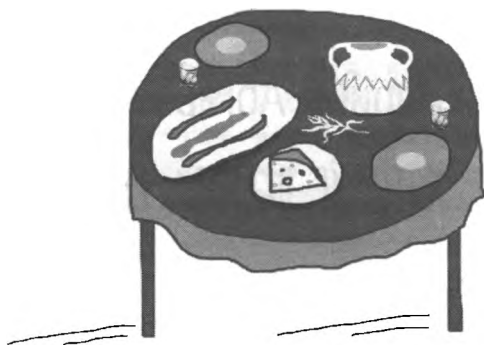
Нани Тамар говорила — я не вынесла потери, уехала из Тифлиса к тетке. Сюда. Ни за кого замуж не пошла, сидела в старых девах. А потом умерла ваша прабабушка, и прадед остался с пятерыми детьми на руках. Я пришла к нему и сказала — Амаяк, женись на мне, я тебе помогу детей поднять. Жорик и Сергей были совсем маленькие, они меня сразу полюбили, а девочки долго не могли меня принять. Особенно плакала твоя бабушка Тата. Я ее понимала. Она потеряла любимого человека, я потеряла любимого человека.

Нани Тамар говорила — ты моя родная. Ты — моя кровиночка. Доставала старую банку из-под монпансье, показывала простенькую брошь в голубой стеклянный камушек. Это мне Вано подарил, шептала. Пусть положат ее со мной, Амаяк знает, он не обидится.

Амаяк к тому времени давно покоился в земле. Нани Тамар пережила всех — его, Вано, Тату. Как она плакала в день ее похорон... Деточка моя, причитала, деточка.

Нани Тамар говорила — любовь — это все. Это то, ради чего стоит жить. Ты маленькая, ты еще ничего не знаешь. Потом меня поймешь. А сейчас просто запомни — любовь — это то, ради чего стоит жить.

СОДЕРЖАНИЕ



Предисловие	3
Девочка	7
Вера	35
Уста Саро	77
Знахарка Забел	95
Амаяк	113
Ниночка	141
Бабушка Шушик	168
Витька	185
Девочка	210
Жено	244
Марья	258
Нани Тамар	306
Эпилог	344

16+

Наринэ Абгарян
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВСЕГДА СО МНОЙ

Ведущий редактор *И. Епифанова*
Художественный редактор *Ю. Межова*
Технический редактор *В. Беляева*
Компьютерная верстка *Т. Алиевой*
Корректор *В. Леснова*

Подписано в печать 10.05.2017.
Формат 76 x 100 1/32. Усл. печ. л. 15,4.
Доп. тираж 4000 экз. Заказ 4232.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 1; 953000 — книги, брошюры

ООО «Издательство АСТ»
129085, г. Москва, Звездный бульвар,
д. 21, строение 3, комната 5

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14



У меня была заветная мечта — увидеть себя маленькой.

Например, пятилетней. Щекастой, карапузой, с выгоревшими на южном солнце волосами цвета соломы. Я любила разговаривать с гусеницами. Задавала им вопросы и терпеливо ждала ответов. Гусеницы сворачивались калачиком или уползли прочь. Молчали.

Мне хотелось увидеть себя десятилетней. Смешной, угловатой, робкой. С длинными тонкими косичками по плечам. Папа купил проигрыватель, и мы дни напролет слушали сказки. Ставили виниловую пластинку на подставку, нажимали на специальную кнопку, затаив дыхание, аккуратным движением опускали мембрану. И слушали, слушали, слушали.

Мне так хотелось увидеть себя маленькой, что я однажды взяла и написала книгу о моем детстве. О моей семье и наших друзьях. О родных и близких. О городе, где я родилась. О людях, которые там живут.

«Манюня» — то светлое, что я храню в своем сердце. То прекрасное, которым я с радостью поделилась с вами.

У меня была заветная мечта — увидеть себя маленькой.

Получается, что моя мечта сбылась.

Теперь я точно знаю — мечты сбываются.

Обязательно сбываются.

Нужно просто очень этого хотеть.



У каждого понаехавшего своя Москва.

Моя Москва — это люди, с которыми свел меня этот безумный и прекрасный город. Они любят и оберегают меня, смыкают ладони над головой, когда идут дожди, водят по тайным тропам, о которых знают только местные и никогда — приезжие.

Моя книга — о маленьком кусочке той, оборотной, «понаехавшей» жизни, о которой, быть может, не догадываются жители больших городов. Об очень смешном и немного горьком кусочке, благодаря которому я состоялась как понаехавшая и как москвичка.

В жизни всегда есть место подвигу. Один подвиг — решиться на эмиграцию. Второй — принять и полюбить свою новую родину такой, какая она есть, со всеми плюсами и минусами. И она тогда обязательно ответит вам взаимностью, обязательно.

Ибо не приучена оставлять пустыми протянутые ладони и сердца.

Наринэ Абгарян
представляет

двойная радуга

Сборник рассказов
и повестей
о жизни настоящей, той,
о которой можно
рассказывать сквозь
слезы — смеясь

Иллюстрации Виктории Кирдий

Перед вами сборник хорошей прозы.

Разной по звучанию — искренней, грустной, ироничной, злой, берущей за душу. Главное, что объединяет рассказы и повести «Двойной радуги», — настоящесть, та, которую не наиграть, не вымучить, не придумать понарошку.

Мы составили сборник, который можно читать и перечитывать. С которым приятно и уютно быть рядом. С которым, переезжая из квартиры в квартиру, из города в город, из страны в страну, — не захочется расставаться.

Приятного вам чтения.

Наринэ Абгарян
представляет

Девять дней в июле

Сборник рассказов
и повестей
об отчаянных
сумасбродах,
верящих в чудеса

Иллюстрации Виктории Кирдий

«Девять дней в июле» — сборник лиричной, ироничной, смешной и доброй прозы.

Главное, что объединяет вошедшие в него рассказы и повести, — это неунывающий взгляд авторов на жизнь. Даже в самых сложных, и, казалось бы, беспросветных ситуациях, есть выход. И пусть этот выход находится на том конце призрачного тоннеля — все равно стоит относиться к этому с юмором и пониманием. Просто потому, что так веселее жить.

Приятного вам чтения.

Н · А · Р · И · Н · Э

АБГАРЯН

Люди, которые всегда со мной

Наринэ Абгарян — уроженка армянского города Берд, по образованию лингвист и преподаватель русского языка в национальной школе, приехала в Москву в 90-х получать второе образование и искать работу. Работа нашлась не то чтобы очень перспективная, зато уж точно не скучная — в круглосуточном обменном пункте при гостинице «Интурист». С тех пор прошло немало времени, Наринэ по-прежнему живет в Москве и пишет замечательные книги. За книгу «Семен Андреевич. Летопись в каракулях» Наринэ получила премию «Ваву-НОС», ее роман «Манюня» вошел в лонг-лист «Большой книги», а книга «С неба упали три яблока» получила премию «Ясная Поляна».

«Люди, которые всегда со мной» — это семейная сага, история нескольких поколений одной семьи. История людей, переживших немало тяжелых испытаний, но сохранивших в сердце доброту, человечность и любовь друг к другу. Роман о старших, о близких, которые всю жизнь поддерживают нас — даже уже уйдя, даже незримо — и делают нас теми, кто мы есть.



ЛАУРЕАТ ПРЕМИЙ
«ЯСНАЯ ПОЛЯНА»,
«ВАВУ-НОС»,
ПРЕМИИ ИМ. А. ГРИНА,
«РУКОПИСЬ ГОДА».

ISBN 978-5-17-101626-5



9 785171 016265



www.astrel-spb.ru

АСТРЕЛЬ

НОВАЯ

КЛАССИКА